

А. А. Ивин, И. П. Никитина

ФИЛОСОФИЯ НАУКИ

Учебное пособие



Электронные версии книг на сайте
www.prospekt.org



• ПРОСПЕКТ •

Москва
2016

А. А. Ивин, И. П. Никитина

ФИЛОСОФИЯ НАУКИ

Учебное пособие



Электронные версии книг на сайте
www.prospekt.org



• ПРОСПЕКТ •

Москва
2016

Авторы:

Ивин А. А., доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии РАН;

Никитина Н. П., доктор философских наук, профессор кафедры истории и философии ВГИК.

Научные рецензенты:

Кузнецов В. Г., доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и методологии науки философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова;

Шалак В. Н., доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии РАН.

Ивин А. А., Никитина И. П.

И17 Философия науки : учебное пособие. — Москва : Проспект, 2016. — 352 с.

ISBN 978-5-392-20092-4

В учебном пособии рассматриваются основные проблемы современной философии науки. В их числе: определение науки, научный метод, основные научные категории, нормы и идеалы науки, роль ценностей в социальных науках, научная критика, типы научных проблем и др. Также рассматриваются философия экономики и философия права. Включена глава о философии наук об искусстве, рассчитанная на занимающихся такими науками.

Книга соответствует стандартным требованиям к учебным пособиям такого рода.

УДК 340.155

ББК 87.3(2)

*На обложке использована «Гравюра Фламариона» из книги
К. Фламариона «Атмосфера: популярная метеорология», 1888 г.*

Учебное издание

**Ивин Александр Архипович,
Никитина Ирина Петровна**

ФИЛОСОФИЯ НАУКИ

Учебное пособие

Оригинал-макет подготовлен компанией ООО «Оригинал-макет»
www.o-maket.ru; тел.: (495) 726-18-84

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.004173.04.09 от 17.04.2009 г.

Подписано в печать 21.10.2015. Формат 60×90 1/16.

Печать цифровая. Печ. л. 22,0. Тираж 1000 (1-й завод 100) экз. Заказ №

ООО «Проспект»

111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.

ISBN 978-5-392-20092-4

© Ивин А. А., Никитина И. П., 2015

© ООО «Проспект», 2015

Оглавление

Предисловие.....	6
Глава 1. Современная наука	8
1. Понятие науки	8
2. Обоснование и рационализация	9
3. Задачи философии науки	10
4. Классификация наук	11
5. Специфика социальных и гуманитарных наук	15
Глава 2. Категории науки	17
1. Природа научных категорий	17
2. Научная теория	18
3. Истина	21
4. Причинность	30
5. Научный закон	34
6. Социальные тенденции	38
7. Детерминизм	45
8. Историзм	51
9. Знание, убеждение, вера, сомнение	53
Глава 3. Научный метод	57
1. Понятие научного метода.....	57
2. Регулятивные принципы и стандарты адекватности	59
3. Методологизм и антиметодологизм	60
4. Историчность научного метода.....	66
Глава 4. Нормы и идеалы науки	69
1. Различие норм и идеалов науки.....	69
2. Реализм и эмпиризм	69
3. Обоснованность научного знания	70
4. Логическая последовательность	75
5. Общее понятие рациональности	89
Глава 5. Операции объяснения и понимания	96
1. Объяснение	96
2. Предсказание	99
3. Понимание	100
Глава 6. Научные проблемы	109
1. Типы научных проблем	109
2. Явные проблемы	111
3. Неявные проблемы	117
Глава 7. Научная критика	130
1. Эмпирическое опровержение	130
2. Верификация и фальсификация	130

3. Критика фальсификационизма	135
4. Научная критика как ослабленная верификация	138
5. Парафальсификация и ее логика	139
6. Основные виды научных споров	140
Глава 8. Научное обоснование	147
1. Виды обоснования	147
2. Эмпирическое обоснование: прямое подтверждение	149
3. Эмпирическое обоснование: косвенное подтверждение	153
4. Теоретическое обоснование	156
5. Контекстуальное обоснование	160
6. Границы научного обоснования	183
Глава 9. Требования к языку науки	186
1. Приоритет естественного языка	186
2. Многозначность	188
3. Ясность и точность	190
4. Определенность абстракций	194
5. Роли понятий	196
6. Ситуативные понятия	198
7. Понятия «хороший» и «должный»	200
Глава 10. Эволюция научных теорий	205
1. Внутренние и внешние факторы развития научных теорий	205
2. Два полюса развития научных теорий	206
3. Научные революции	213
4. Современный стиль научного мышления	215
5. «Классические» предрассудки	219
Глава 11. Философия экономической науки	227
1. План и рынок	227
2. Экономическая свобода	229
3. Экономический детерминизм	230
4. Тотальное планирование	231
Глава 12. Философия права	233
1. Задачи философии права	233
2. Государство и власть	233
3. Справедливость и право	235
4. Политическое и этическое измерения власти	244
5. Анализ правовых норм	246
6. Нормы и оценки	249
7. Нормы и описания	251
8. Двойственная природа правовых норм	253
Глава 13. Философия наук об искусстве	256
1. Определение искусства	256
2. Основные проблемы философии искусства	260

3. Искусствознание и эстетика	262
4. Два этапа в развитии философии искусства и эстетики	275
5. Описательно-оценочный характер философии искусства, эстетики и искусствознания	282
6. Художественная объективность	287
7. Связь подражания и побуждения в искусстве	301
8. Активная природа искусства	303
9. Художественный образ	307
10. Симулякр	318
11. Художественный символ	326
Глава 14. Наука и общество	329
1. Средства и цели	329
2. Четыре типа социальных теорий	330
3. Ценности культуры как контекст развития социальных теорий	340
4. Глобальные проблемы	345
Литература	352

ПРЕДИСЛОВИЕ

Трудно найти такую область человеческой деятельности, на которую человечеством возлагалось бы столько надежд и которая вызывала бы столько опасений, как современная наука. Есть основания думать, что могущество и эффективность науки, глубина проникновения ее в еще не познанные стороны природы и общества будут непрерывно возрастать. И одновременно будут расти надежды, возлагаемые на науку, и тревоги, связанные с нею.

«Знание — это сила», — сказал в период возникновения современной науки Ф. Бэкон. Он хотел подчеркнуть этим восхвалением знания, что человеку незачем рассчитывать на милость бога и дожидаться рая на небесах; человек сам в состоянии перестроить свою личную и социальную жизнь, и он сделает это прежде всего посредством знания. Всомогуществу бога было тем самым противопоставлено всемогущество самого человека, вооруженного результатами научного познания.

После XX в., принесшего две мировые войны, тоталитарные режимы, унесшие жизни многих десятков миллионов людей, поставившего на боевое дежурство разрушительное ядерное оружие, способное уничтожить все человечество, стало ясно, что научное знание является силой, способной как усовершенствовать человеческую жизнь, так и разрушить ее до основания.

О радикальности перемен, произошедших в прошлом веке, говорят, в частности, такие факторы: с начала века население нашей планеты выросло более чем в три раза, сегодня на земном шаре в среднем проживают сорок человек на квадратном километре. В начале века в городах жило лишь около десятой части людей, а в его конце городское население составляло около половины всего населения, причем более пятой его части являлись жителями городов-миллионеров. Девять десятых всех предметов, созданных человеком и окружающих нас сегодня, придуманы в прошлом веке. Объем мирового промышленного производства в настоящее время в двадцать раз выше, чем в начале века. Люди используют шестьсот миллионов автомобилей, запустили более четырех тысяч искусственных спутников Земли, побывали на Луне и собираются отправить экспедицию на Марс. За 15 лет потребляется столько природных ресурсов, сколько было использовано человечеством за все время его существования. Без современной науки столь радикальные перемены были бы, разумеется, невозможны.

Очевидно, что философия науки, говорящая о сущности науки и основных тенденциях ее развития, представляет интерес не только для самой науки. Она интересна и важна также для общества в целом. Современное общество немыслимо без науки и во многом зависит как от ее успехов, так и от направления научных исследований.

Книга посвящена основным проблемам современной философии науки. Наука понимается предельно широко, так что она включает естественные, социальные, гуманитарные и формальные науки.

Многие проблемы философии науки истолковываются по-новому. Это касается в первую очередь характеристики научного метода, системы научных категорий и классификации наук, описания идеалов науки, ее норм, истолкования конкретных способов научного обоснования и научной критики, анализа роли ценностей в научном познании и требования исключать оценки из науки, описания структуры операций объяснения и понимания, обсуждения социально-культурной детерминации науки, стилей социального теоретизирования и т. д. Не всегда излагаемому подходу к этим проблемам удастся противопоставить другие позиции.

Особое внимание в книге уделяется философии наук о культуре, или социальных и гуманитарных наук. Это связано, во-первых, с тем, что философия этих наук в ряде принципиально важных аспектов отличается от философии наук о природе, или естественных наук. Во-вторых, пока что философия науки развивается так, как если бы философское исследование естественно-научного знания исчерпывало всю философию науки и автоматически давало ответы на вопросы, связанные не только с науками о природе, но и с науками о культуре.

Долгое время считалось, что есть единая философия научного познания, хотя и разработанная преимущественно на материале естественных наук, или наук о природе. Предполагалось, что как только социальные и гуманитарные науки, существенно отстающие в своем развитии от естественных наук, станут полноценными научными дисциплинами, все сказанное по поводу методов естественных наук окажется применимым к социальному и гуманитарному познанию: последнее отличается от естественно-научного познания только предметом исследования, но не своими категориями и способами обоснования.

Однако науки о культуре принципиально отличны от наук о природе, и наряду с методологией естественно-научного познания должна разрабатываться также вполне самостоятельная методология социального и гуманитарного познания. Это не означает отрицания внутреннего единства науки, и в частности единства научного метода. Но само это единство во многом предстоит еще выявить и исследовать, поскольку очевидно, что оно не может быть сведено к уподоблению социальных и гуманитарных наук естественным наукам и тем более к перестройке первых по образцу какой-то конкретной естественной науки.

Учебное пособие рассчитано главным образом на представителей социальных и гуманитарных специальностей. В качестве примеров социальных наук приводятся экономическая наука и теория права; примерами гуманитарных наук служат науки об искусстве. Это не ограничивает, однако, читательскую аудиторию: книга может использоваться аспирантами и соискателями всех научных дисциплин.

Глава 1

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

1. Понятие науки

Наука зародилась еще в древности (V–VI вв. до н. э.). Первоначально возникла математика, затем философия, включавшая в себя все другие науки (физику, биологию, логику и т. д.). В рамках философии начали складываться логика — наука о правильном мышлении и риторика — наука о способах убеждения.

Наука в современном смысле слова — исторически сравнительно новое явление. Она существует только с XVI — XVII вв., т. е. около четырехсот лет.

Наука находится в процессе постоянного развития. Меняются не только ее идеи, но и ее структура. В XIX в. самостоятельной дисциплиной стала экономическая наука. Примечательно, что первоначально она считалась (в частности, одним из ее родоначальников — Адамом Смитом) не социальной, а естественно-научной дисциплиной. Во второй половине XIX в. от философии отделились психология и логика. Самостоятельность психологии была связана с проникновением в нее экспериментального метода. Логика стала широко использовать методы, с давних пор применяемые в математике. Современная логика, которую по традиции называют «математической», или «символической», возникла, таким образом, на стыке таких двух очень разных наук — философии и математики.

Выделение из философии отдельных наук было только преддверием грандиозного переворота в науке в целом. В начале XX в. на смену *классической науке* пришла *неклассическая наука*. Квантовая механика заменила классическую механику И. Ньютона, А. Эйнштейном была сформулирована общая теория относительности.

Определение науки

Научное познание мира является разновидностью человеческой деятельности. Как всякая деятельность, оно руководствуется определенным методом и направляется своеобразной системой ценностей.

Наука — это систематическое, дифференцированное, осуществляемое сообществом ученых исследование окружающей реальности, имеющее своей целью ее объяснение и понимание.

Под наукой обычно понимается не только процесс изучения мира, обладающий определенными особенностями, но и результат этого процесса, представляющий собой множество научных теорий, описывающих конкретные фрагменты реальности.

Значение определения науки не следует переоценивать. Сложно отграничить научное знание от знания, похожего на научное, и от тех

концепций, которые даже внешне слабо напоминают науку. Никаких однозначных, сколько-нибудь жестких критериев отделения науки от ненауки не существует.

Не вполне ясным является не только общее понятие науки, но и конкретные научные понятия. Одним из источников споров, постоянно идущих, например, в экономической науке, являются такие понятия, как «рынок», «плановая экономика», «производство», «распределение» и др. Не особенно ясны многие центральные понятия психологии: «мышление», «восприятие», «темперамент», «личность» и т. д.

Неясные понятия нередки и в самых строгих и точных науках, не исключая математику и логику. Не является, например, ясным понятие множества, или класса, лежащее в основании математической теории множеств. Далеки от ясности такие важные понятия логики, как «доказательство», «логическое следование» и др.

Неясность понятия науки не является, таким образом, удивительной. Было предпринято много попыток выявить те особенности научных теорий, которые позволили бы отграничить последнее от псевдонаучных концепций, подобных алхимии или астрологии. Но полной определенности и отчетливости понятию «наука» так и не удалось придать.

Степень содержательной ясности научных понятий определяется прежде всего достигнутым уровнем развития науки. Неразумно было бы поэтому требовать большей — и тем более предельной — ясности в тех научных областях, которые для нее еще не вполне созрели.

Важно также, что понятия, лежащие в основании отдельных научных дисциплин (такие, к примеру, как «экономическая деятельность», «цена» и «капитал» в экономической науке), по необходимости остаются содержательно неясными до тех пор, пока эти теории способны развиваться. Полное прояснение таких понятий означало бы, в сущности, что перед научной теорией уже не стоит никаких вопросов.

Это относится и к понятию науки. Научное познание мира является бесконечным предприятием. И до тех пор, пока оно будет продолжаться, понятие науки будет оставаться не вполне ясным.

2. Обоснование и рационализация

Выражаясь кратко, можно сказать: то, чем занимаются ученые, сводится к двум основным задачам — *обоснованию* выдвигаемых идей и теорий и *рационализации* мира с помощью этих идей и теорий. Данные два связанных между собой по смыслу понятия позволяют раскрыть цели научного поиска и конкретизировать сложный процесс конструирования научных теорий и их приложения к реальности.

Обе эти фундаментальные цели науки пока описываются неудовлетворительно. Об обосновании говорится обычно вскользь. Иногда обоснование сводится только к научной критике и отбору тех теорий,

которые устояли в ходе такой критики (К. Поппер); в других случаях для обоснования считается достаточным использования двух принципов — принципа простоты и принципа консерватизма, или привычности (У. Куайн). Понятие рационализирования пока вообще не вводилось в ясной форме в философию науки, хотя многие исследователи научного познания в той или иной форме говорили о придании миру смысла с помощью науки.

Рационализирование изучаемого научной теорией фрагмента реальности — это набрасывание на него сети научных, достаточно строго определенных и связанных между собою понятий. Рационализируя мир, т. е. делая его разумным (объяснимым и понятным) для человека, наука исключает из окружающей реальности все внеестественные сущности, необъяснимые и непонятные человеку явления. Рационализирование позволяет объяснять, предсказывать и понимать исследуемые явления. Эта цель может быть достигнута только при условии, что научная теория является в достаточной мере обоснованной и прежде всего имеет убедительные эмпирические основания.

Между научной теорией и исследуемым ею фрагментом реальности существуют, таким образом, отношения двоякого типа. С одной стороны, теория черпает в изучаемых ею предметных отношениях свое *обоснование*. Это движение от предметного мира к теоретическому всегда дополняется обратным движением — от теоретического мира к предметному, или *рационализированием*.

Обоснование и рационализирование являются двумя взаимодополняющими процедурами. Нужно не только привести теорию в соответствие с исследуемыми объектами, т. е. обосновать ее, но и осмыслить мир исследуемых явлений в системе понятийных отношений, без которой он остается непрозрачным, необъясненным и непонятым.

3. Задачи философии науки

Философия науки представляет собой философское исследование науки, рассматриваемой в процессе ее развития.

Чтобы конкретизировать представление о современной философии науки, перечислим некоторые из основных ее тем:

- анализ метода, применяемого в науке;
- выявление и описание тех категорий, которые лежат в основе научного познания (в числе таких категорий: бытие, становление, причинность, научный закон, социальная тенденция и т. п.);
- исследование тех идеалов и норм, которыми руководствуется в своей деятельности сообщество ученых, занимающихся научными исследованиями (детерминизм, истина, объективность и т. д.);
- выявление особенностей социальных и гуманитарных наук в сравнении с естественными науками, нацеленными не на познание общества

и человека, а на познание природы, и одновременное подтверждение тезиса о внутреннем единстве всех наук;

— описание структуры применяемых во всех областях науки операций объяснения, предсказания и понимания, выявление основных типов данных операций и сферы их применения;

— исследование роли науки в современном обществе.

Этот перечень задач философии науки не является, конечно, исчерпывающим. Но он хорошо показывает, что философия науки занимается теми вопросами, которые не способна исследовать сколько-нибудь полно и последовательно никакая другая научная дисциплина.

4. Классификация наук

Существуют многие классификации наук, подразделяющие их на рода, виды, подвиды и т. д. В данном контексте интерес представляет классификация наук, ясно показывающая место социальных и гуманитарных наук среди всех научных дисциплин.

Бытие и становление

Центральной оппозицией теоретического мышления является оппозиция *становление — бытие*. Становление — это возникновение, развитие; бытие — это ставшее, не изменяющееся в непрерывном потоке времени. Эволюция Вселенной, развитие человечества, возникновение и развитие науки — примеры процессов становления. Одинаковость атомов водорода, встреченных в любой точке мира, образование из двух атомов водорода и одного атома кислорода молекулы воды, существование сил тяготения, взаимосвязь электрических и магнитных явлений — примеры состояний бытия, неизменности.

Видение мира как становления и видение его как бытия имеют в философии своих сторонников и противников. Склонность отдавать предпочтение восприятию мира как потока и становления можно назвать *аристотелевской традицией* в теоретическом мышлении; выдвижение на первый план описания мира как бытия — *платоновской традицией*.

В русле первой из этих традиций идут социальные и гуманитарные науки (экономическая наука, социология, история, лингвистика, индивидуальная психология и др.). К ним примыкают и те естественно-научные дисциплины, которые занимаются изучением истории исследуемых объектов и — явно или неявно — предполагают «настоящее» и «стрелу времени». Большинство естественных наук, подобных физике, химии и др., ориентируется преимущественно на представление мира как *постоянного повторения* одних и тех же элементов. Скажем, рынок и политические формы правления постоянно изменяются, в то время как результат окисления железа и структура атомов химических элементов всегда остаются одними и теми же. Науки, объекты которых претерпе-

вают постоянные изменения, принято называть *науками о становлении*. Науки, исследующие всегда остающиеся неизменными объекты, называются *науками о бытии*. Разница между науками о становлении и науками о бытии не совпадает с границей между гуманитарными и социальными науками (науками о человеке и обществе), с одной стороны, и естественными науками (науками о природе) — с другой. Например, космология, изучающая развитие Вселенной, является естественной наукой и частью физики, в то время как история, описывающая постоянное развитие человечества, относится к гуманитарным наукам.

Философский неопозитивизм, предполагавший возможность сведения языка любой науки к языку физики, настаивал на приоритете наук о бытии. С другой стороны, сторонники феноменологии и экзистенциализма подчеркивали, что изменчивое человеческое измерение существования является более фундаментальным.

Например, немецкий философ М. Хайдеггер высказывался против «неподлинного» понимания времени (а тем самым и бытия) в физике и подобных ей науках и называл «физически техническое» время, описываемое с помощью сравнительных понятий «раньше», «одновременно», «позже», «вульгарным» временем. Французский философ А. Бергсон абстрактному времени (физической) науки противопоставлял истинное, конкретное время («длительность»), характеризуемое с помощью абсолютных понятий «было», «есть» и «будет», образующих «стрелу времени».

Виды наук

Все науки делятся на три группы: *естественные науки, социальные и гуманитарные науки, формальные науки*. К естественным наукам относятся физика, химия, науки биологического ряда и др. К гуманитарным и социальным наукам принадлежат история, социальная психология, экономическая наука, социология и др. Математика и логика относятся к формальным наукам, область исследования которых охватывает все науки. Что касается так называемых *нормативных наук*, формулирующих, подобно этике, эстетике, искусствоведению, правоведению и др., оценки и нормы, эти науки располагаются между гуманитарными и социальными дисциплинами.

Поле естественных наук является весьма разнородным. Различия отдельных естественных наук настолько велики, что невозможно выделить какую-то одну из них в качестве образца, или парадигмы, «естественно-научного познания». Идея неопозитивизма, что физика является тем образцом, на который должны ориентироваться все другие науки (исключая формальные науки, подобные логике и математике), является непродуктивной. Физика не способна служить в качестве парадигмы даже для самих естественных наук. Ни космология, ни биология, ни тем более физическая антропология не походят в своих существенных чертах на физику. Попытка распространить на эти научные дисциплины ме-

тодологию физики, взятую в сколько-нибудь полном объеме, не может привести к успеху.

Тем не менее определенное внутреннее единство у естественных наук имеется:

- они стремятся описывать исследуемые ими фрагменты реальности, никак не оценивая их;

- даваемые данными науками описания обычно формулируются в терминах не абсолютных, а сравнительных понятий (временной ряд «раньше — позже — одновременно», пространственные отношения «ближе — дальше» и т. п.).

Для социальных наук характерно, что:

- они не только описывают, но и оценивают;

- при этом они очевидным образом стремятся не к абсолютным, а к сравнительным оценкам, как и вообще к использованию сравнительных понятий; в частности, они используют временной ряд «было — есть — будет» и пространственное отношение «здесь — там».

Некоторые гуманитарные науки тяготеют к чистым описаниям (например, история). Другие — сочетают описание с оценкой, причем предпочтение отдается абсолютным оценкам, в которых используются понятия «хорошо — безразлично — плохо» (например, индивидуальная психология).

Гуманитарные науки используют, как правило, не сравнительные, а абсолютные категории (временной ряд «было — есть — будет», пространственную характеристику «здесь — там», понятие предопределенности, или судьбы, и т. п.).

Область социальных и гуманитарных наук еще более разнородна, чем область естественных наук. Идея отыскать научную дисциплину, которая могла бы служить образцом социально-гуманитарного познания, нереалистична.

История, старающаяся избегать оценок и всегда обсуждающая прошлое только с точки зрения настоящего, не может служить образцом для социологии или экономической науки, включающих явные и неявные сравнительные оценки и использующих временной ряд «раньше — одновременно — позже», не предполагающий настоящего. Экономическая наука не способна дать каких-то образцов для психологии или лингвистики и т. д. Поиски парадигмальной социальной или гуманитарной дисциплины еще более утопичны, чем поиски «образцовой» естественной науки.

П. Ф. Стросон считает такие понятия, как «настоящее» («есть», «теперь») и «здесь», скорее не предельно общими понятиями (категориями), а средствами, с помощью которых категории связываются с миром, теми инструментами, которые придают опыту характерную для него избирательность. В этой терминологии проводится различие между «категориями» и «категориальными характеристиками». Например,

понятие «время» является категорией, а понятия «прошлое — настоящее — будущее» и «раньше — одновременно — позже» — два вида ее категориальных характеристик (абсолютная и сравнительная); понятие «добро» — категория, а понятия «хорошо — безразлично — плохо» и «лучше — равноценно — хуже» — ее категориальные характеристики; понятие «детерминированность» — категория, а «необходимо — случайно — невозможно» и «причина — следствие» — ее категориальные характеристики и т. д. Различие между категориями и их категориальными характеристиками проводилось уже И. Кантом.

Принимая во внимание это различие, можно сказать, что большинство категорий (включая категории «бытие», «время», «пространство», «детерминированность», «истина», «добро» и др.) предполагает для своей связи с миром абсолютные и сравнительные категориальные характеристики. В итоге имеют место два разных и дополняющих друг друга способа представления бытия, времени, пространства и т. д.

Приведенная классификация наук не является, конечно, единственно возможной. Существуют многообразные иные основания деления наук.

О научных законах

Важно отметить, что гуманитарные науки не открывают научных законов. Нет законов истории, законов лингвистики и т. д.

Неверно, однако, что и социальные науки не способны формулировать научные законы. Экономическая наука достигла заметного прогресса в установлении общих регулярностей экономической жизни. Социология стремится обосновать регулярности, касающиеся форм и изменений совместной жизни людей.

Граница между науками, формулирующими законы, и науками, не делающими этого, не совпадает с границей между естественными науками (или, как их еще называют, «науками о природе»), с одной стороны, и социальными и гуманитарными науками («науками о культуре») — с другой.

Устанавливают законы те науки (естественные и социальные), которые описывают или оценивают исследуемые явления в системе *сравнительных* категорий. Эти науки используют временной ряд «раньше — одновременно позже», оценочный ряд «лучше — равноценно — хуже» и т. п. Не формулируют законов науки (гуманитарные и естественные), описывающие или оценивающие изучаемые объекты в системе *абсолютных* категорий. В данных науках употребляется временной ряд «было — есть — будет», пространственное отношение «здесь — там» и т. п.

Иными словами, формулируют научные законы науки, трактующие исследуемую область явлений как бытие, как нечто, ставшее раз и навсегда и не подверженное изменению. Науки, истолковывающие мир

как становление, постоянно порождающее новое, не устанавливает научных законов.

5. Специфика социальных и гуманитарных наук

В методологическом плане многое из того, что сказано о социологии, экономической науке и истории, является верным и для всех других социальных и гуманитарных наук.

Прежде всего все эти науки находятся в процессе *постоянного развития*. Оно диктуется не только изменениями социальной жизни, но и углублением представлений ученых о ней. Даже если общество остается на какой-то период стабильным, представления о нем изменяются. Социальные и гуманитарные науки развиваются не только благодаря *внутренним*, не выходящим за их рамки процессам, но и под воздействием *внешних* факторов, в частности под непосредственным влиянием изменений общества.

Развитие социальных и гуманитарных наук не является равномерным процессом. Наряду с периодами, не приносящими радикально новых идей, случаются *научные революции*, в ходе которых меняются сами основания данной области социального знания.

В естественных науках важную роль играют отдельные факты. Опыты Г. Галилея с наклонной доской, по которой он скатывал шары, легли в основание классической механики, сформулированной позднее И. Ньютоном. Опыт Майкельсона-Морли стал толчком для создания специальной теории относительности. Экспедиция А. Эддингтона в Южное полушарие для наблюдения солнечного затмения стала одним из основополагающих экспериментальных фактов, составивших основание общей теории относительности А. Эйнштейна.

Совершенно иначе обстоит дело в социальных и гуманитарных науках. Они исходят не из отдельных, твердо установленных фактов, а из *совокупного опыта* социальной жизни, из общего, не допускающего разбиения на самостоятельные факты опыта целостной социальной жизни своего времени.

Для социальных и гуманитарных теорий характерна множественность течений и направлений. В этих науках нет *базисного знания*, которое являлось бы общепринятым для всех представителей конкретной науки. То, что напоминает такое «нормативное знание», является минимальным и не оказывает существенного слияния на облик науки и общее направление ее развития.

Отсюда — постоянные споры ученых, изучающих общество и человека. Эти споры обычно касаются не только деталей социальной или гуманитарной науки, но и самих ее оснований.

Можно отметить, что точно так же обстоит дело в философии, не относящейся к социальным или гуманитарным наукам, а являющейся

«пограничной землей» между наукой и (художественной) литературой. Философия складывается из целой сети разных, обычно непримиримо враждующих между собою направлений. Неудивительно, что за две с лишним тысячи лет философия не пришла ни к одной, признаваемой всеми идее. Даже само существование реального мира ставится некоторыми школами в философии под сомнение. В современной философии активно действуют, в частности, экзистенциализм, феноменология, неотомизм и др.

Совершенно иначе обстоит дело в естественных науках, где базисное, общепринятое знание является достаточно обширным и где споры возникают лишь на дальних окраинах этого знания. Ситуация меняется только в период радикальной, но достаточно краткой научной революции, когда пересматриваются сами основания конкретной естественной науки. О социальных и гуманитарных науках можно сказать, что они находятся как бы в состоянии перманентной научной революции.

Разноречивость каждой из социальных и гуманитарных наук, наличие в них несовместимых позиций по одним и тем же, причем ключевым для науки, вопросам говорят об особой сложности социального и гуманитарного познания. Но эта сложность никоим образом не ставит под сомнение вопрос о необходимости и в конечном счете плодотворности такого познания.

Глава 2

КАТЕГОРИИ НАУКИ

1. Природа научных категорий

Научные категории — это наиболее общие, фундаментальные понятия, представляющие собой формы и организующие принципы научного мышления.

Примерами научных категорий являются понятия бытия, становления, времени, пространства, причинности, теории, истины, объективности, научного закона, объяснения, предсказания, понимания и т. д. Часть из этих категорий относится к самому миру, а часть — к его познанию в рамках науки.

Научные категории носят двойственный, описательно-нормативный характер. Они являются описанием и систематизацией предшествующего опыта научных исследований, и одновременно они диктуют линию будущих исследований.

Система научных категорий, или категориальная структура, представляет собой сеть основных понятий научного мышления, их устойчивую конфигурацию и взаимосвязь, при которой изменение одних элементов влечет за собой изменение других.

Образно говоря, научные категории — это те очки, через которые ученый смотрит на мир и без которых он не способен воспринять предмет своего исследования. Категориальная структура науки представляет собой систему координат научного мышления: его вопросов к самому себе и ожидания ответов на них. Такая структура, являясь инвариантным аспектом научного мышления, обеспечивает его единство, целостность и постоянную воспроизводимость, несмотря на динамику и многообразие областей научного исследования.

Анализ категорий как оснований всего сущего восходит к античности. Системы категорий, создающиеся в рамках философии науки, соответствуют следующим принципам: они связаны с реальной практикой мышления, и прежде всего научного мышления; не существует замкнутого перечня категорий; он зависит от культуры и изменяется вместе с нею.

Под непосредственным воздействием науки современная философия науки ввела в число категорий такие понятия, как *вероятность*, *рациональность*, *объяснение*, *понимание*, *содержание*, *форма* и т. д. С другой стороны, новое понимание общества и человека побудило отнести к категориям такие понятия, как *жизненный мир*, *страх*, *заброшенность*, *забота*, *сомнение*, *языковые игры*, *употребления языка* и т. д. Стало ясно, что никакого исчерпывающего перечня категорий не существует, что множество категорий является не только размытым, но и весьма раз-

народным, так что о «системе категорий» следует говорить с осторожностью.

Следует подчеркнуть, что система научных категорий, хотя она и формируется в рамках науки, вырастает в конечном счете из глубин культуры конкретной эпохи и определяется культурой как целым, а не какими-то отдельными ее областями, например философией, теологией или естественной наукой. С изменением культуры меняется и соответствующая ей система категорий. Переход от одной исторической эпохи к другой всегда сопровождается настолько радикальным изменением системы научных категорий, что возникает сомнение в том, что наука последующей эпохи способна адекватно понять научные теории, развивавшиеся в предшествующую эпоху.

Далее будут рассмотрены основные категории современной науки. В их числе: научная теория, причинность, научный закон, социальная тенденция и др.

2. Научная теория

Естественнее всего начать обсуждение категорий науки с требования *системности*, или *теоретичности*, научного знания. Оно всегда стремится приобрести форму *научной теории* — системы научных утверждений, дающей целостное представление о закономерностях или существенных связях изучаемой области действительности.

Примерами научных теорий являются классическая механика Ньютона, теория Ч. Дарвина, корпускулярная и волновая теории света, специальная и общая теория относительности, экономическая теория Ф. Хайека и т. п.

В чисто логическом смысле теория — это совокупность высказываний, замкнутых относительно логического следования. С логической точки зрения теорий, может быть даже отдельное высказывание, взятое вместе с его логическими следствиями.

Структура научной теории

Теория складывается из относительно *жесткого ядра* и его *защитного пояса*.

В ядро входят основные принципы теории. Отказ от любого из них равносителен отбрасыванию самой теории.

Широко известной научная теория становится, как правило, тогда, когда она уже хорошо устоялась и получила основательное подтверждение. Это создает иллюзию, что такая теория представляет собой собрание окончательных истин, к которым нечего добавить. Защитный пояс теории содержит вспомогательные гипотезы, конкретизирующие ее ядро и принимающие на себя удары, направленные против теории. Этот пояс определяет проблемы, подлежащие дальнейшему исследованию,

предвидит факты, не согласующиеся, как кажется, с теорией, и истолковывает их так, что они превращаются в примеры, подтверждающие ее.

С точки зрения своей структуры, теория представляет собой систему взаимосвязанных утверждений. Теория — не совокупность утверждений, лежащих в одной плоскости, а определенная их иерархия, имеющая свои «верх» и «низ». В самом низу, так сказать, в фундаменте, лежат фактические утверждения и простейшие эмпирические обобщения, хорошо подтверждаемые опытом. Выше располагаются более общие положения и гипотезы, несущие по преимуществу теоретическое содержание. На самой вершине этой пирамиды находятся основополагающие принципы теории и ее аналитические утверждения, истинные в силу самого смысла входящих в них понятий.

Факты не являются совершенно независимыми от теории. Они всегда теоретически нагружены, наблюдаемое явление становится фактом только в рамках определенной теории. Не существует содержательно интересных теорий, которые в какой-то момент своего развития полностью соответствовали бы всем относящимся к компетенции теории фактам. Теория не объясняет всех без исключения фактических данных, расхождение ее с опытом — основной источник ее эволюции. Познание определенной области явлений получает особенно существенный импульс тогда, когда между теорией и опытом возникают противоречия. Последние дают ключ к более широкому пониманию исследуемых явлений и заставляют совершенствовать теорию. Чем крупнее противоречия, тем фундаментальнее должна быть перестройка тех входящих в теорию законов или общих принципов, которыми объясняются изучаемые явления.

Все теории, как естественно-научные, так и гуманитарные и социальные, находятся в процессе постоянного развития. Это происходит даже в том случае, если объекты, изучаемые теорией, остаются неизменными. Тем более это необходимо, когда описываемые теорией объекты претерпевают изменения.

В частности, теория Дарвина за сто пятьдесят лет своего существования прошла довольно сложный путь. Оригинальность понятия естественного отбора, а также скрупулезность наблюдений и аргументации сразу же убедили многих в справедливости теории дарвиновской эволюции. С годами число сторонников теории увеличивалось, и сейчас редко кто думает, что биологическая эволюция протекает в общих чертах не так, как описал ее Дарвин, и что естественный отбор не является ее основным фактором. Хотя и есть значительные расхождения во мнениях по отдельным вопросам функционирования механизма эволюции, это не влияет на общее принятие дарвиновской теории как фундаментального объяснения развития жизни на земле.

К настоящему времени значительно шире стали знания об отдельных этапах эволюции: от кого произошли те или иные виды и какие этапы развития они прошли. Вместе с тем в теорию Дарвина были внесены

важные поправки и дополнения. Было, в частности, замечено, что естественный отбор не всегда дает однозначные результаты: определенную роль здесь играют и другие факторы. Например, большее значение, чем считалось ранее, имеет случайность. В тех случаях, когда численность популяции невелика, в ней могут получить распространение наследуемые изменения, которые, в общем-то, являются бесполезными и которые возникли лишь в силу того, что первоначальным носителям этих мутаций по счастливой случайности удалось выжить.

В начале XX в. дарвиновская теория испытала кризис, но затем она постепенно вошла в более широкий современный контекст, включающий результаты генетики и других биологических дисциплин. Оформилась новая всеобъемлющая концепция эволюции, именуемая обычно «синтетической теорией». Этот новый синтез учитывает не только достижения генетики, но и различные открытия, связанные с концепцией вида, биогеографией, палеонтологией и т. д.

Пример эволюции теории Дарвина показывает, что каждая научная теория, какой бы совершенной она ни казалась, проходит определенные этапы в своем развитии, имеет собственную историю, не лишенную кризисов и потрясений. Усовершенствованная и конкретизированная теория помещается в итоге в более широкий контекст, сохраняющий ее основное позитивное содержание. На этом развитие теории, конечно, не заканчивается. Но оно становится уже одним из моментов эволюции более обширного, охватывающего ее контекста.

Ограниченность понятия теории

Иногда теоретичность, или системность, научного знания переоценивается. Ни физика или математика, ни химия или биология, ни тем более социальные дисциплины, подобные социологии или политологии, не представляют собой некой единой теории.

Внутреннее единство научной дисциплины является результатом ее развития и носит динамический характер. Оно всегда должно быть выявлено и установлено, и оно меняется от одного периода этого развития к другому. Процесс объединения разрозненных сведений, относящихся к какой-то конкретной области, является, как и процесс развития науки в целом, бесконечным. Единство знания, касающегося этой области объектов, всегда является временным и относительным.

«Сегодня наши законы, законы физики, — пишет Р. Фейнман, — множество разрозненных частей и обрывков, плохо сочетающихся друг с другом. Физика еще не превратилась в единую конструкцию, где каждая часть — на своем месте. Пока что мы имеем множество деталей, которые трудно подогнать друг к другу. Вот почему в этих лекциях я вынужден говорить не о том, что такое закон физики, а о том, что роднит

различные законы; мы плохо понимаем их связь. Но интересно, что у них все же есть некоторые общие черты»¹.

Если это верно в отношении современной физики, то тем более это справедливо в отношении других наук, менее точных, чем физика, и добившихся в своей систематизации не столь заметных успехов, чем она.

3. Истина

Понятие *истины* является одним из наиболее важных в теории познания и в философии науки. Одновременно оно относится к понятиям, вызывающим наибольшие споры.

Принято считать, что истина является свойством высказываний. Например, высказывание «Снег бел» является истинным, в то время как высказывание «Снег черный» ложно. Точнее говоря, истина обычно рассматривается как свойство тех мыслей или суждений, которые выражаются высказываниями. Истина неприменима к понятиям, представлениям, образам и т. п.

Истина представляет собой, однако, не свойство высказывания, а *отношение* между высказыванием и сопоставляемым с ним фрагментом действительности. Отношением, а не свойством, является и *ценность*. В обычном употреблении истина и (позитивная) ценность асимметричны. Если высказывание, сопоставляемое с действительностью, соответствует ей, то свойство быть истинным приписывается высказыванию. Когда реальность соответствует высказыванию (тому стандарту, который выражается им), (позитивная) ценность приписывается самому фрагменту реальности, а не высказыванию.

Чтобы не усложнять язык, будем, как обычно, говорить, что высказывания являются теми объектами, которые способны быть истинными.

Истинными или ложными могут быть не все высказывания, а только те, которые относятся к так называемому *пассивному*, а не *активному* употреблению языка. Пассивное употребление языка включает описания и выражения чувств (экспрессивы), к активному употреблению относятся оценки и внушения чувств (орективы). Оценки (и их частный случай — нормы) и орективы не являются истинными или ложными, они стоят, как принято говорить, «вне царства истины».

Классическая теория истины

Хорошо известны три традиционные теории, раскрывающие природу истины: *истина как соответствие (корреспонденция)*, *истина как согласие (когеренция)* и *истина как полезность*. У каждой из этих теорий есть разнообразные модификации.

Согласно теории корреспонденции, высказывание является истинным, если оно соответствует описываемой ситуации, т. е. представляет

ее такой, какой она является на самом деле. Например, высказывание «Сажа черная» истинно, поскольку сажа на самом деле черная; высказывание же «Металлы не пластичны» ложно, так как в действительности металлы пластичны. Истолкование истинности как соответствия мысли действительности восходит еще к античности и обычно называется *классической концепцией истины*. Все иные понимания истины именуются *неклассическими*. Иногда классическое определение истины называется «аристотелевским», что не вполне точно. Истина как корреспонденция объективна и существует вне и независимо от человека и его намерений, от того, признается она в определенный период времени или нет.

С классическим определением истины связаны две сложные проблемы. Прежде всего оборот «соответствие мысли действительности» является очевидной метафорой. Мысль ничем не напоминает то реальное положение вещей, которого она касается. Это — два совершенно разных вида бытия. О каком сходстве между смыслом высказывания «Вода кипит» и кипящей водой может идти речь? Скорее всего, здесь можно усматривать только некоторое структурное сходство.

Далее, на смену одним представлениям о мире приходят новые представления, в свете которых старые оказываются ложными. Теория Дарвина показала, что более ранние теории эволюции Э. Кювье и Ж. Б. Ламарка ошибочны; общая теория относительности Эйнштейна опровергла представления Ньютона о природе пространства и времени; современная экономическая наука выявила ограниченность и в конечном счете ошибочность рецептов Д. М. Кейнса по предотвращению экономических кризисов. В свете современных концепций старые идеи оказываются сплошной цепью заблуждений. Как на смену алхимии, относящейся к псевдонаукам, могла прийти не совместимая с нею химия? Каким образом ошибочная геоцентрическая астрономия Птолемея могла дать начало гелиоцентрической астрономии Коперника?

Ответы на подобного рода вопросы требуют конкретизации классического определения истины. Один из возможных путей такой конкретизации был намечен в Средние века. Суть его — в проведении различия между *абсолютной истиной* и *относительной истиной*. Абсолютная истина — это истина в уме всезнающего и всемогущего Бога. Она является вечной и неизменной. Относительная истина — это истина в уме человека, обладающего ограниченными возможностями, но пытающегося уловить божественную истину, отобразить ее хотя бы в неполной и несовершенной форме. Человек никогда не обретет абсолютно истинного знания, но он будет постепенно, хотя и неограниченно долго («до конца веков», т. е. до прекращения хода времени), приближаться к такому знанию.

Если истина, доступная человеку, относительна, то относительным является и ее противоположность — *заблуждение*. Оно почти всегда содержит в себе зерно истины. Однако человек способен отделить вер-

ное от неверного только в процессе дальнейшего познания. И даже расставаясь со старыми, ошибочными представлениями, он приходит не к абсолютной, а только к новой относительной истине, отягощенной собственным ошибочным содержанием.

Различение абсолютной и относительной истины позволило отказаться от представления процесса познания как серии неожиданных и необъяснимых переходов от заблуждения к истине. Познание мира является цепью последовательных переходов от одних относительных, или частичных, истин к другим относительным истинам. Последние стоят все ближе и ближе к абсолютной истине, но никогда не смогут совпасть с нею.

С разграничением абсолютной и относительной истины связана получившая широкое распространение в позднее средневековье *теория двойственной истины*. Эта теория начала складываться, когда обнаружилось, что некоторые положения философии Аристотеля противоречат догматам христианства и ислама. Данное затруднение попытались преодолеть с помощью учения о разделении философских и богословских истин: истинное в философии может быть ложным в теологии, и наоборот. Теории двойственной истины придерживались Аверроэс, Иоанн Дунс Скот, У. Оккам и др. Широкое распространение учение об истинности некоторых описательных высказываний в теологии и ложности их в философии или в других областях знания получило в эпоху Возрождения. Стремясь отграничить научное исследование от теологических рассуждений, этого учения придерживался позднее Галилей. Теологические утверждения представлялись абсолютными истинами; положения философии и других областей знания мыслились как относительные истины, содержащие элемент заблуждения и требующие в силу этого дальнейшего исследования и уточнения.

Научные истины, как и все иные, носят относительный характер. Они справедливы только для своего времени и для того круга эмпирических данных, на основе которого они установлены. В процессе углубления знаний об изучаемых объектах одни из этих истин уточняются, другие превращаются в аналитические истины и теряют способность сопоставления с опытом, третьи оказываются ложными утверждениями.

«В науке понятие истины совершенно относительно, — пишет французский экономист М. Алле. — Никакая теория, никакая модель не могут претендовать на обладание «абсолютной истиной», а если бы такая и существовала, то она оставалась бы для нас недоступной. Есть модели, более или менее хорошо подтвержденные данными наблюдения. А из двух моделей «лучшей» всегда будет та, которая *при именно такой степени приближения* представляет данные наблюдения наиболее простым образом. Каковы бы ни были ее эмпирические подтверждения,

лучшее, что можно сказать о такой теории, что “все происходит так, как если бы ее гипотезы действительно соответствовали реальной природе явлений”»¹.

Истина как когеренция (согласованность)

Согласно *теории когеренции*, истина представляет собой систематическое согласие выдвинутого положения с уже принятыми утверждениями. Такое согласие сильнее логической непротиворечивости: не всякое высказывание, не противоречащее ранее принятым высказываниям, может быть отнесено к истинным. Истинно только положение, являющееся необходимым элементом систематической, целостной концепции. «Целостность» обычно понимается так, что из нее нельзя удалить, без ее разрушения, ни одного элемента.

Строго говоря, при таком истолковании истины, если оно проводится последовательно, истина оказывается характеристикой прежде всего самой «целостности», а не ее отдельных элементов. «Целостность» приобретает при этом абсолютный характер: она не оценивается с точки зрения соответствия ее чему-то иному, например внешней реальности, но придает входящим в систему высказываниям ту или иную степень истинности. При этом степень истинности высказывания зависит только от его вклада в систематическую согласованность элементов «целостности».

Теория когеренции отправляется от важной черты всякого знания, и в первую очередь научного, — его системности. В науке систематизированное знание приобретает форму научной теории. Допустимо предположить, что новое положение, позволяющее придать теориям большее внутреннее единство и обеспечить более ясные и многообразные ее связи с другими, заслуживающими доверия теориями, может оказаться истинным также в классическом смысле.

В математике и логике, не имеющих непосредственной связи с опытом, такое предположение является обычным. В этих дисциплинах истина как согласование нового положения с уже принятыми утверждениями оказывается важным рабочим инструментом. Большинство «логических» и «математических истин» никогда не выходит за пределы согласования их с уже принятыми логическими и математическими теориями и теми критериями, по которым оцениваются последние.

Иначе обстоит дело с теориями, лежащими за пределами формальных наук. Эти теории ценны лишь постольку, поскольку они согласуются с наблюдаемыми фактами. Единственным источником истины здесь является опыт. Внутренняя согласованность высказываний таких теорий оказывается только вспомогательным средством. Его эффективность

во многом зависит от степени абстрактности как самой теории, так и новых, вводимых в нее положений.

Всеобщее согласие или же согласие большинства, пишет М. Алле, не может рассматриваться в качестве критерия истины. В конечном счете существенным условием прогресса науки является полное подчинение урокам опыта, единственного реального источника нашего знания. Нет и не может быть другого критерия истинности теорий, кроме ее более или менее полного соответствия конкретным явлениям¹.

В этом противопоставлении внутренней согласованности (когеренции) и соответствия опыту (корреспонденции) можно было бы подчеркнуть слова «в конечном счете». Опыт действительно является источником научного знания. Но далеко не всегда новую, и тем более абстрактную, гипотезу удастся непосредственно сопоставить с эмпирическими данными. В этом случае ее согласие с другими утверждениями теории, в рамках которой она выдвинута, значение гипотезы в систематизации и прояснении связей этой теории с другими, хорошо обоснованными теориями вполне может играть роль вспомогательного определения истины.

Между формальными науками и науками, не относящимися к формальным, нет четкой границы. Не случайно «чистую математику» обычно противопоставляют «прикладной математике». В логике ситуация еще сложнее, поскольку даже «чистая логика» складывается из множества конкурирующих между собой концепций.

В формальных науках истина понимается прежде всего как когеренция. В тех разделах наук, которые близки формальным наукам, истина как корреспонденция тоже зачастую уходит на второй план, уступая место истине как когеренции.

Прагматическая теория истины

Согласно *прагматической теории*, высказывание истинно, если оно *работает*, является полезным, приносит успех. Эта теория истины, предложенная Ч. Пирсом в конце XIX в., позднее разрабатывалась У. Джеймсом, Дж. Дьюи и др. «Работоспособность идеи», или ее полезность, истолковывалась по-разному.

Прагматическое определение истины обычно подвергается критике на том основании, что человеческая практика непрерывно меняется, и то, что было несомненно полезным в один ее период, нередко оказывается бесполезным или даже вредным в более позднее время.

Традиционный пример с религиозными верованиями является хорошей иллюстрацией этой мысли. Начиная с истоков человеческой истории, религия являлась одним из наиболее эффективных средств социализации индивида. Религия предлагает решения всех сложных

проблем человеческого существования: смысл человеческой жизни, предназначение страданий, смерти, любви и т. д. Особая сила религии как средства социализации была связана с тем, что боги (или бог в монотеистических религиях) постоянно держат человека в своем поле зрения. Даже оставаясь один, он помнит, что есть инстанция, способная оценить его поведение и наказать его, если он отступает от системы норм и правил, поддерживаемых религией. Не только любые поступки, но даже все мысли и намерения человека, скрытые от окружающих его людей, не являются тайной для божества.

Однако в индустриальном обществе значение религии как одного из важных механизмов социализации стало заметно падать. Капитализм является светским обществом, придерживающимся принципа свободы совести. Две крайние формы социализма — коммунизм и национал-социализм — атеистичны по своей сути, причем воинственно атеистичны. Сами они являются, можно сказать, постиндустриальными аналогами религии и поэтому не могут допустить, чтобы религия конкурировала с ними в сфере мировоззрения, идеологии, характерных форм групповой деятельности, в эмоциональной сфере индивидов и т. д.

«...Гипотеза о боге истинна, — говорит Джеймс, — если она служит удовлетворительно»¹. Тысячелетия эта гипотеза действительно была полезна. Но в постиндустриальном обществе в ней нет особой необходимости. Означает ли это, что являвшаяся ранее истинной система религиозных верований в настоящее время утратила свою истинность? Нужно к тому же учитывать, что современный мир является очень пестрым, и постиндустриальными является только небольшое число стран. Подавляющее большинство людей религиозно, причем верят они в самых разных богов. Следует ли из этого заключить, что для некоторых обществ религия остается истинной, в то время как для других она уже утратила свою истинность? Такого рода вопросы ставят под сомнение объективность истины.

Вместе с тем определение истины как полезности, несмотря на его уязвимость для критики, достаточно широко используется в науке. Оно замещает классическое истолкование истины в тех случаях, когда сопоставление новых идей с действительностью оказывается затруднительным, а то и просто невозможным. Такие ситуации обычны в социальных и гуманитарных науках, имеющих дело с неустойчивыми, «текущими» фактами и постоянно меняющейся реальностью. Хорошо известны, например, социальные концепции либерализма, консерватизма и социализма. Во многих аспектах они несовместимы друг с другом. Можно ли, отвлекаясь от понятий полезности и успеха в практической деятельности, говорить об истинности одной из этих концепций и ложности двух других? Вряд ли. Это тем более маловероятно, что социальные концепции форму-

лируют определенные оценки, не являющиеся истинными или ложными: «Индивидуальная свобода предпочтительнее надежной социальной защищенности», «Коллективные ценности, связанные с органическими социальными целостностями, подобными морали и государству, стоят выше индивидуальных ценностей», «Реализация глобальной социальной цели построения совершенного общества требует ограничения потребностей человека минимальными, естественными потребностями» и т. п.

Определение истины как полезности и того, что приводит к успеху, используется не только в науках о культуре, но и в формальных науках.

Истина как когеренция — наиболее частое, а иногда и единственно возможное понимание истины в математике и в абстрактных, далеких от опыта областях науки. Но согласие вновь вводимого положения с системой утверждений, принятых в конкретной области научного знания, обычно определяется степенью полезности этого положения для данной области и смежных с ней отраслей знания. Согласие и полезность оказываются, таким образом, тесно связанными друг с другом.

Согласованность и полезность не являются, однако, единственными способами обоснования утверждений математики. Обычная в ней ссылка на интуицию хотя и опирается в известной степени на согласованность и полезность, является, в общем-то, независимым от них доводом. Точно так же ссылка на богатство следствий, получаемых в результате принятия одного из двух конкурирующих утверждений, как и ссылка на общий принцип, что красивая теория не способна быть ложной или что она, по меньшей мере, предпочтительнее менее совершенной в эстетическом плане теорин, не является аргументом, связанным сколько-нибудь непосредственно с истолкованием понятия истины.

Иерархия истолкований истины

Подводя итог обсуждению наиболее известных определений истины, следует прежде всего отметить, что они не противоречат друг другу. Вряд ли оправданно ставить вопрос так, что из трех рассмотренных определений истины следует выбрать одно, а два других отбросить как заведомо ошибочные. В реальной практике науки используется и определение истины как соответствия, и определение ее как согласия, или согласованности, и определение ее как средства, ведущего к успеху.

Необходима, с новых идей с действе несмотря на все ее своеобразные, развивается по тем же общим принципам, по которым развивает однако, иерархизация этих истолкований истины, отделение главного от вспомогательного, от того, что в конкретной области знания замещает главное на какой-то (возможно, весьма продолжительный) промежуток времени. С этой точки зрения несомненным преимуществом обладает классическое определение истины. Соответствие выдвигаемых идей и теорий изучаемой реальности является тем идеалом, к которому стремится каждая научная дисциплина. Далеко не всегда этот идеал до-

стижим, особенно в науках о культуре и в формальных науках. В таких ситуациях целесообразно использовать неклассические истолкования истины, отдавая, однако, отчет в том, что они являются неизбежными в конкретных обстоятельствах паллиативами.

Что касается понимания истины как согласия и понимания ее как успеха, выбор более предпочтительного из них вряд ли возможен. Истина как согласие успешно функционирует в формальных науках, но опасна для применения в науках о культуре. В последних истина чаще истолковывается как средство, способное вести к успеху в социальной деятельности.

Истина и развитие науки

Иногда высказывается мнение, что описание научных теорий и их развития вполне может обойтись — а может быть, даже должно обходиться — без понятия истины. Истина в ее обычном понимании несет в себе некоторое абсолютное содержание: истинное однажды остается истинным во все времена. Но наука дает только проблематичное знание, которое со временем с неизбежностью будет пересмотрено, изменено и уточнено. Как можно в таком случае использовать понятие истины?

Замена одних научных теорий другими, более совершенными теориями, все возрастающая детализация и углубляющееся понимание мира иногда истолковываются как процесс постепенного, но никогда не завершающегося (как иногда выражаются, асимптотического) приближения к истине. Но подобное понимание делает процесс развития науки направленным к некоторой цели и придает эволюции науки неприемлемый для нее телеологический характер.

Действительно ли мы должны считать, задается вопросом Т. Кун, что существует некоторое полное, объективное, истинное представление о природе и что надлежащей мерой научного достижения является степень, с какой оно приближает нас к этой конечной цели? Если мы научимся замещать «эволюцию к тому, что мы надеемся узнать», «эволюцией от того, что мы знаем», тогда множество раздражающих нас проблем может исчезнуть¹. Гарантию того, что список проблем, решаемых наукой, и точность решений отдельных проблем будут все более возрастать, Кун ищет не в стремлении науки к истине, а в особенностях сообщества ученых, занимающихся научными исследованиями в данной области знания. «По крайней мере, природа сообщества обеспечивает такую гарантию, если есть вообще способ, которым она может быть обеспечена. Какой критерий может быть вернее, чем решение научной группы?»² Наука не нуждается в прогрессе иного рода.

¹ См.: Кун Т. Структура научных революций. М., 1975. С. 111.

² Там же. С. 214.

Л. Лаудан одной из главных характеристик науки считает непрерывный рост знания. Прогресс науки предполагает постановку и решение проблем. Определяя науку как деятельность по решению проблем, Лаудан интерпретирует ее развитие как возрастание способности исследовательских программ к решению эмпирических и теоретических проблем¹. Если научное исследование описывается в терминах решения проблем, в использовании понятия истины нет необходимости. Лаудан не отрицает существования истины, но, подобно Куну, полагает, что введение этого понятия порождает целый ряд запутанных вопросов.

Относительно вопроса о том, можно ли описать развитие научных теорий без использования понятия истины, нужно заметить следующее. Характерная особенность человека в том, что он ставит перед собой определенные цели и пытается найти рациональные способы их достижения. Если истина понимается как глобальная, всеподавляющая цель науки, научному познанию придается телеологический характер. Оно оказывается отправляющимся не столько от уже достигнутого, сколько движущимся к в принципе не достижимому. Такое описание развития науки можно назвать, воспользовавшись терминологией М. Вебера, «материальной рациональностью».

Наука направляется, однако, не столько абстрактной целью, лежащей в будущем, сколько тем, что уже достигнуто в прошлом: имеющимся уровнем знания, существующими аномалиями, которые еще предстоит объяснить в рамках принятой концепции, сложившимися научными коллективами, решающими стоящие перед ними проблемы, принятыми методами исследования, усвоенной манерой критики выдвигаемых концепций и т. д. Такого рода «формальная рациональность» не требует каких-либо глобальных целей вроде «постижения истины».

И материальная, и формальная рациональности при описании развития научных теорий являются крайностями, между которыми необходимо найти золотую середину. Материальная рациональность, обычно прибегающая к понятию истины как цели науки, делает это развитие реализующим некое *предназначение* и потому имеющим телеологический характер. Формальная рациональность представляет эволюцию науки как сплетение исторических случайностей и лишает исследовательскую деятельность сколько-нибудь ясного общего направления.

Те описания развития науки, которые дают Кун и Лаудан, являются формально рациональными. Эти описания обходятся без понятия истины, но являются явно неполными. В частности, описание развития научной теории в терминах одного лишь решения научных проблем не позволяет ответить на простой, казалось бы, вопрос о селекции на-

¹ См.: *Laudan L. Progress and its Problems. Berkeley, 1977 P 16, 25.*

учных проблем. Не всякие проблемы рассматриваются наукой. Ученые не изучают, почему лебеди зеленые, почему свободно движущееся тело при отсутствии силы ускоряется и т. п. Возникает желание ответить, что это не подлинные проблемы, потому что утверждения, поставленные в подобных утверждениях в форме вопроса, ложны и известно, что они ложны. Истина играет регулятивную роль в науке, и, если отказаться от истины, исчезает запрет на произвольную формулировку проблем. Но в практической научной деятельности теорин, ориентированные решать проблемы, относительно которых известно, что они ложны, отвергаются именно на этом основании.

В описании развития науки, не использующем понятия истины, учитывается воздействие прошлого на настоящее, но упускается не менее важное, с точки зрения характера человеческой деятельности, воздействие будущего на настоящее. О влиянии будущего на настоящее будет сказано несколько слов при обсуждении категорий историзма, необходимой в социальных и гуманитарных науках. Здесь же можно заметить, что прямое или косвенное использование понятия истины в описании эволюции научных теорий как раз и относится к неизбежному влиянию будущего науки на ее настоящее.

Истина как идеал научного познания представляет собой идею регулятивного порядка. Она указывает скорее направление на цель, чем создает образ самой цели, и руководит исследователем как чувство верного направления, а не как ясный образ результата¹.

4. Причинность

Причинность, или каузальность, — это определенное внутреннее отношение между явлениями, такая их связь, при которой всякий раз за одним явлением следует другое.

Причина — это явление, вызывающее к жизни другое явление; результат действия причины — *следствие*.

В старину между стенами здания, подлежащего сносу, помещали прочный железный стержень и разводили под ним костер. От нагревания стержень удлинялся, распирали стены, и они разваливались. Нагревание здесь — причина, расширение стержня — ее следствие.

Камень попадает в окно, и оно разлетается на осколки. Молния ударяет в дерево, оно раскалывается и обугливается. Извергается вулкан, пепел засыпает многометровым слоем город, и он гибнет. Начинается дождь, и на земле через некоторое время образуются лужи. Во всех этих случаях одно явление — причина — вызывает, порождает, производит и т. п. другое явление — свое следствие.

¹ См. в этой связи: Ивин А. А. Философское исследование науки. М., 2015 (гл. 2)

Основные свойства причинной связи

Причина всегда *предшествует во времени* следствию. Сначала железо нагревается, а затем начинает расширяться. Окно раскалывается не до удара камня, а после него и т. д. Основываясь на этом очевидном свойстве причинности, человек всегда ищет причину интересующего его явления только среди тех явлений, которые предшествовали ему, и не обращает внимания на все, что случилось позднее.

Далее, причинная связь *необходима*: всякий раз, когда есть причина, неизбежно наступает и следствие. Вода при нормальном атмосферном давлении нагревается до 100 °С, закипает и превращается в пар. Можно миллион раз нагревать воду до кипения, и она всегда будет переходить в пар. И если бы при миллион первом нагревании этого вдруг не произошло, мы должны были бы сказать, что между нагреванием воды и превращением ее в пар нет причинной связи.

Названных характеристик недостаточно, однако, для отличения причинной связи от связей других типов.

Наступлению каждого явления предшествует бесконечное множество других явлений. Но только одно из них может быть его причиной. Постоянное следование одного явления за другим не говорит еще, что предшествующее — причина последующего. Ночь всегда предшествует утру, а за утром неизменно наступает день. Но ночь — не причина утра, а утро — не причина дня. Как предостерегает латинская пословица: «После этого не значит следствие этого».

Причина всегда предшествует следствию, и следствие обязательно наступает в случае реализации причины. Но причина, сверх того, *порождает и обуславливает* следствие. В этом — еще одна особенность причинной связи, отграничивающая ее от всех других случаев постоянного следования одного явления за другим. Без этой особенности причинную связь невозможно охарактеризовать однозначно. Без нее нельзя, в частности, отличить причину от *повода*, т. е. события, которое непосредственно предшествует другому событию, делает возможным его появление, но не порождает и не определяет его.

Допустим, что на нитке подвешен камень. Нитка разрезается, камень падает. Что является причиной падения? Ясно, что разрезание нитки — только повод, а причина — земное притяжение. Если бы камень лежал на поверхности или находился в состоянии невесомости, он, лишенный подвески, не упал бы.

Для причинной связи также характерно, что *с изменением интенсивности* или силы действия причины соответствующим образом меняется и интенсивность следствия.

Причинность, наконец, *всеобща*. Нет и не может быть беспричинных явлений. Все в мире возникает только в результате действия определенных причин. Это — *принцип причинности*, требующий естественного

объяснения всех явлений природы и общества и исключаящий их объяснение с помощью каких-то сверхъестественных сил.

Эти особенности причинности обуславливают специфическую ее черту: наличие причинной связи нельзя установить на основе только наблюдения.

Чтобы определить, какое из двух деревьев выше, мы сравниваем их и приходим к соответствующему заключению. Решая вопрос, является ли один человек братом другого, мы изучаем их прошлое и пытаемся определить, имели ли они общих родителей. И в первом, и во втором случае нет необходимости рассматривать какие-то другие деревья и других людей. Иначе обстоит дело с причинными связями. Предположим, мы видим, что камень летит к окну, ударяется об оконное стекло, и стекло раскалывается. Мы говорим, что удар камня был причиной разрушения стекла. Мы видели, как камень ударил в стекло, а стекло, как мы хорошо знаем, всегда раскалывается от сильного удара. Увидев летящий в окно камень, мы можем заранее предсказать, что произойдет. Но представим, что перед окном была прозрачная пластмассовая поверхность и в тот момент, когда камень ударился о пластмассу, кто-то в доме, чтобы обмануть нас, незаметно разбил окно. В обычных ситуациях мы исключаем такой обман и уверенно говорим, что видели своими глазами причину разрушения стекла.

Этот упрощенный пример говорит о том, что о причинной связи нельзя судить только на основе наблюдения, относящегося к одному случаю. Необходимо сопоставление нескольких сходных случаев, а также знание того, что обычно происходит в соответствующих ситуациях.

Причину можно установить лишь на основе рассуждения. В логике разработаны определенные методы проведения таких рассуждений, получившие название *принципов, или канонов, индукции*. Первая формулировка этих принципов была дана еще в начале XVII в. Ф. Бэконом. Систематически они были исследованы в XIX в. Д.-С. Миллем. Отсюда их название — «каноны (принципы) Бэкона — Милля».

Все принципы индукции опираются на рассмотренные выше свойства причинной связи. Каждое явление имеет причину, именно поэтому поиски ее не лишены смысла. Причиной может быть только явление, имевшее место до наступления того явления, причину которого мы ищем. После явления, считаемого причиной, всегда должно наступать ее следствие. При отсутствии причины следствие не должно иметь места. Изменения в причине влекут за собой изменения в следствии.

Из истории изучения причинности

Возникновение проблематики причинности обязано человеческой способности задавать вопрос «почему?». Под причиной изначально понималось то, что способно породить нечто новое как свое следствие, а указание на причину давало объяснение следствию. Издавна пред-

ставления о причинности связывались с понятиями силы, власти, принуждения, необходимости, понимаемыми то в обыденно-профаном, то в возвышенно-сакральном смысле.

Для Платона область причин совпадает, в сущности, со сферой идей, порождающих чувственные вещи. Аристотелевская теория четырех причин (материальной, формальной, действующей и целевой) задавала в целом античную и средневековую парадигму, механистическая картина мира Нового времени оставила из этого набора лишь действующую причину.

Новый этап исследования причинности связан с концепцией Д. Юма. Она и сегодня, по убеждению представителей аналитической философии, является основой для обсуждения этой проблемы. Юм пытался показать, что каузальность как необходимое отношение объективного порождения причиной следствия не обнаруживается в опыте, в котором не наблюдаются такие феномены, как «сила», «принуждение» или «необходимость»; человеческому представлению о причинности соответствует в природе лишь регулярная последовательность сходных событий.

Согласно Юму, наше представление о причинности основано на опыте, но выходит за его пределы, поскольку всякое суждение об отдельной ситуации причинности имеет общий характер, будучи основанным на правдоподобном рассуждении, или индукции, не являющейся формой логического вывода. Хотя понятие причинности не может быть обосновано онтологически и логически, оно допускает психологическое оправдание того, почему определенные каузальные суждения рассматриваются как истинные: ожидание привычных последовательностей событий есть свойство человеческого ума, переносимое на природу. По Юму, общие принципы описания причинных событий не могут быть обоснованы именно в силу несовершенства индукции. Таковы принципы универсальности (всякое явление имеет свою причину) и единообразия (одинаковые причины постоянно продуцируют одинаковые следствия) причинности. До сих пор нет единого мнения о приемлемости этих принципов.

Современное обсуждение причинности представляет собой попытку ответить на целый ряд сложных вопросов. Имеют ли причинные суждения особую логическую форму? Каковы носители причинных связей — события или состояния? Чем отличаются актуально действующие причины от потенциальных причин, симптомов, условий и предпосылок? Как различить причинные и случайные регулярности? Каков онтологический статус причинных связей и в чем могли бы заключаться основания для выбора между их реалистической и нереалистической интерпретацией? Что имеет более фундаментальный характер: каузальная связь или каузальные законы? Как относятся между собой причинность и время, причинность и детерминизм, причинность и объяснение?¹

¹ См. в этой связи: Бом Д. Причинность и случайность в современной физике. М., 1959; Бунге М. Причинность. М., 1962.

Вероятностный анализ причинности не связывает ее с детерминизмом. Причина рассматривается как то, что делает следствие некоторым образом более вероятным. Для уточнения данного понятия вводятся идеи «статистической релевантности» (П. Саппс), «каузального процесса» (Г. Саймон) и т. п.

Новейшее развитие науки оживило дискуссии по проблеме причинности, в частности в связи с обсуждением интерпретации квантовой механики, релятивистских теорий пространства-времени и неравновесной термодинамики.

5. Научный закон

Научный закон — универсальное, необходимое утверждение о связи явлений. Общая форма научного закона:

«Для всякого объекта из данной предметной области верно, что если он обладает свойством *A*, то он с необходимостью имеет также свойство *B*».

Универсальность закона означает, что он распространяется на все объекты своей области, действует во всякое время и в любой точке пространства. Необходимость, присущая научному закону, является не логической, а *онтологической*. Она определяется не структурой мышления, а устройством самого реального мира, хотя зависит также от иерархии утверждений, входящих в научную теорию.

Научными законами являются, например, утверждения: «Если по проводнику течет ток, вокруг проводника образуется магнитное поле», «Химическая реакция кислорода с водородом дает воду», «Если в стране нет развитого устойчивого общества, в ней нет устойчивой демократии» и т. п. Первый из этих законов относится к физике, второй — к химии, третий — к социологии.

Научные законы делятся на *динамические* и *статистические*. Первые, называемые также закономерностями *жесткой детерминации*, фиксируют строго обозначенные связи и зависимости; в формулировке вторых решающую роль играют методы теории вероятностей.

Эволюция научных законов

Для понятия научного закона, играющего ключевую роль в методологии таких наук, как физика, химия, экономическая наука, социология и др., характерны одновременно неясность и неточность. Неясность проистекает из смутности значения понятия онтологической необходимости; неточность связана в первую очередь с тем, что общие утверждения, входящие в научную теорию, могут изменять свое место в ее структуре в ходе развития теорий.

Так, известный химический закон кратных отношений первоначально был простой эмпирической гипотезой, имевшей к тому же случайное и сомнительное подтверждение. После работ английского химика В. Дальтона

химия была радикально перестроена. Положение о кратных отношениях сделалось составной частью определения химического состава, и его стало невозможно ни проверить, ни опровергнуть экспериментально. Химические атомы могут комбинироваться только в отношении один к одному или в некоторой целочисленной пропорции — сейчас это конститутивный принцип современной химической теории. В процессе превращения предположения в тавтологию положение о кратных отношениях на каком-то этапе своего существования сделалось законом химии, а затем снова перестало быть им. То, что общее научное утверждение может не только стать научным законом, но и прекратить быть им, было бы невозможным, если бы онтологическая необходимость зависела только от исследуемых объектов и не зависела от внутренней структуры описывающей их теории, от меняющейся со временем иерархии ее утверждений.

Научные законы, относящиеся к широким областям явлений, имеют отчетливо выраженный двойственный, описательно-оценочный (дескриптивно-прескриптивный) характер. Они описывают и объясняют некоторую совокупность фактов. В качестве описаний они должны соответствовать эмпирическим данным и эмпирическим обобщениям. Вместе с тем такие научные законы являются также стандартами оценки как других утверждений теории, так и самих фактов. Если роль ценностной составляющей в научных законах преувеличивается, они становятся лишь средством для упорядочения результатов наблюдения, и вопрос об их соответствии действительности (их истинности) оказывается некорректным.

Так, Н. Хэнсон сравнивает общие теоретические суждения с рецептами повара. Как рецепт лишь предписывает, что надо делать с имеющимися в наличии продуктами, так и теоретическое суждение следует рассматривать скорее как указание, которое дает возможность осуществлять те или иные операции с некоторым классом объектов наблюдения. «Рецепты и теории, — заключает Хэнсон, — сами по себе не могут быть ни истинными, ни ложными. Но с помощью теории я могу сказать нечто большее о том, что я наблюдаю»¹.

Ценностно нагружены не только общие принципы, но и в той или иной мере и все законы научных теорий. Научный факт и научную теорию невозможно строго отделить друг от друга. Факты истолковываются в терминах теории, их содержание определяется не только тем, что непосредственно устанавливается ими, но и тем, какое место они занимают в теоретической системе. Теоретическая нагруженность языка наблюдения и выражаемых в нем фактов означает, что и факты не всегда являются ценностно нейтральными.

В жизни широкого научного закона можно выделить, таким образом, три типичных этапа:

¹ Hanson N. R. Perception and Discovery San Francisco, 1969 P. 300.

— период его становления, когда он функционирует как гипотетическое описательное утверждение и проверяется прежде всего эмпирически;

— период зрелости закона, когда он в достаточной мере подтвержден эмпирически, получил ее системную поддержку и функционирует не только как эмпирическое обобщение, но и как правило оценки других, менее надежных утверждений теории;

— период старости закона, когда он входит уже в ядро теории, используется прежде всего, как правило, для оценки других ее утверждений и может быть отброшен только вместе с самой теорией; проверка такого закона касается прежде всего его эффективности в рамках теории, хотя за ним остается и старая, полученная еще в период его становления эмпирическая поддержка.

На втором и третьем этапах своего существования научный закон является двойственным, описательно-оценочным утверждением и проверяется, как все утверждения такого рода. Речь идет именно о типичных этапах эволюции закона, а не о том, что каждый закон проходит все три этапа.

Здесь можно провести аналогию с этапами жизни человека: юностью, зрелостью и старостью. Выделение этих этапов не означает, что биография каждого человека включает их все: одни люди доживают до глубокой старости, другие умирают совсем молодыми.

Научные законы, представляющие собой простые эмпирические обобщения («Все металлы электропроводны», «Все многоклеточные живые организмы смертны» и т. п.), никогда не вступают, как кажется, в период старости. Этим объясняется их удивительная — в сравнении с другими научными законами — устойчивость: когда теория, в которую они входили, отбрасывается, они обычно становятся элементами новой, пришедшей ей на смену теории.

В качестве примера закона, прошедшего в своей эволюции все три этапа, можно привести второй закон механики Ньютона: сила равна произведению массы на ускорение. Долгое время этот закон был фактической истиной. Потребовались века упорных эмпирических и теоретических исследований, чтобы дать ему строгую формулировку. Сейчас данный закон выступает в рамках теории Ньютона как аналитически истинное утверждение, которое не может быть опровергнуто никакими наблюдениями¹.

Другим примером закона, прошедшего все три типичных этапа эволюции, может служить упомянутый ранее химический закон кратных отношений, ставший аналитическим высказыванием после работ Дальтона.

¹ См.: Hanson N. R. *Patterns of Discovery* Cambridge, 1965 P 99–105

В так называемых *эмпирических законах*, или законах малой общности, подобных закону Ома или закону Гей-Люссака, оценочная составляющая ничтожна. Эволюция теорий, включающих такие законы, не меняет места последних в иерархии утверждений теорин; новые теории, приходящие на место старым, достаточно безбоязненно включают такие законы в свой эмпирический базис.

Объяснение через научный закон

Одной из главных функций научного закона является *объяснение*, или ответ на вопрос «Почему исследуемое явление происходит?» Объяснение обычно представляет собой логическое выведение (дедукцию) объясняемого явления из некоторого научного закона и утверждения о так называемых «начальных условиях». Такого рода объяснение принято называть «номологическим», или «объяснением через охватывающий закон». Как будет показано далее, объяснение может опираться не только на научный закон, но и на случайное общее положение, а также на утверждение о каузальной связи. Объяснение, опирающееся на научный закон, имеет, однако, известное преимущество перед другими типами объяснений: оно придает объясняемому явлению необходимый характер.

«Наука существует только там, — пишет французский экономист М. Алле, — где присутствуют закономерности, которые можно изучать и предсказать. Таков пример небесной механики. Но таково положение большей части социальных явлений, а в особенности явлений экономических. Их научный анализ действительно позволяет показать существование столь же поразительных закономерностей, что и те, которые обнаруживаются в физике. Именно поэтому экономическая дисциплина является наукой и подчиняется тем же принципам и тем же методам, что и физические науки»¹.

Такого рода позиция все еще обычна для представителей конкретных научных дисциплин. Однако мнение, что наука, не устанавливающая собственных научных законов, невозможна, не выдерживает методологической критики. Экономическая наука действительно формулирует специфические закономерности, но ни политические науки, ни история, ни лингвистика, ни тем более нормативные науки, подобные этике или эстетике, не устанавливают никаких научных законов. Эти науки дают не номологическое, а каузальное объяснение исследуемым явлениям или же выдвигают на первый план вместо операции объяснения операцию *понимания*, опирающуюся не на описательные, а на оценочные утверждения.

Как уже говорилось, научные законы формулируются теми естественными и социальными науками, которые используют в качестве

своей системы координат сравнительные категории. Гуманитарные и естественные науки, опирающиеся на абсолютную систему категорий, не устанавливают собственных научных законов.

6. Социальные тенденции

Идея существования особых законов, которым подчиняется историческое развитие, начала складываться только в Новое время. Номологическое, опирающееся на универсальный закон объяснение исторических событий противопоставлялось характерному для религиозных концепций телеологическому, целевому их объяснению.

Одиакно замысел открыть законы истории и тем самым поставить науку историю в один ряд с другими науками, устанавливающими определенные закономерности, приводил и, надо думать, всегда будет приводить, в лучшем случае, лишь к расплывчатым банальностям.

В качестве примера можно сослаться на «социальные законы развития» В. Вундта, составляющие, по его мнению, особый отдел «исторических законов развития». «Согласно закону социальных равнодействующих, — пишет Вундт, — каждое данное состояние в общем всегда сводится к одиовременно имеющимся слагаемым, которые соединяются в нем для единого совместного действия»¹. Трудно сказать, что означает данный закон и какое вообще отношение он имеет к истории. Не лучше обстоит дело и с «законом социальных контрастов». Этому закону, говорит Вундт, «подчиняются все те процессы социальной жизни, при которых определенные явления повышаются благодаря своей противоположности с другими предшествующими или одиовременными явлениями»². Данный закон Вундт относит не только к истории, но и к литературе и искусству и говорит о том, что в особенности благоприятно господству контраста политическое положение дел благодаря смене подъема страхом и надеждой; здесь вместе с тем контраст обычно не поддается какому-либо предварительному подсчету, не только из-за единичного характера исторических событий, но из-за повышенного действия чувств, чего никогда не следует упускать из виду.

Возможно, за этими расплывчатыми утверждениями и стоит какое-то верное психологическое наблюдение, однако непонятно, как приложить его к истории и что оно способно дать для исторического объяснения.

Стремление во что бы то ни стало открыть законы истории приводило иногда к тому, что явно ошибочные концепции излагались в форме отдельных тезисов, а последние выдавались за исторические законы.

¹ Вундт В. Социальные законы // Философия истории Антология М., 1995 С 146

² Там же.

Историцизм

Воззрение, согласно которому задачей науки истории является открытие законов человеческой истории, позволяющих предсказывать будущее развитие общества, получило название *историцизма*. Историцизм зародился еще в античной философии (Гераклит, Платон); в XIX в., когда он достиг расцвета, его сторонниками являлись Г. Гегель, О. Конт, К. Маркс, Дж. Милль и др.

В частности, Милль говорил о своем методе, что он заключается в попытке путем изучения и анализа общих фактов истории открыть закон прогресса. Данный закон, будучи установлен, должен позволить нам предсказывать будущие события так же, как это происходит в алгебре, когда уже из первых членов бесконечного ряда становится понятным принцип регулярности их образования, и мы можем предсказать, каким будет весь остальной ряд вплоть до любого члена¹.

Поппер подвергает резкой критике идею существования законов истории. Он проводит различие между обобщающими науками и историческими науками. Теоретические обобщающие науки занимаются проверкой универсальных гипотез, прикладные обобщающие науки — предсказанием конкретных событий.

Исторические науки заняты конкретными, специфическими событиями и их объяснением. В силу этого не может быть никаких исторических законов. Обобщение принадлежит к таким научным процедурам, которые следует строго отличать от анализа отдельного события и его причинного объяснения. Задача истории как раз и заключается в том, чтобы анализировать отдельные события и объяснять их причины. Те, кого интересуют законы, должны обратиться к обобщающим наукам (например, к социологии).

То, что историки интересуются единичными или специфическими событиями, а не законами или обобщениями, вполне совместимо, полагает Поппер, с научным методом, в частности с причинным объяснением. Исторические науки не стоят особняком в своем отношении к универсальным законам. Всякий раз, когда речь идет о применении науки к единичной или частной проблеме, возникает сходная ситуация. Химик, проводящий анализ некоторого соединения — допустим, куска породы, — не думает об универсальном законе. Он применяет стандартную процедуру, являющуюся, с логической точки зрения, проверкой единичной гипотезы (например, «это соединение содержит серу»). Интерес его является главным образом «историческим» — это описание одной совокупности событий или одного индивидуального физического тела.

¹ См. Милль Дж. С. Система логики силлогистической и индуктивной. СПб., 1914. Кн. VI. Ч. X.

Историцизм является одной из форм *натурализма* — стремления перенести в сферу общественных наук то, что считается методом естественных наук.

Типичный аргумент в пользу историцизма состоит в следующем: «Мы можем предсказывать затмения, почему же тогда мы не можем предсказывать революции?» В более систематической форме этот аргумент звучит так: «Задачей науки является предсказание. Поэтому задачей общественных наук должны быть предсказания относительно общества, т. е. истории».

Нередко историцистское истолкование истории соединяется с *активизмом* — уверенностью, что история делается самими людьми, и вызванным этой уверенностью стремлением к активности, неприятием бездеятельности и пассивного ожидания. Как выразил эту «активистскую позицию» Маркс в своих «Тезисах о Фейербахе», «философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы его изменить».

Однако активизм, опирающийся, подобно активизму К. Маркса, на идею естественных законов истории, столь же непреложных, что и законы природы, является внутренне непоследовательной позицией. Такой активизм предполагает, что общество изменяется людьми, но при этом движется по предопределенному и неизменному пути, стадии которого предначертаны непреложной исторической необходимостью.

В предисловии к первому тому «Капитала» Маркс был вынужден так ограничить возможность активного вмешательства людей в ход их собственной истории: когда общество находит естественный закон, определяющий его развитие, даже в этом случае оно не может ни перескочить через естественные фазы своей эволюции, ни выкинуть их из мира росчерком пера; но кое-что оно может сделать: сократить и облегчить родовые муки.

Совмещение активизма с идеей «железных законов истории» вызвало критику уже в конце XIX в. Утверждалось, в частности, что если такие законы существуют, создание политической партии, ставящей своей целью уничтожение капитализма и построение социализма, столь же бессмысленно, как и создание партии, борющейся за то, чтобы Луна — в соответствии с законами природы — двигалась по своей орбите.

Историцизм не учит бездеятельности и фатализму и вместе с тем утверждает, что любая попытка вмешаться в социальные изменения тщетна.

Основную задачу индивидуальной жизни историцизм видит в том, чтобы индивид был добровольным инструментом для достижения историей ее объективных целей. Если человек будет бороться против них, ему все равно не удастся остановить или изменить ход истории. Все, чего он добьется, — это своего осуждения потомками. Тот, чья деятельность

идет по линии движения истории, удостоится со временем общественной похвалы, в то время как тех, которые пытаются действовать против хода истории, ждет неминуемое осуждение.

Историцизм проводит, таким образом, идею, что высший суд есть суд истории, или, как говорили в Средние века, «всемирная история — это всемирный суд». Эта идея, характерная для всех закрытых (коллективистических) обществ, замещается в открытых (индивидуалистических) обществах убеждением, что высшим судьей своей жизни и своей истории является сам человек, живущий в конкретную эпоху.

Особенности социальных тенденций

Социальная тенденция представляет собой достаточно устойчивую линию развития группы взаимосвязанных социальных явлений.

Понятие социальной тенденции является одним из основных в методологии социальных и гуманитарных наук. Его роль во многом аналогична той, какую в методологии естественных наук играет понятие закона науки. Особенно существенное значение имеет исследование социальных тенденций в истории и тех подобных ей науках, для которых понятие научного закона вообще является инородным.

Примерами социальных тенденций могут служить тенденция роста численности человечества, остающаяся устойчивой в течение многих веков тенденция технического прогресса, распространяющаяся на три последних столетия, и т. п. Социальные тенденции могут быть универсальными, охватывающими все человечество, или локальными, касающимися только отдельных регионов или групп стран, отдельных социальных слоев и т. д.

Позиция, что история представляет собой смену единичных и уникальных явлений, что в ней нет прямого повторения, и потому нет законов, сложилась в конце XIX — начале XX в. (В. Виндельбанд, Г. Риккерт, Б. Кроче, Ф. А. Хайек, К. Поппер, К. Ясперс, Р. Арон и др.).

Отсутствие законов исторического развития не означает ни того, что в истории нет причинных связей, ни того, что в ней нельзя выявить определенные тенденции, или линии, развития. В истории действует принцип причинности: «Все имеет причину, и ничто не может произойти без предшествующей причины». Этот принцип универсален, он распространяется на все области и явления, и совокупная деятельность людей, именуемая историей, не является исключением из него. Однако законы отличны от причинных связей, и наличие в истории причинности никак не означает существования исторических законов. Выявление причинных зависимостей между историческими событиями — одна из основных задач науки истории.

Другой ее важной задачей являются обнаружение складывающихся в определенный период в определенном обществе тенденций развития, прослеживание линий развития его институтов, идей и т. д.

Тенденции не являются законами истории, хотя их часто путают с ними. Прежде всего научный закон — это универсальное утверждение. Высказывание о тенденции является не универсальным, а экзистенциальным: оно говорит о существовании в определенное время и в определенном месте некоторого направленного изменения. Если закон действует всегда и везде, то тенденция складывается в конкретное время, и срок ее существования ограничен.

Скажем, тенденция роста численности человечества сохранялась сотни и даже тысячи лет, но она может измениться за считанные десятилетия. Технический прогресс охватывает три последних столетия, однако при определенных неблагоприятных обстоятельствах его результаты могут быть утрачены в течение жизни одного поколения.

Тенденции, в отличие от законов, всегда условны. Они складываются при определенных условиях и прекращают свое существование при исчезновении этих условий. Тенденция, отчетливо проявившаяся в одну эпоху, может совершенно отсутствовать в другую эпоху. Например, греческие философы говорили о ясном направлении смены форм правления: от демократии к аристократии и затем к тирании. Но сегодня такой тенденции уже нет: некоторые демократии длятся, не вырождаясь, сотни лет, другие сразу же переходят к тирании и т. д.

Одной из типичных ошибок, связанных с тенденциями исторического развития, является распространение социальных тенденций, кажущихся устойчивыми в настоящем, на прошлое или на будущее. Так, в начале 60-х гг. Сорокин выделил «три главные тенденции нашего времени»: перемещение творческого лидерства человечества из Европы в Америку, Азию и Африку; распад чувственной (материалистической) культуры и переход к идеационной (религиозной) культуре; сближение капиталистического и коммунистического порядков и образов жизни и формирование более совершенного, чем капитализм и коммунизм, интегрального строя¹. Уже сейчас можно сказать, что первая тенденция реализуется только частично, а два других предсказания являлись ошибочными.

Проблема исторического прогресса

Хорошим примером социальных тенденций может служить *прогресс*, имеющий место в ряде областей социальной жизни.

Идея прогресса как неуклонного движения вперед, от низшего к высшему, перехода на более высокие ступени развития и изменения к лучшему сложилась и окрепла в эпоху Просвещения. Лейбниц первым сформулировал в качестве единого принципа исторической науки «принцип возвышения духа», возникающего из природы, обретающего самостоятельность и в силу внутренней необходимости постоянно дви-

¹ См.: Сорокин П. А. Главные тенденции нашего времени. М., 1997. С. 148–150.

жущегося вперед. Историческая наука Просвещения, проникнутая оптимизмом своего времени, считала всесторонний культурный прогресс очевидным следствием освобожденного от религиозных предрассудков разума. Идея прогресса стала формулироваться как всеобщий закон, детерминирующий динамику истории.

Прогрессизм как вера в неуклонный прогресс опирался прежде всего на очевидное бурное развитие науки и техники. Однако он не останавливался на этом, распространяя идею восходящего развития на все другие области культуры.

Вера в прогресс получила особое распространение в XVIII в., в период торжествующей национальной и культурной экспансии, когда Западная Европа сделалась своего рода центром мира. Но даже для того периода трудно было согласовать поверхностный оптимизм с историческими фактами.

Обычно различают две формы прогрессизма: веру в прогресс как бесконечное восходящее развитие, не имеющее предела, и веру в прогресс как развитие, ведущее, в конце концов, к совершенному обществу. Вторая форма прогрессизма — это *утопизм*, характерным примером которого является теория социального развития Маркса. Утопические концепции, активизировавшиеся начиная с эпохи Возрождения, продолжают питать революционные движения и в наши дни.

XX век, вместивший две мировые войны, социалистические революции и тоталитарные режимы, обнажил проблематичный характер прогресса. Стало очевидным, что идея прогресса вовсе не является всеобщим историческим законом. Прогресс распространяется далеко не на все сферы социальной жизни, а его результаты в тех областях, где он все же имеет место, неоднозначны. Неожданность и радикальность, которыми сопровождался распад прогрессизма, были столь поразительны, что многие из тех, кто в свое время боролся против идеологии прогрессизма, почувствовали себя призванными защитить те ее элементы, которые достойны оправдания.

Мы потеряли веру в «прогресс» и считаем прогресс понятием ложным, туманным и произвольным, говорил в начале 1920-х гг. русский философ С. Л. Франк. Человечество вообще, и европейское человечество в частности, вовсе не непрерывно совершенствуется, не идет неуклонно по какому-то ровному и прямому пути к осуществлению добра и правды. Напротив, оно блуждает без predeterminedного пути, поднимаясь на высоты и снова падая с них в бездны, и каждая эпоха живет какой-то верой, ложностью или односторонностью которой потом изобличается¹.

Франк полагает, что подлинного прогресса не было даже в Новое время, когда возникла сама идея прогресса. Раньше этот период пред-

¹ См.: Франк С. А. Крушение кумиров // Сочинения. Вып. 2. М., 1991. С. 165

ставлялся временем бесспорного совершенствования человечества, освобождения его от интеллектуальной, моральной и духовной тьмы и узости прошлого, расширения внешнего и внутреннего кругозора его жизни, увеличения его могущества, освобождения личности, накопления не только материальных, но и духовных богатств, повышения нравственного уровня. Но теперь стало очевидным, что Новое время было эпохой, которая через ряд блестящих внешних успехов завела человечество в какой-то тупик и совершила в его душе непоправимое опустошение. В итоге этого яркого и импонирующего развития культуры, просвещения, свободы и права человечество пришло совершенно неожиданно для себя к состоянию нового варварства.

Суждения Франка о прогрессе чересчур скептически. В них не различаются с достаточной ясностью области, в которых прогресс очевиден, области, в которых он чередуется с периодами регресса, и, наконец, области, в которых он просто отсутствует или не может быть обнаружен из-за краткости известной нам истории.

Есть несомненный прогресс в знании и техническом умении, причем результаты его постоянно передаются дальше и все более становятся всеобщим достоянием. В этой области мировая история может быть поята как развитие по восходящей линии, хотя и содержащее отступления и остановки, но в целом связанное с постоянным ростом достижений. В прогресс науки и техники вносят свой вклад все народы, а достижения этого прогресса по самой своей сущности доступны всем людям и действительно становятся достоянием всех. Можно предполагать, что в настоящее время прогресс в сфере науки и техники достиг своей высшей точки.

Однако это лишь одна линия целого. Прогресс в науке и технике не является, конечно, всеобщим законом истории. Это только длительная историческая тенденция, которая, несомненно, продолжится и в будущем. К тому же научный и технический прогресс ведет к единству в области знания, но не к единству человечества.

Сомнителен прогресс в искусстве. Будучи всеобщим достоянием, оно достигает высокого совершенства лишь у определенных народов и в определенные исторические периоды. Затем, взойдя на неповторимую высоту, оно как бы исчерпывает заложенные в нем потенции. Свершенное становится классикой, и новая волна в искусстве представляет собой уже совершенно иной стиль и не считает себя продолжением или даже преодолением того, что было достигнуто ранее.

Нет сколько-нибудь заметного прогресса в человеческой природе, в человеческой доброте и мудрости, в развитии интеллектуальных способностей человека. Высокоразвитые культуры не вызывают восхищения у народов, значительно уступающих им в развитии. «Быстрый рост усредненности, неразмышляющего населения, даже без борьбы, самим фактом своей массовости, торжествует, подавляя духовное величие, —

пишет К. Ясперс. — Беспрерывно идет отбор неполноценных, прежде всего в таких условиях, когда хитрость и brutality служит залогом значительных преимуществ»¹.

Подводя итог, можно еще раз повторить, что идея прогресса, чрезвычайно популярная еще сто лет назад, в свете событий прошлого века оказалась неочевидной и неоднозначной. Прогресс — не закон истории, прогрессивное развитие в тех областях, где оно существует, — результат человеческого разума и человеческих усилий.

7. Детерминизм

Категория *детерминизма* является одной из конкретизаций более общей категории *определенности*, или устойчивости, существующего. Детерминированное является необходимым, в то время как недетерминированное представляет собой возможное, случайное или невозможное. Детерминизм и индетерминизм — две противоположные позиции в вопросе о взаимосвязи и взаимообусловленности явлений. Детерминизм утверждает определенность одних событий или состояний другими, индетерминизм есть отрицание детерминизма. Каузальная детерминация может рассматриваться как частный случай детерминированности, а именно как определенность следствий их причинами.

Многие события или состояния таковы, что в одно время является детерминированным их наличие, а в другое — отсутствие. Наступление некоторого события или состояния в определенное время может быть детерминировано в одно время и не детерминировано в другое. Можно утверждать, например, что выпадение дождя сегодня детерминировано, а выпадение его послезавтра — нет; можно, сверх того, заявлять, что сегодняшний дождь был детерминирован событиями, имевшими место еще неделю назад, но не был детерминирован событиями годичной давности.

Вневременная детерминация может считаться с известным приближением частным случаем временной. Выражение «детерминировано А» истолковывается при этом как означающее «во всякое время детерминировано наступление события, описываемого высказыванием А».

Можно выделить два основных типа определенности последующих событий предшествующими: каузальную детерминацию и вызревание предпосылок для последующего наступления конкретного события. Например, в XV в. в Западной Европе созрели предпосылки для модернизации и перехода от традиционного общества к индустриальному; в XVII в. появились предпосылки для создания классической механики, в XIX в. — предпосылки для формулировки развитой теории социализма и т. п. Как говорит П. Рикёр, прошлое воздействует на настоящее и будущее

не только каузально: оно открывает определенные возможности, что, собственно, и заставляет постоянно обращаться к нему. Формирование предпосылок вряд ли можно отождествить с каузальной детерминацией: причина с необходимостью влечет наступление следствия, в то время как предпосылки не связаны со следующим за ними событием отношением необходимости.

Каузальная детерминированность — не единственный, но, по-видимому, наиболее интересный случай детерминированности. Введение представления о следственной детерминации не означает отрицания односторонней направленности, или асимметрии, причинной связи, активности и производительности причин и пассивности их следствий. Оно не ведет также с необходимостью к растворению причинности в универсальном взаимодействии и к отказу от принципа, утверждающего одностороннюю зависимость следствий от причин. Для получения всех этих нежелательных, как кажется, заключений требуется вполне определенное понимание каузального постдетерминизма, предполагающее производительность следствий и возможность обратного воздействия следствий на вызвавшие их явления, в том числе и на явления, переставшие уже существовать.

Принципы детерминизма

Утверждения, подобные принципам: «всякое явление имеет характерные черты и приобретает их одним или несколькими определенными способами»; «все, что происходит, необходимо порождается действием какой-либо причины»; «истинное однажды истинно во все последующие времена»; «следствия всех событий уходят сколь угодно далеко в будущее»; «причины некоторых событий не простираются бесконечно в прошлое», — не являются истинами логики. В этих утверждениях фиксируются определенные свойства реальных событий и их связей. Установление истинности или ложности этих утверждений не может быть результатом анализа значений входящих в них слов и выражений; оно требует обращения к опыту, к исследованию тех вещей и состояний, о которых мы говорим, используя данные слова и выражения.

Это не означает, конечно, что приведенные и подобные им утверждения не могут быть объектом концептуального, и в частности формально-логического, анализа. Последний необходим, в частности, при проведении четкого различия между детерминизмом и индетерминизмом, между разновидностями детерминизма и индетерминизма, при анализе доктрины логического детерминизма, в соответствии с которой строгий детерминизм является следствием логического принципа двужначности, проблем, связанных с реальностью прошлого и будущего, с их асимметрией и др. Для обсуждения этих и многих иных проблем целесообразно использовать особый искусственный язык, позволяющий дать компактные формулировки разных версий детерминизма и инде-

терминизма, выявить такие их логические отношения, как следование, эквивалентность, совместимость, несовместимость, и проследить сколько угодно далеко идущие следствия каждой из этих версий.

Многие события и состояния, кажется, таковы, что в одно время является детерминированным их наличие, а в другое — отсутствие. Наступление некоторого события или состояния в определенное время может быть детерминировано в одно время и не детерминировано в другое. Можно утверждать, например, что выпадение сегодня дождя детерминировано, а выпадение его послезавтра — нет; можно, сверх того, заявлять, что сегодняшний дождь был детерминирован событиями, имевшими место еще неделю назад, но не был детерминирован событиями годичной давности.

Язык, допускающий формы «детерминировано событие A » и «наступление события A причинно имплицирует наступление события B » и не содержащий форм «детерминировано во время t наступление в иное время t' события A » и «наступление в t события A причинно имплицирует наступление в t' события B », не обладает достаточной выразительной силой для представления приведенных и подобных им утверждений.

Явная временная квалификация детерминированности событий и состояний позволяет говорить не только об определенности последующего предшествующим, но и о детерминированности предшествующего последующим. Обычно, обсуждая детерминацию, в частности каузальную детерминацию, имеют в виду лишь однозначную определенность более позднего более ранним.

Утверждения типа «все детерминировано», «нет беспричинных явлений», «причина предшествует следствию», «всякое событие детерминировано во всякий предшествующий его наступлению момент» и т. п. могут быть лишь фактически истинными. Знание значений входящих в них слов и выражений, в частности знание значений таких слов, как «детерминировано», «причина», «следствие», не является достаточным основанием для заключения об истинности или ложности данных утверждений. Только эмпирическое исследование фактически встречающихся многообразных случаев детерминации и каузальной связи может оказаться таким основанием.

Исходным выражением теории детерминации должно быть выражение «в t реализуется (имеет место) A ».

Один из принципов детерминизма гласит:

1) всякое событие, когда бы оно ни происходило, каузально детерминировано в каждый момент времени.

Два частных случая этого принципа, касающихся причинной и следственной детерминации, таковы:

1а) каким бы ни было событие и в какой бы момент времени оно ни происходило, причина этого события существует во всякий предшествующий его наступлению момент, или, короче, «причины всех

событий уходят бесконечно в прошлое» (под «прошлым» понимается всякое время, предшествующее рассматриваемому событию);

1б) следствия каждого события существуют в сколь угодно отдаленный момент будущего.

Заменяя в принципе 1), который может быть назван *принципом строгого детерминизма*, слово «все» на слово «некоторые», и наоборот, можно получить различные ослабленные версии принципа детерминизма.

К ним относятся, в частности, следующие:

2) существуют такие события, что, независимо от того, в какое время они происходят, их наличие в это время каузально детерминировано во всякое время;

3) для каждого события имеется такой момент времени, что наступление данного события в этот момент детерминировано в любое время;

4) всякое событие, когда бы оно ни происходило, каузально детерминировано в определенный момент времени;

5) некоторые события каузально детерминированы в определенные моменты времени.

Легко убедиться, что из принципа 1) следуют принципы 4) — 5). Утверждения 4) и 5) логически независимы друг от друга. Можно соглашаться с одним из них, не принимая вместе с тем другого.

Частными случаями принципов детерминизма являются следующие утверждения: 6) существуют события, причины которых простираются бесконечно в прошлое; 7) следствия некоторых событий могут быть обнаружены в сколь угодно отдаленном будущем; 8) всякое событие имеет причину в некоторый предшествующий ему момент времени; 9) все события имеют следствия.

Если принимается какой-то из принципов 1) — 5), получается теория детерминизма, *симметричная* в следующем смысле: каждому доказуемому в ней утверждению о причинах соответствует аналогичное утверждение о следствиях, и наоборот. Иными словами, если в теории утверждается, что имеются события с бесконечно удаленными причинами, то в ней доказуемо также существование событий с бесконечными во времени следствиями. И если в симметричной теории устанавливается наличие следствий у всех без исключения событий, то в ней утверждается также отсутствие явлений, лишенных причины.

Утверждения о следствиях и утверждения о причинах логически независимы друг от друга. Это означает, что возможны различные разновидности *несимметричных* систем.

Индетерминизм

Граница между детерминизмом и индетерминизмом не является четкой. Нередко одна и та же точка зрения одними авторами оценивается как детерминистическая, а другими как индетерминистическая.

Определим *индетерминизм* как позицию, находящуюся в противоречии с некоторой детерминистической позицией. Коротко говоря, индетерминизм есть отрицание детерминизма.

Возможны несколько версий принципа каузального детерминизма и, следовательно, несколько версий каузального индетерминизма. Наиболее сильная формулировка первого принципа постулирует каузальную детерминированность всякого явления во всякое время. Соответствующая ей формулировка второго принципа утверждает существование событий, наличие которых в определенное время не является каузально детерминированным в то или иное время. Наиболее слабая версия принципа детерминизма постулирует существование событий, наступление которых каузально детерминировано в некоторые моменты времени. Связанная с нею наиболее сильная формулировка индетерминизма отрицает наличие моментов времени, в которые было бы каузально детерминировано то или иное событие.

Ранее было проведено различие между причинным и следственным детерминизмами. Можно ввести теперь аналогичное различие между причинным и следственным индетерминизмами.

Например, принцип, утверждающий, что всякое явление, независимо от того, когда оно происходит, не является каузально детерминированным в некоторое время, имеет два следующих частных случая:

а) для всякого события существуют моменты времени, в которые оно не имеет еще причины;

б) не имеется событий с бесконечно протяженными во времени следствиями.

Первый из этих случаев является одной из версий причинного индетерминизма, второй — следственного.

Возможны симметричные и несимметричные детерминистические позиции. Сходная возможность сохраняется и для индетерминистических точек зрения. Можно принимать, например, что причины каждого события не уходят сколь угодно далеко в прошлое, и вместе с тем отрицать, что какое-либо событие имеет следствия, и т. д.

Особый интерес представляет допускаемая рассматриваемой классификацией позиций возможность комбинации принципов детерминизма с теми или иными принципами индетерминизма. Существование *комбинированных* позиций, объединяющих детерминистические утверждения с индетерминистическими, является, по-видимому, основной причиной разногласий по поводу различения детерминизма и индетерминизма и последующей квалификации той или иной конкретной позиции.

Наиболее сильная версия детерминизма не совместима ни с одним из вариантов индетерминизма. Сходным образом наиболее сильная формулировка индетерминизма не может быть дополнена без противоречия тем или иным утверждением о существовании причин или следствий. Но имеются *неполные* детерминистические и индетерминистические

позиции, оставляющие открытым вопрос о детерминированности или недетерминированности некоторых явлений в отдельные моменты времени

Примерами их могут служить следующие две:

- а) некоторые события детерминированы во все моменты времени;
- б) неверно, что каждое событие детерминировано во всякое предшествующее его наступлению время.

Первую из них можно расширить до полной детерминистической позиции, вторую — до полной индетерминистической. Но можно также объединить два приведенных утверждения и получить комбинированную позицию, согласно которой существуют как всегда детерминированные события, так и события, не определенные в некоторые по меньшей мере моменты, предшествующие их наступлению. Утверждения о существовании в определенное или всякое время причин отдельных или всех событий могут комбинироваться с положениями, отрицающими наличие следствий у всех или определенных явлений в некоторый или каждый момент времени.

Очень популярной является такая, например, комбинированная позиция: принимается бесконечная протяженность следствий каждого явления, и вместе с тем утверждается, что некоторые явления не имеют причин в достаточно отдаленном прошлом. Еще одна распространенная комбинированная позиция может быть передана утверждением: ничто не происходит без причины, но вместе с тем неверно, что причины всякого события вечны. Такую позицию занимал, в частности, в момент создания многозначных логик польский логик Я. Лукасевич, называвший себя, однако, индетерминистом¹.

До сих пор принципам детерминизма и индетерминизма и их комбинациям давалась онтологическая интерпретация. Они формулировались как утверждения о структуре действительности, о реально существующих или несуществующих причинах и следствиях. Этим же принципам может быть дана также эпистемологическая интерпретация, в которой они говорят о возможности определенных описаний действительности. Например, онтологическому утверждению «причины некоторых событий не уходят бесконечно в прошлое» можно поставить в соответствие утверждение «невозможна теория, позволяющая указать причину всякого события в сколь угодно отдаленном прошлом». Первое из этих утверждений характеризует определенным образом действительность, второе — теорию, дающую ее описание.

Отношение между онтологической и эпистемологической интерпретациями одного и того же принципа является одним из аспектов отношения теории к описываемому ею фрагменту реального мира.

¹ См. в этой связи: *Ивин А. А. Логические теории Яна Лукасевича*. М., 2002 (гл. 3)

8. Историзм

Понятие *историзма* является одной из важных категорий тех гуманитарных и социальных наук, которые истолковывают мир — и прежде всего социальную жизнь — как постоянное изменение (становление) и используют временной ряд «прошлое — настоящее — будущее» («было — есть — будет»).

Если понятие детерминизма является конкретизацией категории *определенности* применительно к наукам о бытии, то понятие историзма представляет собой конкретизацию этой же общенаучной категории, но уже применительно к наукам о становлении.

Из многочисленных значений термина «историзм» можно отделить следующие два основных его значения:

- определенность настоящего прошлым и/или будущим;
- определенность прошлого и будущего настоящим.

Религиозные концепции истории, как правило, настаивают на определенности настоящего будущим. В частности, история, написанная в соответствии с принципами христианства, является провиденциальной и апокалиптической. Она приписывает исторические события не мудрости людей, но действиям бога, определившего не только основное направление, но и все детали человеческой деятельности. Для средневекового историка, пишет Р. Дж. Коллингвуд, история была не просто драмой человеческих устремлений, в которой он принимал ту или иную сторону, но процессом, которому присуща внутренняя объективная необходимость. Самые мудрые и сильные люди вынуждены подчиниться ей не потому, что, как у Геродота, бог — разрушительное и вредоносное начало, но потому, что бог, будучи провидцем и творцом, имеет соответственный план и никому не позволит помешать его осуществлению. Поэтому человек, действующий в истории, оказывается втянут в божественные планы, и они увлекают его за собой независимо от его согласия. «История как воля бога предопределяет самое себя, и ее закономерное течение не зависит от стремления человека управлять ею»¹. Теология истории длится от творения до Судного дня и спасения. Поступь бога в истории обнаруживает себя в последовательности актов сотворения мира, создания человека и изгнания его из рая, изъятия божественной воли устами пророков, спасения, явления бога людям на рубеже времен, предстоящего Страшного суда. Смысл исторического существования заключен в будущем и является результатом не одного познания, но и исполненного надежд ожидания.

Упования на будущее воздаяние сделались инородными для исторического сознания лишь в XX в. Радикальные концепции прогресса, выдвигавшиеся в XVIII — XIX вв. Ж. А. Кондорсе, Сен-Симоном, О. Кон-

¹ Коллингвуд Р. Дж. *Идея истории Автобиография*. М., 1980. С. 53

том, К. Марксом и др., оставались эсхатологически мотивированными будущим. Вместе с тем у Маркса начинает постепенно складываться идея определенности настоящего не только будущим, но и прошлым. В результате его позиция оказывается двойственной: история движется не только своим притяжением к конечной цели, но и объективными историческими законами, обуславливающими переход от более низких к более высоким общественно-экономическим формациям и в конечном счете — к коммунистической формации.

В XX в. представление о предопределенности настоящего будущим утрачивает остатки былого влияния, уступая место убеждению, что настоящее определяется прошлым и в известной мере образом того ближайшего, обозримого будущего, которое ожидает общество, культуру и т. п. и реализация которого во многом зависит от усилий человека. Отказ от идеи законов истории, действующих с «железной» необходимостью, придает определенности настоящего прошлым вероятностный, статистический характер. Такое понимание историзма лишает ценности «удобное и по существу ничего не значащее толкование истории как постижимого и необходимого поступательного движения человечества» (К. Ясперс).

Идея определенности не только будущего, но и прошлого настоящим начала складываться в конце XIX — начале XX в. Еще Ф. Шлейермахер, положивший начало современной герменевтике, требовал от историка встать на позицию того исторического персонажа, действия которого описываются, и понять его лучше, чем он сам понимал себя. При этом предполагалось, что современный интерпретатор, смотрящий в прошлое из своего специфического настоящего, способен выйти из своего «теперь» и полностью идентифицироваться с прошлым. Но уже у О. Шпенглера разные культуры не являются проницаемыми друг для друга, так что человек более поздней культуры не способен адекватно представить себя индивидом ушедшей в прошлое культуры и не может вполне понять строй мыслей и образ действий последнего. Настоящее, границы которого совпадают с границами культуры, предопределяет невозможность адекватного познания прошлого.

С особой силой подчеркнул историчность бытия человека, его погруженность в настоящее и зависимость не только будущего, но и прошлого от настоящего экзистенциализм. Невозможно подняться над историей, чтобы рассматривать прошлое «беспристрастно». Объективность исторична, и она прямо связана с той позицией в истории, с которой исследователь пытается воссоздать прошлое. «Мы ведь тоже вынуждены видеть и истолковывать прежнее мышление из горизонта определенного, т. е. нашего мышления, — пишет М. Хайдеггер. — ...Мы не можем выйти из нашей истории и из нашего «времени» и рассмотреть само по себе прошлое с абсолютной позиции, как бы помимо всякой определенной и поэтому обязательно односторонней оптики... Вопрос об истинности

данного «образа истории» заходит дальше, чем проблема исторической корректности и аккуратности в использовании и применении источников. Он соприкасается с вопросом об истине нашего местоположения в истории и заложенного в нем отношения к ее событиям»¹. Хайдеггер почти с той же силой, что и Шпенглер, настаивает на взаимной непроницаемости и принципиальной необъяснимости культур. Единственным приближением к чужой культуре ему представляется самостоятельное, т. е. достигаемое внутри собственной живой истории и каждый раз заново, ее осмысление. Позиция самостоятельного мыслителя, какая бы она ни была, будет уникальной и вместе с тем окончательной полноценной интерпретацией истории.

О роли настоящего в историческом исследовании Р. Дж. Коллингвуд пишет, что «каждое настоящее располагает собственным прошлым, и любая реконструкция в воображении прошлого нацелена на реконструкцию прошлого этого настоящего... В принципе, целью любого такого акта является использование всей совокупности воспринимаемого «здесь и теперь» в качестве исходного материала для построения логического вывода об историческом прошлом, развитие которого и привело к его возникновению»². По Коллингвуду, эта цель никогда не может быть достигнута: настоящее не может быть воспринято и тем более объяснено во всей его целостности, а бесконечное по материалу прошлое никогда не может быть схвачено целиком. Желание понять полное прошлое, исходя из полного настоящего, не реализуемо на практике, что делает историю «стремлением к нравственному идеалу, поиску счастья».

9. Знание, убеждение, вера, сомнение

Убеждение представляет собой уверенность в том, что определенное высказывание (положение) должно быть принято в силу имеющихся оснований. Предметом убеждения может быть не только отдельное высказывание, но и целостная система высказываний: сообщение о каких-то событиях, доказательство, концепция, теория и т. п.

Убеждение не совпадает ни с истиной, ни с верой, лишенной сколько-нибудь отчетливых оснований («слепой верой»). Когда утверждение истинно, описываемая им ситуация реально существует. Но если утверждение представляет собой чье-то убеждение, это не означает, что ему что-то соответствует в действительности. В отличие от чистой веры, способной служить основанием самой себя, убеждение предполагает определенное основание. Последнее может быть слабым, фантастическим или даже внутренне противоречивым, но тем не менее оно должно существовать.

¹ *Heidegger M. Der europaische Nihilismus. Pfulingen, 1967 S 90–91*

² *Коллингвуд Р. Дж. Указ. соч. С 53*

Отношения между знанием, убеждением и верой можно представить с помощью следующей схемы:



знание убеждение вера нейтральность неверие сомнение заблуждение

Убеждение представляет собой, таким образом, веру, имеющую под собой определенные основания. Убеждение стоит между *истиной* и *чистой*, или, как чаще говорят, *слепой верой*, не предполагающей никаких оснований. *Нейтральность* — это отсутствие веры или неверия по поводу того или иного факта или события. Все то, над чем мы вообще не задумываемся и отношение к чему остается неясным или неинтересным для нас, является нейтральным.

Противоположностью истины является *заблуждение*. Противоположность убеждения — *сомнение*, противоположность веры — *неверие*.

Сомнение — это неуверенность, колебания в том, следует ли принимать в качестве истинного, правильного или эффективного какое-то утверждение или систему утверждений. В зависимости от характера утверждения можно говорить о сомнении в истинности описания, сомнении в эффективности (правильности) оценки. В зависимости от той области, к которой относится сомнение, оно может быть теоретическим, нравственным, религиозным и т. д.

Августин, а позднее Р. Декарт придавали сомнению важное методологическое значение и считали его предварительной ступенью познания. Декарт настаивал на необходимости как можно более полного и радикального сомнения и считал, что вполне достоверно лишь положение «Я мыслю, следовательно, я существую».

В философии XX в. отношение к сомнению усложнилось, и сомнение перестало считаться необходимым предварительным условием познания. Л. Витгенштейн полагал, что вообще нельзя начинать с сомнения, поскольку для него всегда нужны веские основания, и что есть категории утверждений, в приемлемости которых неразумно сомневаться¹. Выделение этих классов утверждений непосредственно связано с системным характером человеческого знания, с его внутренней целостностью и единством.

Связь обосновываемого утверждения с той системой утверждений, в рамках которой оно выдвигается и функционирует, существенным образом влияет на эмпирическую проверяемость этого утверждения и, соответственно, на те доводы, которые могут быть выдвинуты в его поддержку.

В контексте своей системы («практики», «языковой игры», по выражению Витгенштейна) утверждение может приниматься в качестве несомненного, не подлежащего критике и не требующего обоснования, по меньшей мере, в двух случаях.

¹ См.: Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1 М., 1994. С. 358–362

Во-первых, если отбрасывание этого утверждения означает отказ от определенной практики, от той целостной системы утверждений, составным элементом которой оно является. Например, утверждение «Небо голубое» не требует проверки и не допускает сомнения, иначе будет разрушена вся практика визуального восприятия и различения цветов. Сомневаясь в утверждении «Солнце завтра взойдет», мы подвергаем сомнению всю естественную науку. Сомнение в достоверности утверждения «Если человеку отрубить голову, то обратно она не прирастет» ставит под вопрос всю физиологию и т. д. Эти и подобные им утверждения обосновываются не эмпирически, а ссылкой на ту устойчивую и хорошо апробированную систему утверждений, составными элементами которой они являются и от которой пришлось бы отказаться, если бы они оказались отброшенными. В начале прошлого века английский философ Дж. Мур ставил вопрос: как можно было бы обосновать утверждение «У меня есть рука?»¹. Согласно Витгенштейну, ответ на этот вопрос является простым: данное утверждение очевидно и не требует никакого обоснования в рамках человеческой практики восприятия; сомневаться в нем значило бы поставить под сомнение всю эту практику.

Во-вторых, утверждение должно приниматься в качестве несомненного, если в рамках соответствующей системы утверждений оно стало стандартом оценки иных ее утверждений, в силу чего сделалось предписанием (прескрипцией) и утратило свою эмпирическую проверяемость.

Среди таких утверждений, перешедших из разряда описаний в разряд оценок, можно выделить две разновидности: утверждения, не проверяемые в рамках определенной, достаточно узкой практики, и утверждения, не проверяемые в рамках любой, сколь угодно широкой практики. Например, человек, просматривающий почту, не может сомневаться в своем имени, пока не занят этой деятельностью. Ко второй разновидности относятся утверждения, названные Витгенштейном «методологическими»: «Существуют физические объекты», «Земля существовала до моего рождения», «Объекты продолжают существовать, даже когда они никому не даны в восприятии» и т. п. Связь этих утверждений с другими нашими убеждениями практически всеобъемлюща. Подобные утверждения зависят не от конкретного контекста, а от совокупности всего воображаемого опыта, в силу чего пересмотр их практически невозможен.

Имеются, таким образом, пять типов утверждений, по-разному относящихся к практике их употребления: (1) утверждения, относительно которых не только возможно, но и разумно сомнение в рамках конкретной практики; (2) утверждения, в отношении которых сомнение

¹ См.: Мур Дж. Защита здравого смысла // Аналитическая философия: становление и развитие. М., 1998

возможно, но не является разумным в данном контексте (например, результаты надежных измерений; информация, полученная из заслуживающего доверия источника); (3) утверждения, не подлежащие сомнению и проверке в данной практике под угрозой ее разрушения; (4) утверждения, ставшие стандартами оценки иных утверждений и потому не проверяемые в рамках данной практики, однако допускающие проверку в других контекстах; (5) методологические утверждения, не проверяемые в рамках любой практики.

Можно предположить, что утверждения типа 3 всегда входят в состав утверждений типа 4 и являются стандартами оценки других утверждений. Эти два типа утверждений можно сделать предметом сомнения, проверки и обоснования, выйдя за пределы их практики, поместив их в более широкий или просто иной контекст. Что касается методологических утверждений, входящих во всякую мыслимую практику, доводы в их поддержку могут опираться только на убеждение в наличии тотального соответствия между совокупностью наших знаний и внешним миром, на уверенность во взаимной согласованности всех наших знаний и опыта.

Глава 3

НАУЧНЫЙ МЕТОД

1. Понятие научного метода

Под *методом* обычно понимается любая процедура, используемая для получения определенного результата. Метод в широком смысле включает не только предписания или правила определенной деятельности, но и те критерии и идеалы, которыми она руководствуется, образцы удачного применения метода, требования к тому, кто пользуется данным методом, и т. д.

Под *научной методологией*, как правило, понимается систематический анализ тех рациональных принципов и процессов, которые должны направлять научное исследование. Методология занимается не только наукой в целом, но и отдельными проблемами и их группами в рамках изучения процесса научного познания.

Научный метод представляет собой систему категорий, ценностей, регулятивных принципов, способов обоснования, образцов и т. д., которыми руководствуется в своей деятельности научное сообщество.

Научный метод предполагает:

- достаточно устойчивую и ясную систему категорий, служащих координатами научного мышления;
- определению систему тех идеалов, на которые ориентируются в своей деятельности ученые;
- систему норм научного познания, требующих обоснованности научного знания, его логической последовательности и т. д.;
- специфический отбор способов обоснования полученного знания;
- ряд общих регулятивных принципов, соответствие которым желательно, но не обязательно;
- особые, специфические для каждой научной дисциплины правила адекватности;
- особые принципы упорядочения, или иерархизации, многообразных толкований истины, типов научных теорий, применяемых в науке приемов обоснования, видов научного объяснения и т. д.;
- использование определенных философских представлений о мире, позволяющих прояснить философские основания науки и использовать метафизику в анализе роста и развития научного знания;
- определенные образцы успешной исследовательской деятельности в конкретной области.

В числе научных категорий: бытие (существование), становление, время, пространство, изменение, причинность, детерминизм, рациональность, ценность, истина, убеждение, знание и т. д.

К ценностям, предполагаемым научным методом, относятся:

- *реализм* — уверенность в независимом от исследователя существовании изучаемых объектов;

— *эмпиризм* — уверенность в том, что только наблюдения и эксперименты играют решающую роль в признании или отбрасывании научных положений, включая законы и теории;

— *теоретичность* — стремление придать итогам исследования особую систематическую форму, а именно форму теории, способной обеспечить объяснение (предсказание) и понимание исследуемых явлений;

— *истинность* — соответствие научных идей и теорий описываемым ими фрагментам реальности;

— *объективность* — требование избавляться от индивидуальных и групповых пристрастий, непредвзято и без предрассудков вникать в содержание исследования, представлять изучаемые объекты так, как они существуют сами по себе, независимо от субъекта, или «наблюдателя», всегда исходящего из определенной «точки зрения»;

— *совместимость* — убеждение, что новое знание должно в целом соответствовать имеющимся в рассматриваемой области законам, принципам, теориям или, если такого соответствия нет, объяснять, в чем состоит ошибочность ранее принятых представлений;

— *адекватность* — требование давать соответствующую исследуемому фрагменту реальности картину изучаемых объектов, т. е. такую их картину, которая способна обеспечить объяснение, предсказание и понимание этих объектов;

— *критичность* — готовность подвергнуть полученные выводы критике и проверке в надежде найти ошибки, чему-то научиться на этих ошибках и, если повезет, построить более совершенную теорию;

— *открытость* — возможность свободного обмена информацией в рамках научного сообщества;

— *воспроизводимость* — повторяемость проведенных другими исследователями наблюдений и экспериментов, причем с теми же результатами, что и полученные ранее, и др.

Множество основных требований, которыми руководствуется ученый, не имеет отчетливой границы, и данный их перечень не является исчерпывающим. В дальнейшем все требования науки делятся на *идеалы науки и нормы науки*.

Нет оснований сводить эти требования к какой-то одной или немногим из указанных, например к критичности, как это делает, например, К. Поппер, полагающий, что критерием научного статуса теории является ее фальсифицируемость, или опровержимость.

Научный метод и обоснование знания

Допускаемые научным методом *способы обоснования* образуют определенную иерархию, вершиной которой является *эмпирическая аргументация*. Далее следует *теоретическая аргументация*: дедуктивная и системная аргументация, методологическая аргументация и др.

Что касается *контекстуальной аргументации* (ссылок на традицию, авторитеты, интуицию, веру, здравый смысл, вкус и т. п.), она считается менее убедительным способом научного обоснования. И вместе с тем без контекстуальных, зависящих от аудитории аргументов не способны обходиться ни гуманитарные, ни социальные науки, поскольку человек всегда погружен в историю и существует в определенном «настоящем». Все его поступки и дела определяются не только его разумом, но и тем, что унаследовано от предков.

Научный метод не содержит правил, не имеющих или в принципе не допускающих исключений. Все его правила условны и могут нарушаться даже при выполнении их условия. Любое правило может оказаться полезным при проведении научного исследования, так же как любой прием аргументации может оказать воздействие на убеждения научного сообщения. Но из этого не следует, что все реально используемые в науке методы исследования и приемы аргументации равноценны и безразлично, в какой последовательности они используются.

2. Регулятивные принципы и стандарты адекватности

Научный метод предполагает, что новое научное положение должно находиться в согласии не только с эмпирическими данными и хорошо зарекомендовавшими себя теориями, но и с определенными *регулятивными принципами*, складывающимися в практике научных исследований. Эти принципы разнородны, обладают разной степенью общности и конкретности.

Наиболее известными из регулятивных принципов являются:

— *принцип простоты* — требование объяснения изучаемых явлений при минимальном числе независимых и как можно более простых допущений;

— *принципы привычности, или консерватизма*, — рекомендация избегать неоправданных новаций и стараться, насколько возможно, объяснять новые явления с помощью известных законов;

— *принцип универсальности* — пожелание проверять выдвинутое положение на справедливость его в случае класса явлений, более широкого, чем тот, на основе которого оно было первоначально сформулировано;

— *принцип красоты* — требование, чтобы хорошая теория отличалась особым эстетическим впечатлением, элегантностью, ясностью, стройностью и даже известной романтичностью, и др.

В каждой области знания есть свои *правила, или стандарты, адекватности*. Они являются не только контекстуальными, но и имеют во многом конвенциональный характер. Эти стандарты, принимаемые научным сообществом, касаются общей природы объектов, которые должны быть исследованы и объяснены, той количественной точности, с которой это должно быть сделано, строгости рассуждений, широты данных и т. п.

Научный метод не представляет собой исчерпывающего перечня правил и образцов, обязательных для каждого исследования. Даже самые очевидные из его правил могут истолковываться по-разному и имеют **многочисленные исключения**.

Правила научного метода могут меняться от одной области познания к другой, поскольку существенным их содержанием является не-кодифицируемое, вырабатываемое в самой практике исследования *мастерство* — умение проводить конкретное исследование и делать вытекающие из него обобщения. Описать это мастерство в форме системы общеобязательных правил так же невозможно, как кодифицировать мастерство художника или мастерство политика.

3. Методологизм и антиметодологизм

Методологизм и антиметодологизм — две крайние позиции в истолковании значения методологии в развитии научных теорий.

Методологизм считает следование научному методу решающим условием приемлемости научной теории и нередко отождествляет соответствие методу с соответствием теоретической конструкции реальности, т. е. с истиной, или, по меньшей мере, с объективностью.

Антиметодологизм отрицает возможность использования методологических соображений при оценке теории и в крайних своих вариантах даже утверждает, что научного метода как такового не существует.

Основные идеи методологизма в философии науки

Методологизм начал складываться в XV — XVII вв. вместе с формированием науки в современном смысле этого слова. Он естественным образом вытекал из фундаментальных предпосылок мышления Нового времени и из его оппозиции средневековому мышлению, тяготевшему к умозрительным спекуляциям. Зарождающейся науке предстояло научиться вести систематическое наблюдение природных явлений, не искажаемое предвзятыми допущениями.

Показательна в этом плане борьба Ф. Бэкона (1561–1626) против беспорядочного опыта, характерного для позднего Средневековья, стремление доказать, что научное значение имеет лишь методический опыт, полученный в результате строго регламентированных процедур. Даже изготовление золота и совершение разных чудес следовало, по Бэкону, осуществлять по строгим, методологически выверенным рецептам.

Чуть позднее Р. Декарт (1596–1650) попытался разработать универсальный метод, гарантирующий достижение истины в любых областях исследования.

Критика Д. Юмом (1711–1776) правдоподобного рассуждения, или индукции, считавшейся основой единого научного метода, на долгий период оказалась почти забытой. И. Кант (1774–1804) развил концеп-

цию априорных предпосылок, гарантирующих универсальность метода науки. О. Конт (1798–1857) апеллировал к закономерному характеру природных и исторических процессов, как если бы сама онтологическая необходимость обладала способностью диктовать общезначимые правила своего познания.

Проблема «оправдания» индукции, вставшая со всей остротой в конце XIX — начале XX в., привела к постепенному ослаблению позиций методологизма.

Сущность антиметодологизма

Если «классический» методологизм полагал, что существуют универсальные, значимые всегда и везде правила и методы научного исследования, то сложившийся к середине прошлого века «контекстуальный методологизм» ставил правила в зависимость от контекста исследования и заявлял, что хотя никакие из этих категорических правил не являются универсальными, имеются, тем не менее, универсальные условные правила, предписывающие определенные действия в определенных исследовательских ситуациях. Позднее стала утверждаться промежуточная между методологизмом и антиметодологизмом точка зрения, что даже условные правила имеют свои пределы, так что и они могут иногда приводить к отрицательным результатам.

Согласно крайней версии антиметодологизма, методологические правила всегда бесполезны и должны быть отброшены. Если методологизм — это, выражаясь словами Ф. Ницше, «не победа науки, а победа научного метода над наукой», то антиметодологизм — это приоритет бессистемности и хаотичности над научной строгостью и методичностью.

Пороки методологизма

За методологизмом всегда скрывается опасность релятивизации научного знания. Если истинность знания определяется не соответствием его реальности, а соблюдением методологических канонов, то наука утрачивает почву объективности. Никакие суррогаты, подобные общепринятости метода, его успешности и полезности получаемых результатов, не способны заменить истину в качестве решающего критерия принятия (описательных) утверждений. Подмена ее методологическими требованиями вынуждает признать, что каждое коренное изменение научных методов и понятийных каркасов научных теорий приводит к изменению той реальности, которую исследует ученый. Переворот в методологии оказывается, таким образом, радикальным разрывом со старым видением мира и его истолкованием.

Методологизм сводит научное мышление к системе устоявшихся, по преимуществу технических способов нахождения нового знания. Результатом является то, как пишет М. Мерло-Понти, что «научное мышление произвольно сводится к изобретаемой им совокупности

технических приемов и процедур фиксации и улавливания. Мыслить — означает пробовать, примеривать, осуществлять операции, преобразовывать при единственном условии экспериментального контроля, в котором участвуют только в высокой степени «обработанные» феномены, скорее создаваемые, чем регистрируемые нашими приборами»¹.

Наука, лишенная свободы операций, перестает быть подвижной и текучей и во многом лишается способности увидеть в себе построение, в основе которого лежит «необработанный», или реальный, мир. Слепым операциям, выполняемым по правилам научного метода, методологизм придает конституирующее значение: они формируют мир опыта, мир эмпирических данных.

В своих крайних вариантах методологизм склоняется к субъективной теории истины: истинно утверждение, полученное по определенным правилам и удовлетворяющее определенным критериям.

Эти правила и критерии могут относиться к происхождению или источнику знания, к его надежности или устойчивости, к его полезности, к силе убежденности или неспособности мыслить иначе. Классическая теория истины как соответствия утверждений описываемым ими фактам, напротив, предполагает, что некоторая концепция может быть истинной, даже если никто не верит в нее, и ее происхождение методологически не безупречно. Научная теория может оказаться ложной, даже если она отвечает всем методологическим канонам и образцам и кажется имеющей хорошие методологические основания для ее признания.

Согласно принципу эмпиризма, в науке только наблюдения или эксперименты играют решающую роль в признании или отбрасывании научных высказываний. В соответствии с этим принципом методологическая аргументация может иметь лишь второстепенное значение. Она никогда не способна поставить точку в споре о судьбе конкретного научного утверждения или теории.

Методологизм и эмпиризм

Общий методологический принцип эмпиризма гласит: различные правила научного метода не должны допускать «диктаторской стратегии». Они должны исключать возможность того, что мы всегда будем выигрывать игру, разыгрываемую в соответствии с этими правилами: природа должна быть способна хотя бы иногда говорить нам «нет».

Методологические правила расплывчаты и неустойчивы, они всегда имеют исключения. Особую роль в научном рассуждении играет правдоподобное рассуждение (индукция), связывающее наше знание с опытом. Но индукция вообще не имеет ясных правил.

«Ни одно наблюдение, — пишет К. Поппер, — никогда не может гарантировать, что обобщение, выведенное из истинных — и даже часто

повторяющихся — наблюдений, будет истинно... Успехи науки обусловлены не правилами индукции, а зависят от счастья, изобретательности и от чисто дедуктивных правил критического рассуждения»¹. Когда речь идет о «правилах обоснованной индукции» или о «кодексе обоснованных индуктивных правил», имеется в виду не некий реально существующий перечень «правил индукции» (его нет, и он в принципе невозможен), а вырабатываемое долгой практикой мастерство обобщения, относящееся только к той узкой области исследования, в рамках которой оно сложилось. Описать это мастерство в форме системы общеобязательных правил невозможно.

Научный метод, несомненно, существует, но он не представляет собой исчерпывающего перечня правил и образцов, обязательных для каждого исследователя. Даже самые очевидные из этих правил могут истолковываться по-разному и имеют многочисленные исключения.

Правила научного метода могут меняться от одной области познания к другой, поскольку существенным содержанием этих правил является неcodифицируемое мастерство — даваемое самой практикой научной деятельности умение проводить исследование объектов определенного типа и делать вытекающие из такого исследования обобщения.

Методологический анархизм

Концепция методологического анархизма современного американского философа науки П. Фейерабенда выражается максимой: «Все дозволено» («В научном исследовании может использоваться и принести успех любое правило»).

«Идея метода, содержащего жесткие, неизменные и абсолютно обязательные принципы научной деятельности, — пишет Фейерабэнд, — сталкивается со значительными трудностями при сопоставлении с результатами исторического исследования. При этом выясняется, что не существует правила — сколь бы правдоподобным и эпистемологически обоснованным оно ни казалось, — которое в то или иное время не было бы нарушено. Становится очевидным, что такие нарушения не случайны и не являются результатом недостаточного знания. Или невнимательности, которых можно было бы избежать. Напротив, мы видим, что они необходимы для прогресса науки»². И далее: «...Идея жесткого метода или жесткой теории рациональности покоится на слишком наивном представлении о человеке и его социальном окружении. Если иметь в виду обширный исторический материал и не стремиться «очистить» его в угоду своим низшим инстинктам или в силу стремления к интеллектуальной безопасности до степени ясности, точности, «объ-

¹ Поппер К. Логика и рост научного знания. С. 271

² Фейерабэнд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986. С. 153.

ективности», «истинности», то выясняется, что существует лишь *один* принцип, который можно защищать при *всех* обстоятельствах и на всех этапах человеческого развития, — *допустимо все*¹.

Позиция Фейерабенда иногда истолковывается как призыв не следовать вообще никаким правилам и нормам и, значит, как некоторый новый методологический императив, призванный заместить прежние методологические нормы.

Однако Фейерабенд утверждает нечто иное: поиски универсальных, не знающих исключений и не имеющих ограничений в своем применении методологических правил способны привести только к такому пустому и бесполезному правилу, как «Все дозволено». Оно означает, что любой способ деятельности исследователя где-нибудь может оказаться дозволенным, оправданным контекстом исследования и ведущим к успеху.

Фейерабенд стремится показать, что всякое методологическое правило, даже самое очевидное с точки зрения здравого смысла, имеет границы, за которыми его применение неразумно и мешает развитию науки. Методологические правила нужны и всегда помогают исследователю. Проблема не в том, какие нормы и стандарты методологии признавать, а какие — нет. Проблема в отношении к методологическим предписаниям и в их использовании. В некоторых ситуациях одни методологические нормы можно заменять другими, быть может, противоположными.

Фейерабенд полагает, что такие события и достижения, как изобретение атомизма в античности, коперниканская революция, развитие современного атомизма (кинетическая теория, теория дисперсии, стереохимия, квантовая теория), постепенное построение волновой теории света, оказались возможными лишь потому, что некоторые мыслители либо сознательно решили разорвать путы «очевидных» методологических правил, либо произвольно нарушали их. Такая либеральная практика, заключает Фейерабенд, является не просто фактом истории науки — она и разумна, и абсолютно необходима для развития знания².

Каким бы фундаментальным или необходимым для науки ни казалось любое конкретное правило, всегда возможны обстоятельства, при которых целесообразно не только игнорировать это правило, но даже действовать вопреки ему.

Например, существуют обстоятельства, когда вполне допустимо вводить, разрабатывать и защищать гипотезы, противоречащие обоснованным и общепринятым экспериментальным результатам, или же такие гипотезы, содержание которых меньше, чем содержание уже суще-

¹ Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986. С. 158–159.

² Там же. С. 153–154.

ствующих и эмпирически адекватных альтернатив, или просто противоречивые гипотезы и т. п. Иногда исследователь, отстаивающий свою позицию, вынужден отказаться от корректных приемов аргументации и использовать пропаганду или даже принуждение, потому что аудитория оказывается психологически невосприимчивой к приводимым им аргументам.

Необоснованность методологического анархизма

Критика Фейерабендом сильных версий методологизма, если отвлечься от ее полемических крайностей, в основе своей верна. Не существует абсолютных, значимых всегда и везде правил и образцов научного исследования, и поиски их являются пустым делом. Условные методологические правила имеют исключения даже в тех ситуациях, к которым они относятся; они имеют свои пределы и иногда приводят к отрицательному результату.

Вместе с тем выводы, которые Фейерабенд делает из своей критики, не вполне ясны и в конечном счете внушают известное недоверие к научному методу.

Все методологические правила рассматриваются Фейерабендом в одной плоскости, в результате чего исчезает различие между важными и второстепенными методологическими требованиями, между вынужденными и спонтанными отступлениями от стандартной научной методологии. Способы аргументации, реально применяемые в науке, также уравниваются в правах, и, скажем, стандартное обоснование гипотезы путем подтверждения ее следствий и пропаганда оказываются почти что одинаково приемлемыми.

Научное исследование — не диалог изолированного ученого с природой, как это представляло себе Новое время, а одна из форм социальной деятельности. Ученый — человек своего времени и своей среды, он использует те аргументы, которые характерны для этого времени и которые могут быть восприняты его средой. Научная аргументация, как и всякая иная, должна учитывать свою аудиторию, в частности то, что аудитория иногда оказывается более восприимчивой к ссылкам на традицию или на «классику» (признанные авторитеты), чем, допустим, к ссылкам на эксперимент, истолкование которого не однозначно.

Ученый, проводящий исследование, руководствуется прежде всего правилами, входящими в ядро методологических требований. Лишь неудача в применении стандартных правил заставляет его обращаться к тому, что не общепринято в методологии, или даже к тому, что противоречит существующим ее образцам.

Ученый начинает также со стандартных приемов корректной научной аргументации и старается не отступать от них до тех пор, пока к этому его не вынудят обстоятельства, в частности аудитория.

4. Историчность научного метода

Все правила научного метода допускают исключения, являются условными и иногда могут нарушаться даже при выполнении их условия. Любое правило может оказаться полезным при проведении научного исследования, так же как любой прием аргументации может оказать воздействие на убеждения научного сообщества.

Но из этого вовсе не следует, что все реально используемые в науке методы исследования и приемы аргументации равноценны и безразлично, в какой последовательности они используются. В этом отношении «методологический кодекс» вполне аналогичен моральному кодексу.

Таким образом, методологическая аргументация является вполне правомерной, а в науке, когда ядро методологических требований достаточно устойчиво, — необходимой. Однако только методологические аргументы никогда не способны заставить принять или отвергнуть научную теорию.

Особенно это касается методологии гуманитарного, а отчасти и социального познания, которая не настолько ясна и бесспорна, чтобы на нее можно было ссылаться. Иногда даже представляется, что в гуманитарных и социальных науках (науках о культуре, как их нередко называют) используется совершенно иная методология, чем в науках о природе.

О методологии практического и художественного мышления вообще трудно сказать что-нибудь конкретное. Как пишет Х. Г. Гадамер, «в опыте искусства мы имеем дело с истинами, решительно возвышающимися над сферой методического познания, то же самое можно утверждать и относительно наук о духе в целом, наук, в которых наше историческое предание во всех его формах хотя и становится *предметом* исследования, однако вместе с тем само *обретает голос в своей истине*»¹.

Сходную мысль о «внеметодическом» («неоперационном») характере гуманитарного мышления выражает французский философ М. Мерло-Понти. Если «операционное» мышление, говорит он, берется трактовать человека и историю и одновременно допускает возможность не считаться с тем, что мы знаем о них благодаря непосредственному контакту и расположению, более того, начинает их конструировать, исходя из каких-то абстрактных параметров, человек становится простым орудием, которым можно манипулировать. Тем самым мы входим в режим культуры, где в том, что касается человека и истории, нет уже ни ложного, ни истинного, и попадаем в сон или кошмар, от которого ничто не сможет пробудить².

¹ Гадамер Х. Г. Истина и метод. М., 1988. С. 40.

² См.: Мерло-Понти М. Око и дух. М., 1995. С. 11.

Методология науки как вывод из истории научного познания

Методологические представления ученых в каждый конкретный промежуток времени являются *итогом и выводом* предшествующей истории научного познания. Методология науки, формулируя свои требования, опирается на данные *истории науки*. Настаивать на безусловном выполнении этих требований значило бы возводить определенное историческое состояние науки в вечный и абсолютный стандарт.

Каждое новое исследование является не только применением уже известных методологических правил, но и их проверкой. Исследователь может подчиниться старому методологическому правилу, но может и счесть его неприменимым в каком-то конкретном новом случае.

Идея отделения науки от государства

Авторитет науки Фейерабенд склонен объяснять внешними для нее обстоятельствами. Сейчас наука господствует не в силу ее сравнительных достоинств, а благодаря организованному для нее пропагандистским и рекламным акциям¹.

В ключе этого «развенчания» научного метода и его результата — объективного научного знания — Фейерабенд делает и общий скептический вывод, что наука почти ничем не отличается от мифа. Фейерабенду кажется, что наука гораздо ближе к мифу, чем это готова допустить философия науки. Наука — одна из многих форм мышления, разработанная людьми и не обязательно самая лучшая. Она ослепляет только тех, кто уже принял решение в пользу определенной идеологии или вообще не задумывается о преимуществах и ограничениях науки. Принятие или непринятие той или иной идеологии следует предоставлять самому индивиду. Из этого вытекает, что отделение государства от церкви должно быть дополнено отделением государства от науки, которая является наиболее агрессивным и наиболее догматическим религиозным институтом. Подобное отделение — единственный шанс достичь того гуманизма, на который мы способны, но которого никогда пока еще не достигали².

Если наука не дает объективного, обоснованного знания и настолько близка к мифу и религии, что наука должна быть, подобно религии, отделена от государства и, следовательно, от процесса обучения, то сама постановка задачи обоснования знания лишается смысла. Факт и слово авторитета, научный закон и вера или традиция, научный метод и интуитивное озарение становятся совершенно равноправными. Вследствие этого стирается различие между объективной истиной, требующей надежного основания, и субъективным мнением, зачастую не опирающимся на какие-либо разумные доводы.

¹ См.: Мерло-Понти М. Око и дух. М., 1995. С. 513.

² Там же. С. 146.

Так, сложность и неоднозначность процесса обоснования склоняют к идее, что всякое знание — всего лишь не особенно правдоподобная гипотеза, и даже внушают мысль, что наука мало отличается от религии.

Действительно, поиски абсолютной надежности и достоверности обречены на провал, идет ли речь о химии, истории или математике. Научные теории всегда в той или иной мере предположительны. Они дают не абсолютную, а только относительную, справедливую лишь для своего времени истину.

Но это именно истина, а не догадка или рискованное предположение. Практические результаты применения научного знания для преобразования мира, для осуществления человеческих целей свидетельствуют о том, что в теориях науки есть объективно истинное и, значит, неопровержимое содержание.

Ушло в прошлое наивное представление, что наука строится на постоянно разрастающейся совокупности нейтральных фактов. Отброшена также идея о невозможности пересмотра хорошо установленных фактов вместе с вытекающей из нее концепцией относительной прямолинейности процесса накопления научного знания. Тем не менее, хотя понятие «факт» стало более условным и хотя отныне факты должны рассматриваться в их взаимосвязи со специфическими интеллектуальными структурами, было бы неправильно воспринимать в целом ученых как людей, рассматривающих опытное или теоретическое знание, которым они владеют, в качестве гипотетического и находящегося под постоянной угрозой опровержения. В действительности одним из важнейших факторов, существенно повлиявшим на впечатляющее интеллектуальное развитие современной науки, была как раз способность ее сторонников забывать об исходных предпосылках и концентрироваться исключительно на использовании этих предпосылок для осуществления детальных эмпирических исследований.

Современные естественные науки пользуются необычной, по сравнению с другими областями интеллектуальной деятельности, свободой от споров относительно своих оснований. Большинство научных исследований осуществляется в условиях столь сильной защищенности всех цепочек исходных положений, что пересмотр их или опровержение становятся практически невозможными.

Глава 4

НОРМЫ И ИДЕАЛЫ НАУКИ

1. Различные норм и идеалов науки

Научное познание мира является разновидностью человеческой деятельности. Как всякая деятельность, оно руководствуется и направляется системой определенных *ценностей*. Обычно они подразделяются на *нормы науки и научные идеалы*. Их задача — направлять усилия ученого, являться высшим или даже конечным устремлением научного исследования.

Принято, например, считать, что ученый призван стремиться к объективному знанию, что это знание должно представлять собой не совокупность разрозненных заметок об изучаемых объектах, а научную теорию, что такая теория обязана быть логически последовательной и т. д.

Между нормами науки и ее идеалами трудно провести четкую границу. Можно сказать, что идеалы располагаются в будущем, они притягивают к себе, но не всегда оказываются достижимыми. Нормы располагаются в прошлом, они не влекут к себе из будущего, а толкают в него из прошлого. Если идеалы остаются нереализованными, об этом можно сожалеть. Нормы же всегда предполагают угрозу наказания, в силу чего они непременно должны быть выполнены. И наконец, идеалы, как правило, более расплывчаты, чем нормы. Идеалы — по преимуществу пожелания, в то время как нормы являются директивными распоряжениями.

Норма является императивным, повелевающим представлением, *идеал* — это прежде всего ценностное представление, так как им утверждается определенное, положительное содержание научной деятельности.

Нет оснований сводить ценности науки к какой-то одной или немногим из ценностей. Нельзя, в частности, редуцировать все научные ценности к критичности научного сообщества, как это делает К. Поппер, полагающий, что критерием научного статуса теории является единственно ее эмпирическая опровержимость, или фальсифицируемость.

2. Реализм и эмпиризм

Среди норм, направляющих научную деятельность, первостепенную роль играет *реализм* — требование реального (чаще всего материального) существования исследуемых объектов, независимости их от ученого. Эти объекты не могут быть его конструкцией, иллюзией, фантазией и т. п., в силу чего они должны оставаться одинаковыми для всех исследователей.

Иногда вместо термина «реализм» используется термин «объективность»: «Краеугольным камнем научного метода является постулат о том, что природа объективна» (Ж. Моно). Однако, как отмечает К. Ло-

ренц, в «постулате объективности» содержатся на самом деле два разных постулата, один из которых относится к объекту научного поиска, а другой имеет в виду самого ученого. Прежде всего, очевидно, следует допустить материальное существование самого объекта исследования, если исследование рассчитывает иметь какой-нибудь смысл. В то же время объективность предполагает определенные, лежащие на ученом обязанности, требующие непредвзятого анализа исследуемого объекта. Эти обязанности нелегко поддаются явному определению.

Другой основополагающей научной нормой является *эмпиризм* — требование, чтобы только наблюдения и эксперименты играли решающую роль в признании или отбрасывании научных положений, включая законы и теории. В соответствии с требованием эмпиризма аргументация, не являющаяся эмпирической, может иметь только вспомогательное значение и никогда не способна поставить точку в споре о судьбе конкретного научного утверждения или теории.

В методологическом плане эмпиризм гласит, что различные правила научного метода не могут допускать «диктаторской стратегии»: они должны исключать возможность того, что мы всегда будем выигрывать игру, разыгрываемую в соответствии с этими правилами; природа должна быть способна хотя бы иногда наносить нам поражения.

3. Обоснованность научного знания

В самом общем смысле *обосновать* некоторое положение — значит привести те убедительные или достаточные основания, в силу которых оно представляется убедительным и должно быть принято.

Требование *обоснованности* научного знания представляется одним из наиболее важных требований к результатам научной исследовательской деятельности.

Требование обоснованности знания одно время было принято называть «принципом (законом) достаточного основания» и относить к «основным законам логики». Разумеется, требование обосновывать выдвигаемые положения не является законом логики. К последней оно имеет такое же отношение, как и к психологии, физике, космологии, истории и т. д. Во всякой области научного знания выдвигаемые положения должны опираться на известные основания. Но об этом говорит вовсе не логика, а философия науки. К тому же, как показала современная логика, деление логических законов на основные и неосновные («второстепенные») лишено каких-либо ясных оснований.

Иногда утверждается, что требование обоснованности знания впервые сформулировал в XVII в. Г. В. Лейбниц. Это неточное утверждение. Требование обоснованности знания в достаточно ясной форме обсуждалось еще Платоном и Аристотелем, хотя и не получило в древности никакого собственного имени.

В каждой конкретной научной дисциплине исторически складывается свой уровень точности и обоснованности. Но к какой бы области знания не относилось то или иное положение — идет ли речь о математике, физике или этике, — всегда предполагается, что имеются достаточные основания, в силу которых данные положения принимаются или считаются истинными.

Обоснование теоретических положений является, как правило, сложным процессом, не сводимым к построению отдельного умозаключения или проведению однократной эмпирической, опытной проверки. Обоснование обычно включает целую серию процедур, касающихся не только самого рассматриваемого положения, но и той системы утверждений, той теории, составным элементом которой оно является. Существенную роль в механизме обоснования играют логические (дедуктивные) умозаключения, хотя лишь в редких случаях процесс обоснования удается свести к умозаключению или цепочке умозаключений.

Особенности научного обоснования

Оставляя в стороне так называемые «формальные науки» (логику и математику), процедуры обоснования в которых весьма своеобразны, основные особенности научного обоснования можно свести вкратце к следующему:

- обоснование научных положений протекает в рамках научного сообщества, или коллектива исследователей, занимающихся конкретной областью знания;

- ни одно положение и ни одна теория не принимаются в науке без обоснования;

- обоснование всегда направлено не только на подтверждение нового положения или теории, но и на его опровержение;

- процесс обоснования представляет собой преимущественно критику выдвинутого положения, поиск уязвимых его мест;

- только положения или теории, выдержавшие всесторонний критический натиск, имеют право быть принятыми в качестве научных;

- сколь бы очевидным не представлялось то или иное научное положение или теория, открытая или неявная критика никогда не прекращается;

- научное знание всегда остается по своей природе предположительным, гипотетичным, независимо от того, насколько надежными кажутся в конкретный момент времени те основания, на которые оно опирается;

- процесс обоснования научных положений является, в сущности, бесконечным;

- вместе с тем научное обоснование повышает вероятность обосновываемого положения и приближает его к истине настолько, насколько

это вообще возможно в данный период времени и на конкретном этапе исследования определенного круга явлений;

— рано или поздно любое научное утверждение или система таких утверждений подвергается пересмотру, уточнению, ограничению сферы своего действия или даже замене другим, представляющимся более адекватным утверждением или теорией;

— ключевую роль в научном обосновании играет опыт, или эмпирическое обоснование;

— не только теоретическое знание по своей природе гипотетично и никогда не станет абсолютно надежным, но и те эмпирические данные, что лежат в его основании, так же гипотетичны и периодически требуют пересмотра и нового подтверждения;

— сам по себе опыт, взятый вне контекста теоретического обоснования и независимо от тех традиций, авторитетов, верований, вкусов и т. п., которые разделяет научное сообщество, не способен обеспечить твердого основания для принятия даже тех утверждений, которые, как представляется, непосредственно опираются на эмпирические данные;

— не только теоретическое знание по своей природе гипотетично и никогда не станет абсолютно надежным, но и те эмпирические данные, что лежат в его основании, так же гипотетичны и периодически требуют пересмотра и нового подтверждения;

— хотя конечной целью научной теории является соответствие предлагаемого ею описания реальности, результатом обоснования является не истина, а убеждение в приемлемости обосновываемого положения;

— научная истина только постепенно вырастает из научного убеждения и всегда сохраняет в себе элемент гипотетичности, предположительности;

— не существует никаких особых, характерных только для науки способов обоснования;

— в научном обосновании используются все те стандартные приемы обоснования, которые применяются в других областях;

— вместе с тем научный метод предполагает определенную систему способов обоснования: эмпирическое обоснование предпочтительнее обоснования путем ссылки на другие, уже принятые положения;

— теоретическое обоснование выдвигаемого положения предпочтительнее обоснования этого положения путем ссылки на сложившиеся традиции, принятые авторитеты, интуицию, здравый смысл, вкус, моду и т. п.;

— обоснование в естественных науках (науках о природе) существенным образом отличается от обоснования в социальных и гуманитарных науках (науках о культуре), хотя и в естественных, и в социальных и гуманитарных науках применяются все стандартные способы обоснования, начиная со ссылки на опыт и на иные, уже обоснованные положения и заканчивая аргументами к классике, интуиции и т. п.

Иерархия способов обоснования научного знания

Допускаемые научным методом способы обоснования образуют определенную *иерархию*. Вершиной ее является *эмпирическая аргументация* (прямое и косвенное подтверждение в опыте и др.). Далее следует *теоретическая аргументация* (дедуктивная и системная аргументация, методологическая аргументация и др.). *Контекстуальная аргументация* (ссылки на традицию, авторитеты, веру, здравый смысл, вкус и т. п.) считается менее убедительной. Однако контекстуальная аргументация применяется даже в естественных науках, что нетрудно обнаружить, если рассматривать эти науки не в статике (как они излагаются в учебниках), а в процессе их развития. Аргументы к научной традиции, к классике, к интуиции, к здравому смыслу и т. п. вполне приемлемы на начальных этапах развития естественно-научных теорий.

В науке фактически используются любые приемы аргументации, не исключая даже некорректных приемов. Ученый начинает, однако, со стандартных приемов корректной научной аргументации и старается не отступать от них до тех пор, пока к этому его не вынудят обстоятельства, в частности аудитория. При этом эмпирические аргументы оцениваются выше теоретических, а теоретические — выше контекстуальных. Обращение же к таким приемам, как, скажем, пропаганда или угроза принуждением, хотя они также могут иногда применяться в науке, более поздними исследователями не оценивается как использование подлинно научных аргументов.

Не все реально используемые в науке методы исследования и приемы аргументации равноценны и безразлично, в какой последовательности они используются.

Абсолютное и сравнительное обоснование

Все многообразные способы обоснования, обеспечивающие в конечном счете достаточные основания для принятия утверждения, делятся на *абсолютные и сравнительные*.

Абсолютное обоснование — это приведение убедительных, или достаточных, оснований, в силу которых должно быть принято обосновываемое положение.

Сравнительное обоснование — система убедительных доводов в поддержку того, что лучше принять обосновываемое положение, чем иное, противопоставляемое ему положение.

Абсолютное обоснование относится к отдельному утверждению и представляет собой совокупность доводов в его поддержку. Сравнительное обоснование касается пары связанных между собою утверждений и является системой доводов в поддержку того, что должно быть принято (лучше принять) одно из этих утверждений, а не другое.

Совокупность доводов, приводимых в поддержку обосновываемого положения, называется *основанием обоснования*.

Например, выражение «Следует принять, что небо в обычных условиях голубое, поскольку в пользу этого говорит непосредственное наблюдение» — абсолютное обоснование, точнее, его результирующая часть. Выражение же «Лучше принять, что небо синее, чем принять, что оно красное, основываясь на положениях физики атмосферы», — это результирующая стадия сравнительного обоснования утверждения «Небо синее, а не красное».

Различие между абсолютным и сравнительным обоснованиями является принципиальным. В случае первого обоснованность приписывается отдельному утверждению и выступает как его свойство: «Обосновано положение А» или «Положение А является обоснованным». При сравнительном обосновании обоснованность оказывается уже отношением между утверждениями: «Положение А более обоснованно, чем положение В». Иными словами, абсолютное обоснование является абсолютной оценкой какого-то утверждения, взятого само по себе; сравнительное обоснование — это сравнительная оценка, связывающая между собой два утверждения.

Если мы говорим, к примеру, что розы — хорошие цветы, мы однозначно приписываем розам позитивную ценность. Но если утверждается, что розы лучше гладиолусов, это не означает, что розы считаются хорошими: и розы, и гладиолусы могут оцениваться нами негативно, и вместе с тем мы отдаем предпочтение розам. И ложь, и воровство являются предосудительными, негативно ценными. Но можно сказать, что лгать все-таки лучше, чем воровать, хотя и то, и другое плохо.

Если какое-то описательное утверждение оценивается как обоснованное, есть основания принять его в качестве истинного. Если же говорится, что одно описательное утверждение более обосновано, чем другое, и что лучше — в силу приведенных оснований — принять первое, а не второе, это не означает, что первое утверждение истинно, а второе ложно. Оба они могут быть маловероятными, но одно из них при этом может являться более правдоподобным, чем другое.

К примеру, если кто-то полагает, что лучше принять, что небо синее, чем принять, что оно зеленое, из этого не следует, что небо в самом деле синее, а не голубое.

В условиях, когда абсолютное обоснование недостижимо, сравнительное обоснование представляет собой существенный шаг вперед в совершенствовании знания, в приближении его к стандартам научной рациональности.

Известно, что сравнительные оценки не сводимы к абсолютным, и наоборот. «Лучше» не определимо через «хорошо»: лучше одна другой могут быть и две хорошие, и две плохие вещи. «Хорошо» не определимо в общем случае через «лучше». Установление абсолютной ценности какого-то предмета и установление его сравнительной ценности — это два разных, взаимодополняющих видения одиого и того же объекта, не редуцируемых друг к другу.

Вопрос о соотношении абсолютного и сравнительного обоснования остается пока почти неисследованным. Однако очевидно, что сравнительное обоснование не сводимо к абсолютному. Если удалось показать, что одно утверждение более правдоподобно, чем другое, этот результат невозможно выразить в терминах изолированной обоснованности одного или обоих утверждений.

Менее ясен ответ на вопрос: можно ли абсолютное обоснование свести к сравнительному? Иногда «хорошо» так определяется через «лучше»: нечто является хорошим, когда его наличие лучше, чем его отсутствие. Например: «Хорошо иметь синий цвет, если и только если быть синим лучше, чем не быть синим». Однако это и подобные ему определения носят только частичный характер и не позволяют получить «логику добра» в качестве следствия логики предпочтений («логики лучше»).

Исходя из общих соображений, касающихся определенности абсолютных оценок через сравнительные, можно сказать, что рассматриваемое определение абсолютного обоснования через сравнительное если и применимо, то очень редко. В самом деле, из того, что в настоящее время более обосновано наличие нефти на Луне, чем отсутствие, вряд ли вытекает, что обосновано, будто оно так определению есть. Из того, что лучше принять, что Роберт Пири был первым на Северном полюсе, чем принять, что он не был там первым, вряд ли с необходимостью следует, что нужно без всяких колебаний и возражений принять, что именно Пири был первым на Северном полюсе.

Естественно допустить, таким образом, что абсолютное и сравнительное обоснование в общем случае не являются сводимыми друг к другу. Они представляют собой два разных, в широких пределах независимых друг от друга способа утверждения и упрочения знания, нередко дополняющих друг друга.

4. Логическая последовательность

Всякое научное рассуждение должно быть *логически последовательным*, т. е. соблюдать законы и правила логики.

Хотя это требование представляется само собою разумеющимся, оно нередко нарушается, особенно в социальных науках. Именно это обстоятельство заставляет упомянуть очевидное, казалось бы, условие логической последовательности в числе требований к научным утверждениям и теориям.

Самым общим образом *логику* можно определить как науку о законах и операциях правильного мышления. Сфера конкретных интересов логики существенно менялась на протяжении ее истории, но основная цель всегда оставалась неизменной: исследование того, как из одних утверждений можно выводить другие. Логика занимается также многими иными вопросами: операциями определения

и деления (классификации), проблемами значения выражений языка, операциями доказательства и опровержения, правдоподобными рассуждениями, дающими из истинных посылок только вероятное заключение, и др. Но основная задача логики — определить, «что из чего следует». При этом предполагается, что логическая правильность рассуждения зависит только от способа связи входящих в него утверждений и их строения, а не от их конкретного содержания. Изучая логическое следование одних утверждений из других, логика выявляет наиболее общие, или, как говорят, формальные, условия правильного мышления.

Вот несколько простых примеров логических, или формальных, требований к мышлению: независимо от того, о чем идет речь, нельзя что-либо одновременно и утверждать, и отрицать; нельзя принимать некоторые утверждения, не принимая вместе с тем все то, что вытекает из них; невозможное не является возможным, доказанное — сомнительным, обязательное — запрещенным и т. п.

Эти и подобные им требования не зависят, конечно, от конкретного содержания наших мыслей, от того, что именно утверждается или отрицается, что считается возможным, а что — невозможным.

Задача логического исследования — обнаружение и систематизация определенных схем правильного рассуждения. Эти схемы представляют собой *логические законы*, лежащие в основе логически правильного мышления. Рассуждать логично — значит рассуждать в соответствии с законами логики.

Отсюда понятна важность данных законов. Об их природе, источнике их обязательности высказывались разные точки зрения. Ясно, что логические законы не зависят от воли и сознания человека. Их принудительная сила для человеческого мышления объясняется тем, что они являются в конечном счете отображением в голове человека наиболее общих отношений самого реального мира, практики его познания и преобразования человеком. Именно поэтому законы логики кажутся самоочевидными и как бы изначально присутствующими человеческой способности рассуждать.

Рассуждение — это всегда принуждение. Размышляя, мы постоянно ощущаем давление и несвободу. От нашей воли зависит, на чем остановить свою мысль. В любое время мы можем прервать начатое размышление и перейти к другой теме.

Но если мы решили провести его до конца, то мы сразу же попадем в сети необходимости, стоящей выше нашей воли и наших желаний. Согласившись с одними утверждениями, мы вынуждены принять и те, что из них вытекают, независимо от того, нравятся они нам или нет, способствуют нашим целям или, напротив, препятствуют им. Допустив одно, мы автоматически лишаем себя возможности утверждать другое, несовместимое с уже допущенным.

Если мы убеждены, к примеру, что все металлы проводят электрический ток, мы должны признать также, что вещества, не проводящие тока, не от-

носятся к металлам. Уверив себя, что каждая птица летает, мы вынуждены не считать птицами курицу и страуса. Из того, что все люди смертны и Сократ является человеком, мы обязаны заключить, что он смертен.

Из истории логики

Первый развернутый и обоснованный ответ на вопрос о природе и принципах человеческого мышления дал Аристотель. «Принудительную силу человеческих речей» он объяснил существованием особых законов — логических законов мышления. Именно они заставляют принимать одни утверждения вслед за другими и отбрасывать несовместимое с принятым. К числу необходимого, писал Аристотель, принадлежит доказательство, так как если что-то безусловно доказано, то иначе уже не может быть; и причина этому — исходные посылки. Подчеркивая безоговорочность логических законов и необходимость всегда следовать им, он замечал: «Мышление — это страдание», ибо «коль вещь необходима, в тягость она нам». Сейчас мы думаем, конечно, совершенно иначе: чем больше регулярностей, или законов природы и общества, нам известно, тем шире наша свобода.

История логики насчитывает около двух с половиной тысяч лет. Раньше логики возникли, пожалуй, только математика, философия и теория аргументации, называвшаяся в древности «риторикой».

Историю логики можно разделить на два основных этапа. Первый продолжался более двух тысяч лет, в течение которых логика развивалась очень медленно. Это дало повод И. Канту заявить, что логика, подобно геометрии, не имеет собственной истории и со времен Аристотеля не продвинулась ни на один шаг. Второй этап начался в XIX в., когда в логике произошла научная революция, в корне изменившая ее лицо. Это было обусловлено прежде всего проникновением в нее математических методов. На смену старой логике, обычно называемой *традиционной*, пришла *современная логика*, именуемая также *математической*, или *символической*. Эта новая логика не является, конечно, логическим исследованием исключительно математических доказательств. Она представляет собой современную теорию всякого правильного рассуждения, независимо от того, о каких объектах мы рассуждаем.

Логика отталкивается от реального мышления, но она дает абстрактную его модель. С другой стороны, прибегая к абстракциям высокого уровня, логика не должна вместе с тем отрывать от конкретных, данных в опыте процессов рассуждения.

Закон противоречия

Один из наиболее известных законов логики — *закон противоречия*. Его сформулировал еще Аристотель, назвав «самым достоверным из всех начал, свободным от всякой предположительности». Закон говорит о высказываниях, одно из которых отрицает другое, а вместе они со-

ставляют логическое противоречие. Например: «Пять — нечетное число» и «Неверно, что пять — нечетное число», «Земля — планета» и «Земля не является планетой» и т. п.

Идея, выражаемая законом противоречия, проста: высказывание и его отрицание не могут быть одновременно истинными. Тем не менее закон противоречия не раз становился предметом ожесточенных споров. Попытки опровергнуть его чаще всего были связаны с неправильным пониманием логического противоречия. Составляющие его утверждения должны говорить об одном и том же предмете, который рассматривается в одиом и том же отношении. Если этого нет, нет и противоречия. Те примеры, которые обычно противопоставляют закону противоречия, не являются подлинными противоречиями и не имеют к нему никакого отношения.

Противоречие недопустимо в строгом, в частности в научном, рассуждении, когда оно смешивает истину с ложью. Но очевидно, что в обычной речи у противоречия много разных задач. Оно может выступать в качестве основы сюжета какого-либо рассказа, быть средством достижения особой художественной выразительности и т. д. Реальное мышление — и тем более художественное — не сводится к одной логичности. В нем важно все: и ясность, и неясность; и доказательность, и зыбкость; и точное определение, и чувственный образ. В нем может оказаться нужным и противоречие, если оно к месту.

Настаивая на исключении логических противоречий, не следует, однако, всякий раз «поверять алгеброй гармонию» и пытаться втиснуть все многообразие противоречий в прокрустово ложе логики.

Логические противоречия недопустимы в науке, но установить, что конкретная теория не содержит их, непросто. То, что в процессе развития и развертывания теории не встречено никаких противоречий, еще не означает, что их в самом деле нет. Научная теория — очень сложная система утверждений. Не всегда противоречие удастся обнаружить относительно быстро путем последовательного выведения следствий из ее положений.

Вопрос о непротиворечивости становится яснее, когда теория допускает аксиоматическую формулировку, подобно геометрии Евклида или механике Ньютона. Для большинства аксиоматизированных теорий непротиворечивость доказывается без особого труда. Есть, однако, теория, в случае которой десятилетия упорнейших усилий не дали ответа на вопрос, является она непротиворечивой или нет. Это математическая теория множеств, лежащая в основе всей математики.

Доказательство

Невозможно переоценить значение доказательств в науке. И тем не менее доказательства встречаются не так часто, как хотелось бы. Иногда за доказательство выдается то, что им вовсе не является. К доказательствам прибегают часто, но редко кто задумывается над тем, что

означает «доказать», почему доказательство «доказывает», всякое ли утверждение можно доказать или опровергнуть, все ли нужно доказывать и т. п.

Наше представление о доказательстве как особой интеллектуальной операции формируется в процессе проведения конкретных доказательств. Изучая разные области знания, мы усваиваем и относящиеся к ним доказательства. На этой основе мы постепенно составляем — чаще всего незаметно для себя — общее интуитивное представление о доказательстве как таковом, его общей структуре, не зависящей от конкретного материала, о целях и смысле доказательства и т. д.

Особую роль при этом играет изучение математики. С незапамятных времен математические рассуждения считаются общепризнанным эталоном доказательности. Желая похвалить чью-либо аргументацию, мы называем ее математически строгой и безупречной.

Изучение доказательства на конкретных его образцах и интересно, и полезно. Но также необходимо знакомство с основами логической теории доказательства, которая говорит о доказательствах безотносительно к области их применения. Практические навыки доказательства и интуитивное представление о нем достаточны для многих целей, но далеко не для всех. Практика и здесь, как обычно, нуждается в теории.

Доказательство — это процедура установления обоснованности некоторого утверждения путем логического вывода его из других обоснованных (принятых) утверждений.

В доказательстве различают *тезис* — утверждение, которое надо доказать, и основание, или аргументы, — те утверждения, с помощью которых обосновывается тезис. Понятие доказательства всегда предполагает указание посылок, на которые опирается тезис, и тех *логических правил*, по которым осуществляются преобразования утверждений в ходе доказательства. В обычной практике мы редко формулируем все используемые посылки и, в сущности, никогда не обращаем внимания на применяемые нами правила логики.

Одна из основных задач логики состоит в придании точного значения понятию доказательства. Но хотя это понятие является едва ли не главным в логике, оно не имеет точного, строго универсального определения, применимого во всех случаях и в любых научных теориях.

Доказательство — один из многих способов убеждения. В науке это один из основных таких способов, и можно сказать, что научный метод убеждения является прежде всего методом строгих и точных доказательств. Требование доказательности научного рассуждения определяет то «общее освещение», которое модифицирует попавшие в сферу его действия цвета. Этим «общим освещением» пронизываются все другие требования к научной аргументации. Без него она неизбежно вырождается в бездоказательный набор общих деклараций и поучений, в апелляцию к вере и эмоциям.

Раз в доказательстве речь идет о полном подтверждении, связь между аргументами и тезисом должна носить логически необходимый характер. По своей форме доказательство — это умозаключение или цепочка умозаключений, ведущих от обоснованных посылок к доказываемому положению.

Широкое понимание доказательства

Нередко в понятие доказательства вкладывается более широкий смысл. При этом под доказательством понимается любая процедура обоснования истинности тезиса, включающая правдоподобные рассуждения, ссылки на связь доказываемого положения с фактами, наблюдениями и т. д. Расширительное истолкование доказательства является обычным в гуманитарных науках. Оно встречается и в экспериментальных, опирающихся на наблюдения рассуждениях.

Как правило, широко понимается доказательство и в науке. Для подтверждения выдвинутой идеи активно привлекаются факты, типичные в определенном отношении явления и т. п.

Широкое употребление понятия доказательства само по себе не ведет к недоразумениям. Но только при одном условии. Нужно постоянно иметь в виду, что обобщение, переход от частных фактов к общим заключениям, дает не достоверное, а лишь вероятное знание.

Современная логика

Революция в логике в конце XIX — начале XX в. привела к возникновению на стыке таких двух разных наук, как философия и математика, *современной, или математической, логики*.

Как и математика, логика не является эмпирической, опытной наукой. Но стимулы к развитию она черпает из практики реального мышления. Изменение последней так или иначе ведет к изменению самой логики. Развитие логики всегда было связано с теоретическим мышлением своего времени, и прежде всего с развитием науки. Конкретные рассуждения дают логике материал, из которого она извлекает то, что именуется логическим законом, формой мысли и т. д. Теории логической правильности оказываются в итоге очищением, систематизацией и обобщением практики мышления.

Современная логика с особой наглядностью подтверждает это. Она активно реагирует на изменения в стиле и способе научного мышления, на осмысление его особенностей в теории науки. Сейчас логическое исследование научного знания активно ведется в целом ряде как давно освоенных, так и новых областей. Можно выделить четыре основных направления этого исследования: анализ логического и математического знания; применение логических идей и аппарата к опытному знанию; применение логического анализа к оценочно-нормативному знанию; применение логического анализа в исследовании приемов и операций,

постоянно используемых во всех сферах научной деятельности (доказательство, определение, классификация и т. п.).

Логика не только используется в исследовании научного познания, но и сама получает мощные импульсы для развития в результате воздействия своих научных приложений. Имеет место именно взаимодействие логики и науки, а не простое применение готового аппарата логики к некоторому внешнему для него материалу.

Без логического закона нельзя понять, что такое логическое следствие, а тем самым — и что такое доказательство. Законы логики составляют тот невидимый железный каркас, на котором держится последовательное рассуждение и без которого оно превращается в хаотическую, бессвязную речь.

Для целей логики, для формулировки ее законов необходим искусственный язык, построенный по строгим правилам. Этот язык служит только одной задаче — выявлению логических связей наших мыслей. Но она должна решаться эффективно.

Язык, специально созданный современной логикой для своих задач, получил название *формализованного*. Слова обычного языка заменяются в нем отдельными буквами и разными специальными символами. Формализованный язык — это «насквозь символический язык». В нем исчезают неясность и двусмысленность, всегда присутствующие при обращении с такой трудно уловимой вещью, как «смысл выражения».

Использование формализованного языка для описания способов правильного рассуждения невозможно переоценить. Без него нет, в сущности, современной логики.

На первых порах новая логика ориентировалась почти всецело на математическое рассуждение. Эта связь с математикой была настолько тесной, что до сих пор в названии «математическая логика» прилагательное «математическая» иногда истолковывается как указывающее не только на своеобразие методов новой логики, но и на сам ее предмет. В сложившихся первых классических разделах математической логики многое было отражением определенного своеобразия математического рассуждения. Кроме того, связь по преимуществу с одной наукой, математикой, поддерживала иллюзию, будто логика движется только в силу внутренних импульсов и ее развитие совершенно не зависит от эволюции теоретического мышления и не является в каком-либо смысле отображением последней.

В 20-е гг. прошлого века предмет логических исследований существенно расширился. Начали складываться многозначная логика (предполагающая, что наши утверждения являются не только истинными или ложными, но могут иметь и другие истинностные значения), модальная логика (рассматривающая понятия необходимости, возможности, случайности и т. п.), теория логического следования, логика нормативного рассуждения и др. Все эти новые разделы не были непосредственно

связаны с математикой. В сферу логического исследования вовлекались уже естественные и гуманитарные науки. Постепенно начала формироваться широкая концепция логики научного познания, занимающейся применением идей, методов и аппарата современной логики к анализу как математического, так и всякого иного знания.

И сейчас логика продолжает энергично расти вширь, на старом дереве появляются все новые и новые ветви. Сложились и нашли интересные приложения логика времени, описывающая логические связи утверждений о прошлом и будущем, так называемая паранепротиворечивая логика, не позволяющая выводить из противоречия все, что угодно, логика знания и убеждений, изучающая понятия «доказуемо», «опровержимо», «неразрешимо», «убежден», «сомневается» и т. п., логика добра, имеющая дело с понятиями «хорошо», «плохо» и «безразлично», логика предпочтений, исследующая понятия «лучше», «хуже» и «равноценно», логика изменения, говорящая об изменении и становлении нового, логика причинности, изучающая утверждения о детерминизме и причинности, и др.

Экстенсивный рост логики, судя по всему, завершится нескоро.

Современная логика растет не только вширь, но и вглубь. Все прочнее утверждаются ее основы, совершенствуются методы, упрочиваются принципы. Большой резонанс вызвало, в частности, доказательство ряда «ограничительных теорем», устанавливающих пределы эффективного применения разрабатываемых логикой методов. По-новому представляются теперь взаимные отношения математики и логики. Один из авторов сведения первой из этих наук ко второй — Б. Рассел — писал, что логика стала более математической, математика — более логической; в действительности они составляют одно целое. Однако замысел вывести всю математику из чистой логики без принятия дополнительных основных понятий и дополнительных допущений оказался утопичным. Особенно чувствительный удар нанес по нему К. Гёдель, показавший, что все системы формализованной, логически совершенной арифметики существенно неполны: их средствами нельзя доказать некоторые содержательно истинные арифметические утверждения.

Прояснение и углубление оснований логики сопровождалось пересмотром и уточнением центральных ее понятий. По-новому теперь истолковываются закон логики, доказательство, логическое следствие и др.

Законы логики когда-то представлялись абсолютными истинами, никак не связанными с нашим опытом. Уверенность в их непогрешимости подкреплялась длительным и, как казалось, безотказным их исполнением.

Однако возникновение конкурирующих систем логики, отстаивающих разные множества законов, показало, что логика складывается в практике мышления и что она меняется с изменением этой практики.

Логические законы — такие же продукты человеческого опыта, как и аксиомы евклидовой геометрии.

Эти законы не являются непогрешимыми и зависят от области, к которой они прилагаются. К примеру, при рассуждении о бесконечных совокупностях объектов не всегда применимы закон исключенного третьего, принципы косвенного доказательства и др.; рассуждение о недостаточно определенных или изменяющихся со временем предметах требует особой логики и т. д. Более того, на разных этапах развития научной теории находят применение разные множества логических законов. Так, в условиях формирующейся теории ограничена применимость законов, позволяющих выводить любые следствия из противоречий и отвергать положения, хотя бы одно следствие которых оказалось ложным. Обнаружилась, таким образом, «двойная гибкость» человеческой логики: она может изменяться не только в зависимости от области обсуждаемых объектов, но и в зависимости от уровня теоретического осмысления этой области.

Доказательство, и в особенности математическое, всегда было принято считать императивным и универсальным указанием, обязательным для любого непредубежденного ума. Прогресс логики показал, однако, что доказательства вовсе не обладают абсолютной, не зависящей от времени строгостью и являются только культурно опосредствованными средствами убеждения. Даже способы математической аргументации на деле историчны и социально обусловлены. В разных логических системах доказательствами считаются разные последовательности утверждений, и ни одно доказательство не является окончательным.

Существенно изменились и представления об отношении логики к человеческому мышлению и обычному языку. Согласно господствовавшей одно время точке зрения, правила логики представляют собой продукт произвольной конвенции, выбор их, подобно выбору правил игры, ничем не ограничен. В силу этого все искусственные языки, имеющие ясную логическую структуру, равноправны, и ни один из них не лучше и не хуже другого. Это — так называемый «принцип терпимости», отрывающий логику от обычного мышления и обычного языка. Разумеется, ни мышление, ни язык не копируют окружающий мир своей внутренней структурой. Но это не означает, что они никак с ним не связаны и что логика — только своеобразная интеллектуальная игра, правила которой произвольны. Правила игры определяют способы обращения с вещами, правила логики — с символами. Искусственные языки логики имеют предметное, семантическое измерение, которого лишены игры. Нарушающий правила игры вступает в конфликт с соглашениями, нарушающий же правила логики находится в конфликте с истиной, стандарты которой не принимаются по соглашению.

Логика как инструмент познания связана в конечном счете с действительностью и своеобразно отражает ее. Это проявляется в обу-

словленности развития логики развитием человеческого познания, в историческом изменении логических форм, в успешности практики, опирающейся на логическое мышление.

Перемены, происшедшие в логике, низвели ее с заоблачных высот непогрешимой абстракции. Они приблизили логику к реальному мышлению и тем самым к человеческой деятельности, одной из разновидностей которой оно является. Это, несомненно, заметно усложнило современную логику, лишило ее прежней твердости и категоричности. Но этот же процесс насыщения реальным содержанием придал ей новый динамизм и открыл перед ней новые перспективы.

О так называемой «диалектике»

Существуют такие общества (обычно они именуются «закрытыми», или «коллективистическими»), в которых требование логической последовательности не считается обязательным даже для научных рассуждений. Взамен этого требования выдвигается положение о всеобщей противоречивости существующего, которая должна найти свое отражение и в научном исследовании.

Таким являлось, в частности, социалистическое (коммунистическое) общество. Его идеологи объявляли обычную, или формальную, логику приемлемой только для кухонного обихода; в теоретических же областях предлагалось рассуждать в соответствии с принципами диалектики и являющейся ее преломлением в мышлении человека диалектической **ЛОГИКИ**.

Диалектика — философская теория, настаивающая на внутренней противоречивости всего существующего и мыслимого и считающая эту противоречивость основным или даже единственным источником всякого движения и развития.

Элементы диалектики имеются во всякой философии, отстаивающей идеалы закрытого (коллективистического) общества. Такие элементы были, в частности, еще в философии Гераклита, прозванного за неясность («диалектичность») изложения своих идей «Темным». Позднее диалектика как учение о противоречии возродилась в средневековой философии, прежде всего в христианской концепции бога, человека и человеческой истории. Как связанная и универсальная теория диалектика впервые была построена только в XIX в. предшественником марксизма Гегелем. Она была активно подхвачена марксизмом, которому не удалось, однако, ни углубить, ни прояснить основные идеи Гегеля. В XX в. диалектику пытались разработать марксизм-ленинизм и неомарксизм, однако без особого успеха. В частности, в неомарксизме диалектика свелась к идее универсального развития, радикально отрицающего свои предшествующие ступени («негативная диалектика»).

Коллективистическое общество (средневековое феодальное общество, тоталитарные коммунистическое и национал-социалистическое

общества и др.) всегда ставит перед собой глобальную цель — достижение «рая на небесах» или «рая на земле». Переход от несовершенного существующего мира к совершенному будущему миру составляет основную проблему коллективистического мышления — так называемую «проблему триединства». Диалектика является необходимой предпосылкой решения данной проблемы. Если такой переход не является предметом чистой, или «слепой», веры, он может обосновываться только диалектически.

Уже в умеренном средневековом коллективизме проблема будущего осмысливалась во многом на основе диалектики. Несовершенный «земной мир», являющийся миром Бога-сына, связывался с совершенным «небесным миром» Бога-отца не только с помощью мистического Бога-духа, но и посредством диалектических ходов мысли. В средневековой философии имелись все те ключевые элементы диалектики, включая так называемый закон отрицания отрицания, которые позднее Гегель и коммунистическая философия включили в свою «диалектику природы, общества и мышления».

Цель средневековой диалектики — попытаться схватить мир сразу в обеих его ипостасях, сакральной и мирской, сублимированной и низменной. Средневековая культура сочетает в единство полярные противоположности: небесное и земное, спиритуальное и грубо телесное, жизнь и смерть. Утверждается богоустановленная иерархия людей — для того чтобы тут же обречь на вечную гибель стоящих у ее вершины и возвысить подпирающих ее основание. Прославляют ученых и в то же время самым верным путем, ведущим к спасению души, считают неразумие, нищету духа, а то и вовсе безумие. Суду над умершими предстоит состояться «в конце времен», и вместе с тем он вершится над душой каждого в момент его кончины и т. д.

В средневековой философии достаточно распространенным было убеждение, что познание бога требует соединения вместе несовместимого, т. е. диалектики. «В первопричине бытия, — говорил средневековый философ Псевдо-дионисий (Ареопагит), — нужно утверждать все, что где-либо утверждается в сущем и ему приписывается как качество; и опять-таки все это надо отрицать в ней в собственном смысле, потому что она возвышается над всем этим; и не надо думать, что здесь отрицания противоречат утверждениям, ибо первопричина, возвышаясь над всякими ограничениями, превосходит и все утверждения и отрицания»¹.

Познание небесного мира и его связей с земным миром стоит, таким образом, выше логического требования непротиворечивости. Борьба средневековой философии против формально-логического закона

противоречия была не менее ожесточенной, чем борьба с ним гегелевской, а затем и марксистско-ленинской философии, и продолжалась столетия. Инерция диалектического мышления была столь велика, что даже в период раннего Возрождения Николай Кузанский заявлял: «Великое дело — быть в состоянии твердо укрепиться в единении противоположностей».

В систематизации диалектики, являвшейся общепринятой в диалектическом материализме в 60–80-х гг. прошлого века, некоторые из ведущих идей диалектики именовались «принципами», другие — «законами». Эта систематизация включала следующие положения:

- принцип всеобщей взаимосвязи, утверждающий, что всё связано со всем и только ограниченность человеческого знания не позволяет видеть все существующие связи;

- принцип развития, провозглашающий необратимое, направленное, закономерное изменение материальных и идеальных объектов в качестве универсального их свойства;

- закон единства и борьбы противоположностей, касающийся перехода вещей в процессе своего развития в свою противоположность (определения понятия противоположности, или диалектического противоречия, так и не было дано);

- закон перехода количества в качество, говорящий о накоплении развивающимися объектами постепенных количественных изменений и последующем переходе последних в скачкообразные качественные изменения;

- закон отрицания, говорящий о «судьбах» или «целях», определяющих развитие объектов, например о «целях» пшеничного зерна, которому сначала предстоит стать колосом, а затем опять зерном и тем самым вернуться, но на более высоком уровне, к началу.

Принцип «всё связано со всем» высказывался ещё в античности. В средневековой философии универсальная взаимосвязь выводилась из сотворенности мира Богом и носила преимущественно характер связи символа и символизируемой им вещи. Начиная с Нового времени данный принцип утратил сколько-нибудь ясный смысл.

Принцип развития также известен с античности, хотя ещё во времена И. Канта он казался «рискованным приключением разума». Идея направленного развития, восходящего от низших ступеней к высшим, очевидным образом неприложима к природе, а для тех, кто не разделяет идею неуклонного социального прогресса, — и к обществу. Принцип «Все изменяется» не является универсальным. Как уже говорилось, мир представляет собой единство становления и бытия. Изменяется только то, что находится в процессе становления. Объекты бытия остаются неизменными. Свет всегда имеет корпускулярно-волновую природу, атом железа остается одним и тем же, независимо от того, в каком бы уголке Вселенной он не оказался обнаруженным.

Вода закипает, а медь плавится при определенной, остающейся неизменной температуре.

Закон борьбы противоположностей, названный «ядром диалектики», явно неприменим к природе. Приводившиеся примеры такой борьбы (борьба плюса с минусом, определяющая развитие математики; борьба северного полюса магнита с его южным полюсом, раскрывающая суть магнетизма, и т. п.) несерьезны.

Закон перехода количественных изменений в качественные не является универсальным: в одних случаях развитие носит скачкообразный характер, в других оно протекает без каких-либо ясно выраженных скачков.

Закон отрицания отрицания предполагает идею «цели» или «судьбы», заданной извне. Без этой идеи распространение данного закона на природу, не имеющую ни в научном, ни в марксистско-ленинском (но не в гегелевском) понимании «цели» и не подвластную судьбе, кажется грубым насилием над самой диалектикой.

Указанная систематизация диалектики представляет собой, таким образом, причудливое сочетание положений, одни из которых неясны, другие не универсальны, третьи не совместимы с рациональным мышлением.

Логически противоречивое мышление иррационально, оно представляет собой в конечном счете сумбур и хаос. Пытаясь снять это возражение против диалектики, русский философ прошлого века С. Л. Франк вводил, наряду с понятиями «рациональное мышление» и «иррациональное мышление», новое понятие — «трансрациональное мышление». Однако суть проблемы от этого не меняется: философия, опирающаяся на понятия «знающего незнания» (Николай Кузанский), «монодуализма», «ведающего неведения», «двоицы, которая есть вместе с тем одно» (Франк) и т. п., выходит за границы рациональной философии.

К. Манхейм видит основную функцию диалектики в рациональном объяснении исторически разнородной и неповторимой личности, теряемой при постулировании исторических законов и обобщений. Неприменимость диалектики к исследованию природы связана в первую очередь с тем, что диалектика плохо согласуется с принципом причинности, утверждающим, что все происходящее в мире имеет причину, и требующим объяснять мир от прошлого к будущему. Диалектика настаивает на целевом (телеологическом) обосновании от будущего к прошлому. Она неразрывно связана с понятием цели и, значит, с понятием ценности. Не случайно основное понятие диалектики — понятие развития — определяется не просто как движение или изменение, а как направленное восходящее изменение, т. е. изменение, идущее в направлении определенной цели. Направленность всякого развития прямо утверждает диалектический закон отрицания отрицания.

Диалектическая рациональность представляет собой особый тип рациональности, несовместимый, в частности, с рациональностью естественно-научного мышления и ведущий к неразрешимым парадоксам.

Коммунистическое общество ставило цель радикально преобразовать существующий социальный мир в соответствии с утопическим, не допускающим реализации образом. Диалектика, служившая средством обоснования возможности — и даже необходимости — такого невозможного преобразования, являлась одним из непеременимых условий крепости идеологии данного общества. Именно поэтому она настойчиво, а зачастую и насильственно, внедрялась в мышление его индивидов и достаточно естественно принималась ими.

Национал-социалистическая идеология, являющаяся идеологией другой формы коллективистического тоталитарного общества, также обнаруживала явственную тенденцию к диалектике. Хотя эта идеология просуществовала недолго и не была столь теоретически развита, как средневековое мировоззрение и марксизм-ленинизм, она тяготела к утверждению всеобщей зависимости вещей и универсального скачкообразного развития на основе борьбы противоположностей, развития, ведущего в конечном счете к нацистской версии «рая на земле» («тысячелетний рейх»). «Человек возвысился, — утверждал А. Гитлер, — благодаря борьбе... Чего бы он достиг человек, он добился этого благодаря оригинальности, усиленной brutality... Жизнь можно уложить в три тезиса: борьба — всему голова, добродетель — голос крови, а главное и решающее — это вождь». Идея Гитлера, что вечная борьба является законом жизни, явно перекликается с идеей Ленина, что закон единства и борьбы противоположностей представляет собой «ядро диалектики». Идея, что добродетель есть голос крови, аналогична ленинскому утверждению, что добром является только то, что отвечает интересам пролетариата и цели построения будущего коммунистического общества. И наконец, положение о решающей роли вождя — аналог ленинской идеи о руководящей роли коммунистической партии в борьбе за построение совершенного общества. Вопрос об элементах диалектики в национал-социалистическом мышлении нуждается, однако, в специальном исследовании.

Нужно отметить, что в античности слово «диалектика» употреблялось в другом смысле, чем тот, который придал этому слову Гегель. Оно обозначало особый метод аргументации, суть которого — в выдвижении наряду с тезисом также антитезиса и выведении из них следствий до тех пор, пока не станет ясным, какое из данных двух утверждений истинно. Термин «диалектический» впервые был использован Платоном. Его учитель Сократ, вероятно, был первым, кто удачно совместил два главных положения диалектики как теории аргументации: мысль о ценности мнений, в особенности противоположных мнений, и логический закон противоречия.

Таким образом, в закрытом обществе диалектика сосредоточивает свои усилия на борьбе с формально-логической последовательностью мышления, и прежде всего мышления о социальных проблемах; в открытом обществе диалектика означает один из возможных способов аргументации¹.

5. Общее понятие рациональности

Рациональность, или разумность, является характеристикой знания с точки зрения его соответствия наиболее общим принципам мышления, разума.

Поскольку совокупность таких принципов не является вполне ясной и не имеет отчетливой границы, понятию рациональности свойственны и неясность, и неточность.

Наука, как принято считать, является образцом рациональности для всех других областей применения человеческого разума. Вместе с тем требование рациональности, предъявляемое к результатам научного исследования, не является самоочевидным и нуждается в комментарии.

Эпистемология Нового времени уделяла внимание только проблеме абсолютного обоснования. Конкретные формы этой проблемы менялись, но в «классическом» мышлении того времени они всегда были связаны с характерным для него представлением о существовании абсолютных, непоколебимых и не пересматриваемых оснований всякого подлинного знания, с идеей постепенного и последовательного накопления «чистого» знания, с противопоставлением истины, допускающей обоснование, и субъективных, меняющихся от человека к человеку ценностей, с дихотомией эмпирического и теоретического знания и другими «классическими предрассудками». Речь шла о способе или процедуре, которая способна была бы обеспечить безусловно твердые, неоспоримые основания для знания.

С разложением «классического» мышления смысл проблемы обоснования существенно изменился. Стали очевидными три момента: никаких абсолютно надежных и не пересматриваемых со временем оснований теоретического знания не существует: можно говорить только об относительной их надежности; в процессе обоснования используются многочисленные и разнородные приемы, удельный вес которых меняется от случая к случаю и которые не сводимы к какому-то ограниченному,

¹ Более подробно о диалектике см. *Ивин А. А. Что такое диалектика. Очерки философской полемики* М., 2015; *Ивин А. А. Диалектика: зарождение, триумф и крах* М., 2015. В последней работе обосновывается идея, что так называемая диалектическая логика является разделом современной формальной логики и может быть отождествлена с активно развивающейся в последние десятилетия коннексивной логикой. Особенность этой логики в том, что в ней логическое противоречие выражается не в форме «А и не-А», а в форме «Если А, то не-А».

каноническому их набору; само обоснование имеет ограниченную применимость; оно является прежде всего процедурой науки и связанной с ней техники; автоматическое перенесение образцов обоснования, сложившихся в одних областях (и прежде всего в науке), на любые другие области недопустимо.

В современной философии науки «классическая» проблема обоснования трансформировалась в задачу исследования лишнего четких границ многообразия способов обоснования знания, с помощью которого достигается приемлемый в данной области — но никогда не абсолютный — уровень обоснованности. Поиски «твердых оснований» отдельных научных дисциплин перестали быть самостоятельной задачей, обособившейся от решения конкретных проблем, встающих в ходе развития этих дисциплин.

«Обоснование физики», «обоснование математики», «обоснование социологии» и т. п. — все это отголоски «классического» мышления, отрывавшего процесс обоснования конкретных научных дисциплин от их непрерывного и бесконечного, по своей сути, развития, в ходе которого решаются не только частные вопросы, но и достигается обоснование дисциплины в целом.

Оценка с точки зрения (абсолютной) обоснованности относится прежде всего к знанию, взятому в динамике, еще не сложившемуся и ищущему сколько-нибудь надежных оснований. Оценка с точки зрения рациональности (сравнительной обоснованности) — это по преимуществу оценка знания, рассматриваемого в статике, как нечто уже сформировавшееся и в известном смысле устоявшееся и завершённое.

Первая оценка идет в русле аристотелевской традиции видеть мир, в том числе и реконструированный в рамках какой-то теории или концепции, как становление. Вторая оценка — продолжение платоновской традиции рассматривать мир как бытие, как нечто, уже ставшее. Полная оценка знания должна, очевидно, складываться из этих двух исключаящих друг друга оценок.

Универсальная и локальная рациональность

Мышление человека является разным не только в разные исторические эпохи, но и в разных областях его приложения.

Существенным является поэтому различие между двумя уровнями рациональности: *универсальной рациональностью*, охватывающей целую эпоху или культуру, и *локальной рациональностью*, характеризующей особенности мышления в отдельных областях теоретизирования конкретной эпохи или культуры.

Универсальная рациональность предполагает, в частности, соответствие требованиям логики и требованиям господствующего в конкретную эпоху стиля мышления.

Предписания логики составляют ядро рациональности любой эпохи, и вместе с тем они не являются однозначными. Прежде всего не существует единой логики, законы которой не вызывали бы разногласий и споров. Логика складывается из необозримого множества частных систем. «Логик», претендующих на определение понятия закона логики, а значит, и понятия логического следования, в принципе, бесконечно много. Известны классическое определение логического закона и логического следования, нитуиционистское их определение, определение в паранепротиворечивой, в релевантной логике и т. д. Ни одно из этих определений не свободно от критики и от того, что можно назвать «парадоксами логического следования».

Особенно сложно обстоит дело с требованием рассуждать непротиворечиво, фиксируемым законом противоречия. Аристотель называл данный закон наиболее важным принципом не только мышления, но и самого бытия. И вместе с тем в истории логики не было периода, когда этот закон не оспаривался бы и дискуссии вокруг него совершенно затихали.

Относительно мягкая критика требования (логической) непротиворечивости предполагает, что если перед теоретиком встала дилемма: заниматься устранением противоречий из теории или работать над ее дальнейшим развитием, обогащением и проверкой на практике, — он может выбрать второе, оставив устранение противоречий на будущее. Жесткая критика требования непротиворечивости отрицает универсальность этого требования, приложимость его в некоторых, а ниюгда и во всех областях рассуждений.

Рациональность не оставалась неизменной на протяжении человеческой истории: в античности требования разума представлялись совершенно иначе, чем в Средние века; рациональность современного мышления радикально отличается от рациональности мышления Нового времени. Рациональность, подобно искусству, аргументации и т. д., развивается волнами, или стилями: каждой эпохе присущ свой собственный стиль рациональности, и смена эпох является, в частности, сменой характерных для них стилей рациональности¹.

Глубокие различия между рациональностью разных исторических эпох далее будут проиллюстрированы на примере сопоставления рациональности Нового времени и современной рациональности. Но уже сейчас можно отметить, что мышление Нового времени подчеркнуто антиавторитарно, для него характерны уверенность в том, что всякое («подлинное») знание может и должно найти со временем абсолютно твердые и неизменные основания (фундаментализм), кумлятивизм, аналитичность, бесконечные поиски определений, сведение обоснованности к истинности, редукцию всех употреблений языка к описанию,

¹ См. в этой связи: Гайденко П. П., Давыдов Ю. Н. История и рациональность. М., 1991 (раздел 3)

отказ от сравнительной аргументации, стремление ко всеобщей математизации и т. д. Современное мышление не противопоставляет авторитеты («классику») разуму и считает аргумент к авторитету допустимым во всех областях, включая науку, не ищет окончательных, абсолютно надежных оснований знания, не истолковывает новое знание как простую надстройку над всегда остающимся неизменным старым фундаментом, противопоставляет дробности восприятия мира системный подход к нему, не переоценивает роли определений в структуре знания, не редуцирует обоснованность (и в частности, обоснованность оценок и норм) к истинности, не считает описание единственной или ведущей функцией языка, использует, наряду с абсолютной, сравнительную аргументацию, не предполагает, что во всяком знании столько научности, сколько в нем математики, и т. д. Многие из того, что представлялось мышлению Нового времени естественными, не вызывающими сомнений предпосылками правильного теоретизирования, современному мышлению кажется уже предрассудком.

Универсальная рациональность вырастает из глубин культуры своей исторической эпохи и меняется вместе с изменением культуры. Два трудных вопроса, связанных с такой рациональностью, пока остаются открытыми. Если теоретический горизонт каждой эпохи ограничен свойственным ей стилем рациональности, то может ли одна культура осмыслить и понять другую культуру? Существует ли прогресс в сфере рациональности и может ли рациональность одной эпохи быть лучше, чем рациональность другой эпохи?

О. Шпенглер, М. Хайдеггер и др. полагали, что предшествующие культуры непроницаемы и принципиально необъяснимы для всех последующих. Сложная проблема соизмеримости стилей рациональности разных эпох, относительной «прозрачности» предшествующих стилей для последующих близка проблеме соизмеримости научных теорий.

Можно предположить, что историческая объективность в рассмотрении рациональности мышления возможна лишь при условии признания преемственности в развитии мышления. Отопедший в прошлое способ теоретизирования и стиль рациональности может быть понят, только если он рассматривается с позиции более позднего и более высокого стиля рациональности. Последний должен содержать в себе, выражаясь гегелевским языком, «в свернутом виде» рациональность предшествующих эпох, представлять собой, так сказать, аккумулярованную историю человеческого мышления. Прогресс в сфере рациональности не может означать, что, например, в Средние века более эффективной была бы не средневековая рациональность, а, допустим, рациональность Нового времени и тем более современная рациональность.

Если рациональность является порождением культуры своей эпохи, каждая историческая эпоха имеет единственно возможную рациональность, которой не может быть альтернативы. Ситуация здесь аналогична

истории искусства: современное искусство не лучше древнегреческого искусства или искусства Нового времени.

Вместе с тем прогрессу рациональности можно придать другой смысл: рациональность последующих эпох выше рациональности предшествующих эпох, поскольку первая содержит в себе все то позитивное, что имелось в рациональности вторых. Прогресс рациональности, если он и существует, не является законом истории, точно так же, как и неуклонный прогресс в развитии науки.

Рациональность как традиция

Разум не представляет собой некоего изначального фактора, призванного играть роль беспристрастного и безошибочного судьи. Он складывается исторически, и рациональность может рассматриваться как одна из традиций.

«Рациональные стандарты и обосновывающие их аргументы, — пишет П. Фейерабенд, — представляют собой видимые элементы конкретных традиций, которые включают в себя четкие и явно выраженные принципы и незаметную и в значительной части неизвестную, но абсолютно необходимую основу predispositions к действиям и оценкам. Когда эти стандарты приняты участниками такой традиции, они становятся «объективной» мерой превосходства. В этом случае мы получаем «объективные» рациональные стандарты и аргументы, обосновывающие их значимость»¹. Вместе с тем разум — особая традиция, отличная от всех иных. Он старше других традиций и пропускает через себя любую из них; он универсален и охватывает всех людей; он гибок и критичен, поскольку имеет дело в конечном счете с истиной.

Из того, что разум — одна из традиций, Фейерабенд делает два необоснованных вывода: во-первых, рациональность как традиция ни хороша, ни плоха — она просто есть; во-вторых, рациональность кажется объективной лишь до тех пор, пока она не сопоставляется с другими традициями.

Позиция Фейерабенда представляет собой, в сущности, воспроизведение старой, отстаивавшейся еще романтизмом XIX в. трактовки традиции как исторической данности, не подлежащей критике и совершенствованию. Традиции проходят, однако, через разум и могут оцениваться им. Эта оценка является исторически ограниченной, поскольку разум принадлежит определенной эпохе и разделяет все ее «предвззудки». Тем не менее оценка, с точки зрения рациональности, может быть более широкой и глубокой, чем оценка одной традиции с точки зрения какой-то иной традиции, не универсальной и некритической. Разные традиции не просто существуют наряду друг с другом. Они образуют определенную иерархию, в которой разум занимает особое, привилегированное место.

¹ См. в этой связи: Гайденок П. П., Давыдов Ю. Н. История и рациональность. М., 1991 (раздел 3) С. 490—491

Слово «рациональность» многозначно. Помимо рациональности как соответствия правилам и стандартам разума, рациональность может означать соответствие средств избранной цели (целесообразность, или целерациональность, по М. Веберу), способность всегда выбирать лучшую из имеющихся альтернатив (действие рационально, если оно имеет максимально ожидаемую полезность), сравнительную оценку знания, противопоставляемую его абсолютной оценке, и т. д.

Упорядочение утверждений научных теорий

В середине прошлого века в науке сложилась так называемая «иерархическая модель обоснования» научных теорий. Ее основным назначением было объяснение процесса выработки *согласия* научного сообщества по важным вопросам и снятия периодически возникающих в сообществе *разногласий*.

Иерархическая модель, сторонниками которой были К. Поппер, К. Гемпель, Г. Рейхенбах и др., исходила из того, что в развитых науках имеется высокая степень консенсуса относительно базисных теоретических принципов и методов. Выделялись три уровня научного знания: *фактуальный (нижний) уровень, теоретический (средний) уровень и методологический (высший) уровень*. В последний включались правила и принципы, регулирующие отношение теории и фактов. Предполагалось, что диссенсус научного сообщества относительно фактов устраняется благодаря консенсусу в теории, а диссенсус в теории снимается консенсусом в методологии.

Иерархическая модель хорошо соответствует интуитивным представлениям ученых о развитии науки. Обычно ученому кажется, что если в научном сообществе возникли разногласия по поводу фактов, нужно обратиться к теоретическим представлениям об исследуемой области явлений, и это позволит в процессе дискуссии прийти к согласию относительно истолкования фактов. Если не удастся достигнуть консенсуса относительно теоретических положений, остается обратиться к правилам и принципам методологии и таким способом устранить диссенсус.

Несмотря на всю привлекательность иерархической модели, в последние десятилетия она стала подвергаться все более настойчивой критике. Прежде всего обнаружилось, что между фактическим и теоретическим знаниями нет ясной границы. Факты теоретически нагружены, каждая теория является одновременно и объяснением фактов, и их истолкованием, т. е. приданием им определенного смысла. Далее, постепенно было выявлено, что методологические нормы и правила не являются чем-то константным — они исторически изменчивы.

Эти два обстоятельства заставили отказаться от иерархической модели. Снова оказался открытым вопрос о том, благодаря чему во многих научных дисциплинах длительные периоды царит консенсус, а если диссенсус все же возникает, он довольно быстро устраняется.

Были предложены новые, более тонкие истолкования иерархизации положений научных теорий. В частности, Л. Лаудан модифицировал иерархическую модель, объединив в один уровень эмпирическое и теоретическое знания. В фактуальное входят «не только утверждения о непосредственно наблюдаемых событиях, но и утверждения о том, что происходит в мире, в том числе и утверждения о теоретических и ненаблюдаемых сущностях»¹. Консенсус научного сообщества реализуется на трех уровнях: фактуальном, методологическом и аксиологическом. Дискуссии относительно эмпирических данных и фактов, а также теорий, принимаемых научным сообществом, являются, таким образом, «фактуальными разногласиями» и «фактуальным консенсусом». К методологическому уровню относятся регулятивные правила и предписания, определяющие стратегию и тактику принятия научным сообществом фактов и теорий. Эти правила и предписания исторически изменчивы, в силу чего возможны споры об их эффективности. Аксиологический уровень определяет фундаментальные цели и ценности научного познания. Предполагается, что фактуальные разногласия устраняются на методологическом уровне, а методологические разногласия — на аксиологическом уровне.

Однако эта модификация иерархической модели не принимает во внимание того, что споры возможны не только относительно фактов и теорий, но и по поводу понимания целей и ценностей науки. Кроме того, предполагается, что нельзя решить разногласия на более низком уровне, не имея консенсуса на более высоком уровне.

Учитывая это, Лаудан отверг и модифицированную иерархическую модель, а вместо нее предложил «сетчатую модель» научной рациональности. «Сетчатая модель», — пишет он, — очень отличается от иерархической модели, так как показывает, что сложный процесс обоснования пронизывает все три уровня научных состояний. Обоснование течет как вверх, так и вниз по иерархии, связывая целн, методы и фактуальные утверждения. Не имеет смысла далее трактовать какой-либо из этих уровней как более привилегированный или более фундаментальный, чем другие. Аксиология, методология и фактуальные утверждения неизбежно переплетаются в отношениях взаимной зависимости»².

Имеются и другие концепции упорядочения утверждений научных теорий. Эти концепции конкурируют между собою, и ни о каком более или менее единодушном принятии какой-то из них, напоминающем признание иерархической модели, не может быть и речи. Проблема иерархизации научных утверждений и связанный с нею вопрос о путях достижения консенсуса в науке остаются, таким образом, открытыми.

¹ Лаудан Л. Наука и ценности (главы из книги *Laudan L. Science and Values*. Berkeley; Los-Angeles; London, 1984) // Современная философия науки. Хрестоматия. М., 1994. С. 207

² Там же. С. 226.

Глава 5

ОПЕРАЦИИ ОБЪЯСНЕНИЯ И ПОНИМАНИЯ

1. Объяснение

Рационализирование окружающего мира путем набрасывания на него тех теоретических схем, которые вырабатываются наукой, находит свое выражение в двух дополняющих друг друга операциях — в *объяснении* и *понимании*. Рационализировать какой-то фрагмент реальности — значит сделать этот фрагмент объяснимым и понятным.

Изучаемые явления объясняются, исходя из системы теоретических представлений о них. Эти явления понимаются на основе тех оценок, которые явлено или неявно постулируются теорией. Операция предсказания является частным случаем операции объяснения.

Структура объяснения

Объяснение и понимание — универсальные операции мышления, взаимно дополняющие друг друга. Долгое время они противопоставлялись одна другой. Так, неопозитивизм считал объяснение если не единственной, то главной функцией науки, а философская герменевтика ограничивала сферу объяснения естественными науками и выдвигала понимание в качестве основной задачи гуманитарных наук. Сейчас становится все более ясным, что операции объяснения и понимания имеют место в любых научных дисциплинах — и естественных, и гуманитарных — и входят в ядро используемых ими способов обоснования и систематизации знания.

Логическая структура операций объяснения и понимания не особенно ясна. Прежде всего это касается понимания, относительно которого даже предполагается, что оно вообще лишено отчетливой, допускающей расчленение структуры и не способно быть объектом логического анализа.

Далее развивается идея, согласно которой (рациональное) понимание и объяснение имеют сходную формальную структуру.

Объяснение — рассуждение, посыпки которого являются описательными утверждениями и содержат информацию, достаточную для выведения из нее описания объясняемого явления.

Объяснение представляет собой ответ на вопрос «Почему данное явление происходит?». Почему тело за первую секунду своего падения проходит путь длиной 4,9 метра? Чтобы объяснить это, мы ссылаемся на закон Галилея, который в общей форме описывает поведение разнообразных тел под действием силы тяжести. Если требуется объяснить сам этот закон, мы обращаемся к общей теории гравитации И. Ньютона. Получив из нее закон Галилея в качестве логического следствия, мы тем самым объясняем его.

Объяснение через научный закон

Объяснение через закон науки, или *номологическое объяснение*, принято также называть *объяснением посредством охватывающего закона*. Идея объяснения как подведения объясняемого явления под научный закон начала складываться еще в XIX в. Она встречается в работах Дж. С. Милля, А. Пуанкаре, Д. Дьюэма и др. Четкую формулировку номологической модели научного объяснения в современной методологии науки обычно связывают с именами К. Поппера и К. Гемпеля.

В основе этой модели лежит следующая схема рассуждения:

«Для всякого объекта верно, что если он имеет свойство *S*, то он имеет свойство *P*. Данный объект *A* имеет свойство *S*. Следовательно, *A* имеет свойство *P*».

Например, нить, к которой подвешен груз в 2 кг, разрывается. Нам известно общее положение, которое можно считать законом: «Для каждой нити верно, что если она нагружена выше предела своей прочности, она разрывается». Нам известно также, что данная конкретная нить нагружена выше предела ее прочности, т. е. истинно единичное утверждение «Данная нить нагружена выше предела ее прочности». Из общего утверждения, говорящего обо всех нитях, и единичного утверждения, описывающего наличную ситуацию, мы делаем вывод: «Данная нить разрывается».

Номологическое объяснение связывает объясняемое событие с другими событиями и указывает на закономерный и необходимый характер этой связи. Если используемые в объяснении законы являются истинными и условия их действия реально существуют, то объясняемое событие *должно иметь место* и является в этом смысле необходимым.

Мнение, что объяснения должны опираться только на законы (природы или общества), выражающие необходимые связи явлений, не кажется обоснованным. В объяснении могут использоваться и случайно истинные обобщения, не являющиеся законами науки. Прежде всего наука в современном смысле этого слова, ориентированная на установление законов, начала складываться всего около трехсот лет тому назад; что касается объяснения, то оно, очевидно, столь же старо, как и само человеческое мышление. Далее, объяснение универсально и применяется во всех сферах мышления, в то время как номологическое объяснение ограничено по преимуществу наукой. Кроме того, между необходимыми и случайными обобщениями (законами науки и общими утверждениями, не являющимися законами) нет четкой границы. Понятие закона природы, не говоря уже о понятии закона общества, вообще не имеет сколько-нибудь ясного определения. Если потребовать, чтобы в объяснении всегда присутствовал закон, то граница между объяснениями и теми дедукциями, в которых используются случайные обобщения, исчезнет. И наконец, общие утверждения не рождаются

сразу законами науки, а постепенно становятся ими. В самом процессе утверждения научного закона существенную роль играет как раз выявление его «объяснительных» возможностей, т. е. использование общего утверждения, претендующего на статус закона, в многообразных объяснениях конкретных явлений. Последовательность «сначала закон, а затем объяснение на основе этого закона» не учитывает динамического характера познания и оставляет в стороне вопрос, откуда берутся сами научные законы.

Общие утверждения не только становятся законами, но иногда и перестают быть ими. Объяснение — фундаментальная операция мышления, и ее судьба не может ставиться в однозначную зависимость от понятия научного закона. Объяснение может быть глубоким и поверхностным. Объяснение на основе закона столь же глубоко, как и та теория, в рамках которой используемое в объяснении общее положение оказывается законом. Объяснение, опирающееся на не относящееся к науке или вообще случайное обобщение, может оказаться поверхностным, как и само это обобщение, но тем не менее оно должно быть признано объяснением. Если общее положение представляет собою закон, объяснение обосновывает необходимость объясняемого явления. Если же используемое в объяснении общее положение оказывается случайным обобщением, то и заключение о наступлении объясняемого явления является случайным утверждением.

Каузальное объяснение

Помимо объяснений через научный закон, в науке используются также объяснения, опирающиеся на причинную связь. Общая схема каузального объяснения:

«А является причиной В. А имеет место. Следовательно, В также имеет место».

Например: «Если поезд ускорит ход, он придет вовремя; поезд ускорил ход; значит, он придет вовремя».

Далеко не все объяснения, которые предлагает наука, являются объяснениями на основе уже известного научного закона. Наука постоянно расширяет область исследуемых объектов и их связей. На первых порах изучения новых объектов речь идет не столько об открытии тех универсальных законов природы или общества, действие которых распространяется на эти объекты, сколько об обнаружении тех причинно-следственных связей, в которых данные объекты находятся с другими объектами. Нет никаких оснований утверждать, что каждая научная дисциплина, независимо от ее своеобразия и уровня развития, дает исключительно объяснения, опирающиеся

на законы

История, лингвистика, психология, политология и т. п. не устанавливают, как можно думать, никаких законов; социология, экономиче-

ская наука и т. п. если и формулируют какие-то обобщения, то явно отличные от естественно-научных законов. Очевидно вместе с тем, что все указанные науки способны давать причинные объяснения исследуемых ими явлений.

2. Предсказание

Предсказание — выводение описания нового явления из установленного общего описательного положения и начальных условий.

Схема предсказания на основе общего описательного утверждения та же, что и схема объяснения: из общего утверждения (желательно закона природы или общества) выводится частное или единичное утверждение о предсказываемом явлении.

Предсказание и объяснение различаются лишь своей временной направленностью: объяснение направлено к прошлому, предсказание — к будущему. При объяснении объясняемое явление уже известно, для него подбирается то общее положение, на которое может опереться объяснение. При предсказании сначала устанавливается общее положение, из него выводится описание предсказываемого явления, и ищется его подтверждение.

Всякое объяснение потенциально представляет собой предсказание (предсказание, направленное в прошлое, или ретросказание), а каждое предсказание дает объяснение предсказанным событиям. Предсказание, в сущности, отличается от объяснения только тем, что речь идет о неизвестном еще факте.

Против «симметрии» объяснения и предсказания выдвигались многие возражения, но ни одно из них нельзя признать убедительным.

Предсказания играют особую роль в подтверждении и укреплении научной теории. Если прогресс науки является непрерывным и ее рациональность не уменьшается, нужны не только успешные опровержения, но также и позитивные успехи. Это означает, что мы должны достаточно часто создавать теории, из которых вытекают новые предсказания, в частности предсказания новых результатов, и новые проверяемые следствия, о которых никогда не думали раньше.

Предсказания, подтверждение которых сыграло особую роль в судьбе предложивших их теорий, — можно упомянуть предсказание общей теории относительности А. Эйнштейна, того, что при определенных условиях движение планет должно отклоняться от законов И. Кеплера, и предсказание, что свет, несмотря на свою нулевую массу, подвержен гравитационному притяжению.

Хорошим примером того, как серия успешных, можно сказать блестящих, предсказаний привела к быстрому утверждению теории, является теория атома Н. Бора (предсказание этой теорией размера атома водорода, величинны константы Ридберга и др.).

3. Понимание

Проблема понимания долгое время рассматривалась в рамках *экзегетики* (от греч. *exegesis* — толкование), занимавшейся толкованием древних, особенно религиозных (библейских), текстов. В XIX в. благодаря усилиям прежде всего В. Шлейермахера и В. Дильтея начала складываться более общая теория истолкования и понимания — *герменевтика* (от греч. *hermeneutike (techne)* — истолковательное (искусство)).

До сих пор распространена точка зрения, согласно которой пониматься может только *текст*, наделенный определенным смыслом: понять означает раскрыть смысл, вложенный в текст его автором. Однако очевидно, что это очень узкий подход. Мы говорим не только о понимании написанного или сказанного, но и о понимании действий человека, его переживаний. Понятными или непонятными, требующими размышления и истолкования могут быть поступки — как наши собственные, так и других людей. Пониматься может и неживая природа: в числе ее явлений всегда есть не совсем понятные для современной науки, а то и просто непонятные для нее. Не случайно физик П. Ланжевэн утверждал, что «понимание ценнее знания», а другой физик — В. Гейзенберг — считал, что А. Эйнштейн не понимал процессов, описываемых квантовой механикой, и так и не сумел их понять¹.

Идея, что пониматься может только текст, будучи приложена к пониманию природы, ведет к неясным рассуждениям о «книге бытия», которая должна «читаться» и «пониматься», подобно другим текстам. Но кто же автор этой книги? Кем вложен в нее скрытый, не сразу улавливаемый смысл, истолковать и понять который призвана естественная наука? Поскольку у «книги природы» нет ни автора, ни зашифрованного им смысла, «понимание» и «толкование» этой книги — только иносказание. А если пониматься может лишь смысл текста, естественно-научное понимание оказывается пониманием в некотором переносном, метафорическом значении.

Понимание — универсальная операция. Как и объяснение, оно присутствует во всех науках — и естественных, и гуманитарных.

Понимание неразрывно связано с *ценностями* и выражающими их *оценками*. Если объяснение — это подведение под истину, то понимание представляет собой подведение под ценность. Объяснение предполагает выведение объясняемого явления из имеющихся общих истин или из истинного каузального утверждения. Понимание означает подведение интересующего нас явления под некоторую оценку. Это означает, что объяснение, как и всякое описание, говорит о том, что *есть*, а понимание, подобно всякой оценке, говорит о том, что *должно быть*.

¹ См. Гейзенберг В. Часть и целое // Проблема объекта в современной науке М., 1980 С. 82

Хотя идея о связи понимания с ценностями имеет довольно долгую историю, детально эта идея была разработана только в последние десятилетия¹.

Нужно отметить, что слово «понимание» многозначно. Под «пониманием» может, в частности, иметься в виду как понятийное, так и интуитивное понимание. Понятийное, или рациональное, понимание представляет собой результат более или менее отчетливого рассуждения и является умозаключением. К интуитивным, или «нерассудочным», формам понимания относятся, в частности, *непосредственное схватывание* некоторого единства и *эмоциональное (чувственное) понимание* с такой его разновидностью, как *эмпатия*. Все формы понимания предполагают ценности, но не всякое понимание является результатом рассуждения. Интуитивное понимание обычно при постановке сложного медицинского диагноза, при принятии решений на поле сражения, в случае переживания чувства симпатии или антипатии в отношении другого человека и т. п. Такое понимание, как и всякое интуитивное озарение, не допускает расчленения на шаги, ведущие к конечному выводу.

Распространенное представление, будто понимание не имеет никакой отчетливой структуры, опирается, можно думать, на неявное убеждение, что всякое понимание — это интуитивное понимание. Дальнейшее изложение покажет, что в подавляющем большинстве случаев понимание представляет собой не непосредственное схватывание, а некоторое рассуждение. В таком рассуждении могут быть выделены посылки и заключение и установлен характер их связи между собой.

Логическая структура понимания

Двум разновидностям объяснения соответствуют два вида понимания: понимание как подведение под *общую оценку* и *целевое понимание*, опирающееся не на общую оценку, а на каузальное утверждение, истолкование как утверждение о некоторой цели и средствах ее достижения.

Простой пример понимания путем подведения под общую оценку: «Трагедия должна вызывать катарсис. Пьеса Шекспира «Гамлет» является трагедией. Следовательно, «Гамлет» должен вызывать катарсис».

Общая форма понимания на основе оценки:

«Всякое *A* должно быть *B*. Всякое *C* есть *A*. Значит, всякое *C* должно быть *B*».

¹ Концепция объяснения как подведения под общую истину и понимания как подведения под общую оценку впервые была изложена в работе: *Iwin A. A. Grundlagentender Logik von Wertungen*. Berlin, 1975. Kapitel 3. О связи объяснения с истиной и понимания с ценностями см.: *Ивин А. А. Основы теории аргументации*. М., 1997; *Ивин А. А. Риторика*. М., 2002; *Ивин А. А. Аксиология*. М., 2004; *Ивин А. А. Современная философия науки*. М., 2005. С. 411–457.

В этом рассуждении одной из посылок является общая оценка, а другой — утверждение о начальных условиях. В заключении общее предписание распространяется на частный случай, и тем самым достигается понимание того, почему конкретный объект должен иметь определенные свойства.

Общая форма целевого понимания, или понимания на основе причинной связи:

«*A* — причина *B*; *B* позитивно ценно. Значит, *A* также является, вероятно, позитивно ценным».

Первая посылка говорит о средстве, необходимом для получения определенного результата. Вторая посылка является оценочным утверждением, представляющим этот результат как цель и превращающим связь причина — следствие в связь цель — средство. В заключении говорится о том действии, которое должно быть осуществлено для достижения поставленной цели. Например: «Если человек не побежит, он не успеет на поезд. Человек хочет успеть на поезд. Значит, он должен, по всей вероятности, бежать».

Таким образом, различие между объяснением и пониманием — не в их строении, а в характере принимаемых посылок. В случае объяснения его посылки это описательные утверждения, являющиеся, подобно всем описаниям, истинными или ложными; одна из посылок должна быть общим утверждением или утверждением о каузальной связи. При понимании, по меньшей мере, одна из посылок является утверждением, говорящим не о том, что *есть*, а о том, что *должно быть*, т. е. представляет собой оценку; заключение акта понимания всегда является высказыванием о том, что должно иметь место.

При понимании заключение не является физически необходимым, но оно *аксиологически необходимо*, поскольку приписывает позитивную ценность действию, о котором говорится в заключении.

Два элементарных примера понимания проясняют структуру понимания на основе оценки: «Всякий ученый должен быть критичным. Галилей — ученый. Значит, Галилей должен быть критичным» и «На стационарной орбите электрон не должен излучать. Электрон атома водорода находится на стационарной орбите. Значит, электрон атома водорода не должен излучать». Первый пример касается поведения ученого, второй — неодушевленного объекта и представляет собой, таким образом, понимание природы.

Коротко говоря, понимание — это оценка на основе некоторого образца, стандарта, нормы, принципа и т. п.

Понимание человеческой деятельности

Имеются три типичные области понимания: понимание действий человека, его поведения и характера; понимание природы; понимание языковых выражений («текста»).

Можно предположить, что именно *понимание человеческой деятельности* является парадигмой, или образцом, понимания вообще, поскольку именно в понимании человеческого поведения ценности, играющие центральную роль во всяком понимании, обнаруживают себя наиболее явно и недвусмысленно.

Рассмотрим более подробно понимание на основе общей оценки, поскольку именно оно является параллелью стандартной модели номологического объяснения.

Такого рода понимание опирается на некоторый общий стандарт и распространяет его на частный или конкретный случай. Хорошие примеры понимания человеческих мыслей и действий дает художественная литература. Эти примеры отчетливо говорят, что понятное в жизни человека — это привычное, соответствующее принятому правилу или традиции.

В романе «Луна и грош» С. Моэм сравнивает две биографии художника, одна из которых написана его сыном-священником, а другая — неким историком. Сын «нарисовал портрет заботливейшего мужа и отца, добродушного малого, трудолюбца и глубоко нравственного человека. Современный служитель церкви достиг изумительной сноровки в науке, называемой, если я не ошибаюсь, экзегезой (толкованием текста), а ловкость, с которой пастор Стриклейд «интерпретировал» все факты из жизни отца, «не устраивающие» почтительного сына, несомненно, сулит ему в будущем высокое положение в церковной иерархии». Историк же, «умевший безошибочно подмечать низкие мотивы внешне благопристойных действий», подошел к той же теме совсем по-другому: «Это было увлекательное занятие: следить, с каким рвением ученый автор выискивал малейшие подробности, могущие опозорить его героя»¹.

Вывод, который следует из приведенного примера: поведение становится понятным, если удастся убедительно подвести его под некоторый общий принцип или образец, т. е. под общую оценку. В одной биографии образцом служит распространенное представление о «заботливом, трудолюбивом, глубоко нравственном человеке», каким якобы должен быть выдающийся художник, в другой — вера, что «человеческая натура насквозь порочна», и это особенно заметно, когда речь идет о неординарном человеке. Оба эти образца, возможно, никуда не годятся. Но если один из них принимается интерпретатором и ему удастся подвести поведение своего героя под избранную общую ценность, оно становится понятным как для интерпретатора, так и для тех, кто соглашается с предложенным образцом.

Целевое понимание поведения предполагает раскрытие связи между мотивами (целями, ценностями), которыми руководствуется человек, и его поступками. В этом смысле понять поведение индивида — значит

¹ Моэм С. Луна и грош. Театр. Рассказы. М., 1983. С. 8–10

указать ту цель, которую он преследовал и надеялся реализовать, совершая конкретный поступок. Например, мы видим бегущего человека и пытаемся понять, почему он бежит. Для этого надо уяснить цель, которую он преследует: он хочет, допустим, успеть на поезд, и поэтому бежит.

Понимание в истории

Наука история является, пожалуй, самым убедительным примером того, что цель науки — не только объяснение изучаемых явлений, но и их понимание. В общем случае можно сказать, что все науки об обществе и человеке являются наглядной иллюстрацией того, что они стремятся не только объяснить какие-то события и процессы, но и понять их. Не случайно среди многообразных направлений современной социологии существует так называемая «понимающая социология»; есть ветвь психологии, именуемая «понимающей психологией», и т. д.

Важность проблемы понимания можно проиллюстрировать на примере социальной философии. Существуют два диаметрально противоположных подхода к изучению общества. При подходе, который можно назвать *внешним*, социальные явления рассматриваются так же, как исследуются звезды, химические вещества и другие объекты естественных наук, говорящих о бытии. Данные явления оказываются при этом *внешними* по отношению к индивидам, *принудительными* и *объективными*. Иной, *внутренний* подход учитывает, что общество складывается из индивидов, обладающих сознанием и действующих на основе имеющихся у них идей. Сознательное действие оказывается изначальным объектом социального исследования, поступки людей — основой понимания генезиса и причин социальных событий.

При внешнем подходе сохраняется надежда на открытие универсальных законов социального изменения, подобных законам ньютоновской физики или дарвиновской биологии. Внутренний подход внушает веру в то, что человек, создавший общество и цивилизацию, в состоянии менять их по собственному усмотрению, чтобы они полнее соответствовали его устремлениям.

И внешний, и внутренний подходы к изучению социальной реальности не учитывают своеобразия человеческой деятельности. Человек, несомненно, отличается от природных объектов тем, что обладает сознанием и планирует свою деятельность. Однако сознательные действия людей обычно приводят к неожиданным, незапланированным последствиям. В частности, такие основополагающие социальные институты, как язык, мораль, деньги, государство, рынок и т. п., возникли ненамеренным образом, помимо человеческих проектов, придуманных и затем воплощенных в жизнь. Реалистическая социальная философия должна, таким образом, избегать крайностей и внешнего, и внутреннего подходов к обществу. Объяснение (в частности, причинное) социальных явлений

на базе общих описаний должно органично сочетаться с пониманием явлений на основе существующих в обществе ценностей.

Объяснение включает описательные посылки, и его заключение является описанием. Посылки операции понимания всегда включают, по меньшей мере, одну оценку, и ее заключение представляет собой оценку. В обычном языке граница между описательными и оценочными утверждениями не является четкой. Нередки случаи, когда одно и то же предложение способно в одних ситуациях выражать описание, а в других — оценку. Поэтому неудивительно, что разграничение объяснения и понимания не всегда является простым делом.

Понимание природы

Если в гуманитарном знании процедуры истолкования и понимания обычны, то в естественных науках они кажутся, по меньшей мере, редкими. По поводу идеи «истолкования природы», ставшей популярной благодаря Ф. Бэкону, В. Дильтей ясно и недвусмысленно сказал: «Понимание природы — *interpretationaturae* — это образное выражение»¹. Иного мнения о понимании природы придерживаются ученые, изучающие ее.

В книге В. Гейзенберга «Часть и целое», в главе, симптоматично называющейся «Понятие «понимания» в современной физике (1920–1922)», приводятся следующие два примера понимания природы. Древнегреческий астроном Аристарх уже допускал возможность того, что Солнце находится в центре нашей планетной системы. Однако эта мысль была отвергнута Гиппархом и забыта, так что Птолемей исходил из центрального положения Земли, рассматривая траектории планет в виде нескольких находящихся друг над другом крутов, циклов и эпициклов. При таких представлениях он умел очень точно вычислять заранее солнечное и лунные затмения, поэтому его учение в течение полутора тысяч лет расценивалось как надежная основа астрономии. Но действительно ли Птолемей понимал планетную систему? Разве не Ньютон, знавший закон инерции и применивший концепцию силы как причины изменения скорости движения, впервые действительно объяснил движение планет через тяготение? Разве не он первый понял это движение? Второй пример касается понимания электромагнитных явлений. Когда в конце XVIII в. были полнее изучены электрические явления, осуществлялись весьма точные расчеты электростатических сил между заряженными телами. В качестве носителей этих сил выступали тела, как и в ньютоновской механике. Но лишь после того, как Фарадей видоизменил вопрос и поставил проблему силового поля, т. е. разделения сил в пространстве и времени, он нашел основу для понимания электромагнитных явлений, которые затем Максвелл сформулировал математически.

¹ Diltthey W Gesammlte Schriften. Leipzig, 1924. S. 324.

Понимание природы — это оценка ее явлений с точки зрения того, что *должно* в ней происходить, т. е. с позиции устоявшихся, хорошо обоснованных, опирающихся на прошлый опыт представлений о *нормальном*, или *естественном*, ходе вещей. Понять какое-то природное явление — значит подвести его под стандартное представление о том, что происходит в природе.

Проблема понимания встает в естествознании только в моменты его кризиса, когда разрушаются существующие стандарты оценки изучаемых природных явлений. Допустим, что какая-то область явлений описывается одной, в достаточной мере подтвержденной и хорошо вписывающейся в существующую систему знания теорией; следовательно, данная теория определяет и то, что происходит в рассматриваемой области, и то, что должно в ней происходить в обычных условиях. Теория и описывает, и предписывает естественный ход событий. Описательная и оценочная интерпретации основных положений теории (ее законов) не различаются, объяснение и понимание, опирающиеся на эти законы, совпадают. Как только в рассматриваемой области обнаруживаются аномальные с точки зрения теории явления, даваемые ею объяснения и понимания начинают расходиться. Когда возникает конкурирующая теория, относящаяся к той же области, расхождение объяснения и понимания становится очевидным, поскольку «расщепляется» представление о естественном и, значит, единственном ходе вещей. Возникает возможность объяснения без понимания и понимания без объяснения.

Понятие *естественного хода событий* является ключевым в проблеме понимания природы, и пока оно не является ясным, не может быть ясным и понятие понимания природы. Теория постоянно стремится к тому, чтобы предписываемый ею естественный ход событий совпадал в известных пределах с реальным их ходом, чтобы «должен» не отрывалось от «есть», а понимание, достигаемое на основе законов теории, интерпретированных как требований, соответствовало тем объяснениям, которые строятся на основе этих же законов, истолкованных как описаний. Если намечается существенное расхождение «естественного порядка» и реального хода событий, теория должна быть способна указать те возмущающие причины, которые искажают реальный ход событий, несут ответственность за отклонение его от «естественного порядка».

Например, для механики Аристотеля было естественным, что равномерное движение не может продолжаться бесконечно при отсутствии системы внешних сил. В механике Галилея тело, движущееся равномерно и прямолинейно, сохраняло свою скорость без внешней силы. Сторонники механики Аристотеля требовали, чтобы Галилей указал причину, которая не позволяет телу стремиться к состоянию покоя и обуславливает сохранение скорости в одном и том же направлении. Поведение движущихся тел, как оно представлялось механикой Галилея,

не было естественным с точки зрения механики Аристотеля и не было понятным для ее сторонников.

Чем объясняется впечатление, будто понимание играет весьма ограниченную роль в познании природы или даже, как иногда полагают, вообще не характерно для естествознания?

Во-первых, существует определенная асимметрия между социальными и естественными науками с точки зрения вхождения в них ценностей. Социальные науки достаточно прямо и явно формулируют оценки и нормы разного рода, в то время как в естественные науки ценности входят по преимуществу неявно, чаще всего в составе двойственных, описательно-оценочных утверждений. Это усложняет вопрос о роли понимания в естествознании и одновременно вопрос о роли объяснения в социальном знании.

Во-вторых, иногда слову «понимание» придается смысл неожиданного прозрения, внезапного схватывания и ясного видения какого-то, до тех пор бывшего довольно несвязным и туманным целого. Конечно, такого рода понимание является редкостью не только в естественных, но и в социальных науках. Но сводить к «озарениям», «инсайтам» или «прозрениям» всякое понимание — это все равно, что сводить работу художника над картиной к нескольким завершающим мазкам, придающим ей особое звучание и цельность. Отдельные акты понимания, логически связывая между собой утверждения и упорядочивая их в иерархическую структуру, придают единство и целостность теории или иной сложной системе идей. В этом плане роль понимания аналогична роли объяснения. Итогом многих элементарных пониманий и объяснений является система идей как органическое единство, отдельные элементы которого придают смысл целому, а оно — им. Называя «пониманием» только заключительный этап «схватывания» или «усмотрения» целостности, складывающейся, разумеется, постепенно, нужно помнить, что без предшествующих, более элементарных рассуждений в форме объяснений и пониманий он просто не был бы возможен.

В-третьих, в естественных науках процедура истолкования и понимания маскируется периодами так называемой «нормальной» науки, когда основные ценности теории, входящие в ее парадигму, не подвергаются сомнению и пересмотру. «Нормальная» наука внушает впечатление, что описание обязательно совпадает с оценкой, «имеет место» — с «должно быть», а объяснение есть одновременно и понимание. Однако в период кризиса естественно-научной теории и разрушения ее парадигмы, когда на арену выходят конкурирующие системы ценностей, объяснение и понимание заметно расходятся. В такой ситуации споры о понимании становятся обычным делом. В кризисный период «есть» и «должен», объяснение и понимание перестают совпадать, и становится возможным и явным объяснение (в частности, правильное предсказание) без понимания и понимание без умения объяснить на основе точного закона.

Трактовка понимания в герменевтике

Философская герменевтика, начавшая складываться еще в XIX в., существенно прояснила проблему понимания. Однако проанализировать природу понимания как универсальной формы интеллектуальной деятельности, установить ясную взаимосвязь понимания с объяснением — другой столь же универсальной операцией мышления — герменевтика оказалась не способна. Причина этого — в узком и искаженном горизонте, в рамках которого рассматривается ею понимание, в тех предрассудках, которые лежат в основе ее рассуждений об истине и ценности и соответственно об объяснении и понимании.

Герменевтическая трактовка понимания с самого начала содержала в зародыше принципиально важную для правильного его истолкования мысль, что понимание неразрывно связано с *ценностями* и с *выражающими их оценками*. Однако это ключевое положение никогда не было сформулировано герменевтикой с необходимой общностью и ясностью. Обсуждая понимание, герменевтики говорили о мотивах, целях, установках и иных конкретных формах существования ценностей, но не о ценностях вообще. Сверх того, даже эти частные формы ценностей истолковывались как сугубо индивидуальные и субъективные. Они оказывались не способом соединения человека с миром и другими людьми посредством человеческой деятельности, практики, а средством замыкания индивида в узком мире его собственных мотивов и устремлений.

Соотношение объяснения и понимания является реальной проблемой методологии науки, привлекающей сейчас все большее внимание.

Глава 6

НАУЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

1. Типы научных проблем

Хотя понятие проблемы кажется поначалу очень простым, с ним связаны определенные сложности.

Обычно под научной проблемой понимается явно сформулированный вопрос или комплекс вопросов, возникших в ходе научного познания. Сам процесс познания истолковывается при этом как последовательный переход от ответов на одни вопросы к ответам на другие вопросы, вставшие после решения первых.

Общим стало положение, что всякое научное исследование обязательно начинается с постановки проблемы. Последовательность «проблема → исследование → решение» считается применимой всегда и везде. Ясная и отчетливая формулировка проблемы рассматривается как обязательное условие успеха предпринимаемого исследования.

Все это верно. Но верно применительно не ко всем, а только ко вполне определенным и притом довольно узким классам научных проблем.

Конкретный анализ проблемных ситуаций показывает, что далеко не каждая проблема сразу же приобретает вид явного вопроса. Не всякое исследование начинается с выдвижения проблемы и заканчивается ее решением. Нередко проблема формулируется одновременно с решением, а иногда она осознается только через некоторое время после решения. Зачастую поиск проблемы сам вырастает в отдельную проблему, решение которой требует особого таланта. «Великая проблема, — писал Ф. Ницше, — подобна драгоценному камню: тысячи проходят мимо, пока, наконец, один не поднимет его»¹.

Мир научных проблем сложен и многообразен, как и порождающий проблемы процесс научного познания. Деятельность по обнаружению и раскрытию проблем связана с самой сутью творческого мышления. Представлять эту деятельность как что-то простое, упорядоченное в линию «вопрос → ответ → новый вопрос → новый ответ → ...», — значит обеднять богатую палитру познания как творчества. Научное творчество — это не только постоянный поиск решений проблем, но и поиск самих проблем.

Сложность процесса созревания и раскрытия проблем хорошо чувствуют ученые, постоянно сталкивающиеся в своей деятельности с самыми разнообразными проблемными ситуациями. Например, А. Эйнштейн и Л. Инфельд говорили, что сформулировать проблему часто важнее и труднее, чем решить ее. Иногда высказывается даже утверждение, что, как только проблема уяснена и сформулирована, творческая часть работы исчерпана, а решение поставленной проблемы — чисто

техническая задача, не имеющая подлинно творческого характера. Это, разумеется, преувеличение, хотя бывает и так, что найти проблему действительно не только труднее, но и поучительней, чем ее решить.

В широком смысле *проблемной* является всякая ситуация, практическая или теоретическая, которая не имеет соответствующего обстоятельства решения и поэтому заставляет остановиться и задуматься. В самом общем смысле проблема — это некоторое затруднение, колебание, неопределенность.

Для устранения неопределенности требуются действия, но далеко не всегда ясно, что именно следует предпринять. Само древнегреческое слово, от которого произошло русское «проблема», означало вообще «преграду», «трудность», «задачу», а не просто «вопрос».

Можно отметить два фактора, влияющих на способ постановки научных проблем: во-первых, общий характер мышления той эпохи, в которую формируется и формулируется проблема; во-вторых, имеющийся уровень научного знания о тех объектах, которых касается возникающая проблема.

Каждой исторической эпохе свойственны свои типичные формы проблемных ситуаций. В древности проблемы ставились во многом иначе, чем, скажем, в Средние века или в современном мышлении. В хорошо проверенной и устоявшейся научной теории проблемные ситуации осознаются по-другому, чем в теории, которая только складывается и не имеет еще твердых оснований.

Классификация проблем

Проблемы можно подразделять по разным основаниям, например в зависимости от актуальности, неотложности их разделяют на существующие, возникающие и потенциальные.

Как наиболее экономически эффективно использовать имеющиеся залежи каменного угля — это актуальная, сегодняшняя проблема. Чем можно заменить продукты переработки нефти в двигателях внутреннего сгорания — эта проблема станет острой в ближайшем будущем. Как лучше всего использовать солнечную энергию, передаваемую на землю космическими устройствами, — это потенциальная проблема, относящаяся к отдаленному будущему.

Разные цели требуют разных классификаций проблем. Особый интерес представляет деление проблемных ситуаций по следующим трем основаниям: сформулирована ли проблема с самого начала исследования; имеется ли метод ее решения; насколько отчетливы представления о том, что именно считать решением проблемы.

По этим трем основаниям все проблемные ситуации подразделяются на восемь типов.

Первые четыре типа — это *явные* проблемные ситуации, когда формулировка проблемы задана с самого начала. Различия между ними

сводятся к тому, известно ли, каким методом должна решаться проблема, и определено ли, что следует считать ее решением. Последующие четыре типа — это *неявные* проблемные ситуации, когда проблеме еще предстоит обнаружить и сформулировать.

2. Явные проблемы

Далее рассматриваются четыре типа явных проблем с особым вниманием к так называемым «проблемам-головоломкам», или «риторическим проблемам».

Показательные задачи

Проблемы первого типа — самые банальные явные проблемы. Их можно назвать *показательными задачами*. Они представляют, пожалуй, вырожденный случай проблем. Указан вопрос, ответ на который нужно получить, известен метод решения, и известно, что считать решением, или, как говорят, «ответом».

Такого рода задачи с максимальной информацией по всем трем параметрам и, соответственно, с минимумом неопределенности часто применяются в обучении. Прежде чем перейти к решению задач какого-то нового, не встречавшегося раньше типа, обычно приводят развернутые решения одной-двух характерных задач. Проследив шаг за шагом процедуру их решения, обучающийся вырабатывает определенные навыки в обращении с другими задачами такого рода.

Явные проблемы второго типа более интересны: задан вопрос; ясен метод решения; неизвестен только результат решения. Конечно, это тоже не исследовательские проблемы: слишком многое определено уже с самого начала, и для поиска решения остается довольно ограниченное пространство. Тем не менее подобные задачи, несомненно, полезны: они тренируют ум, вырабатывают сообразительность, умение рассуждать последовательно и ясно и т. д.

Например, о человеке известно, что он живет на шестнадцатом этаже и всегда спускается вниз на лифте; вверх он поднимается только до десятого этажа и дальше идет пешком. Почему он так поступает?

Проблема здесь определена, есть вопрос, и указана информация, необходимая для нахождения ответа. Метод решения также не нуждается в особом уточнении: надо рассмотреть обычные мотивы поведения людей в стандартных ситуациях и попытаться найти какую-то особенность, объясняющую, почему данный человек ведет себя несколько необычно.

Однако имеется известная неопределенность в том, что считать решением данной задачи, ответом на нее. Самым уместным кажется такой ответ: у этого человека небольшой рост, он легко нажимает кнопку первого этажа, но, желая подняться вверх, дотягивается только до кнопки десятого этажа. Допустимо ответить и иначе: ради тренировки этот

человек последние шесть этажей предпочитает подниматься пешком, он вообще предпочел бы не пользоваться лифтом, но это ему уже не по силам. Это решение кажется менее убедительным, но, в общем-то, и оно вполне согласуется с условиями задачи. С ними согласуются и многие другие ответы: человек по пути заходит к своим знакомым, живущим на десятом этаже; он просто чужак, и ему нравится без всяких особых причин поступать именно так, и т. д.

Обычные задачи из учебников относятся чаще всего, пожалуй, ко второму типу. Исходные условия здесь предельно ясны: есть все, что требуется для решения, и нет ничего лишнего, уводящего в сторону. Из теоретического курса известен общий метод решения. Остается только найти само решение. Но иногда эти задачи бывают настолько простыми, что не возникает сомнений относительно их решения. Такие задачи уместно отнести к числу обычных показательных задач.

Риторические проблемы

Явные проблемы третьего и четвертого типов представляют особый интерес. Нередко само слово «проблема» употребляется для обозначения именно этих проблем, а все остальные проблемные ситуации относятся к разного рода затруднениям, не «доросшим» еще до подлинных проблем.

Проблемы третьего типа можно назвать *риторическими*: они подобны риторическим вопросам, ответ на которые сам собою разумеется. Эти проблемы могут быть названы также *проблемами-головоломками*, поскольку у них есть черты, общие со всякого рода головоломками: сформулирован явный вопрос и известно, что будет считаться его приемлемым решением. Все сводится к отысканию метода, с помощью которого из начальных условий может быть получен ответ, уже известный в общих чертах.

Лучшие примеры таких проблем — кроссворды, ребусы, задачи на составление фигур из имеющихся элементов и т. д.

Характерные черты проблем-головоломок очевидны:

- они сформулированы кем-то, а не самим исследователем;
- они являются в принципе разрешимыми;
- круг поиска их решения ограничен;
- основные линии поиска в основе своей ясны еще до начала исследования.

Например, ребенок составляет картинку из пазлов по предлагаемому условиям игры образцу. Он может получить картинку, складывая по своему усмотрению произвольно выбранные пазлы. Эта картинка вполне может оказаться намного интереснее и быть более оригинальной, чем та, которая требуется по условиям. Но это не будет решением. Чтобы получить настоящее решение, нужно использовать все пазлы, созданная фигура должна быть плоской и т. д.

Подобные ограничения накладываются и на приемлемые решения кроссвордов, загадок, шахматных задач и т. д.

Конкретное решение проблем-головоломок, разумеется, неизвестно. Никто не возьмется разгадывать уже разгаданный и исписанный кроссворд и не будет думать над задачей, ответ на которую уже готов. В начале точного ответа на проблему-головоломку нет, но он достаточно жестко предопределен. Скажем, неизвестное слово, которое предстоит вписать в кроссворд, должно иметь определенное значение и согласовываться с другими, уже разгаданными словами.

Чтобы почувствовать силу предопределенности решения проблемы-головоломки, представим, что из двух наборов пазлов мы взяли по какому-то количеству пазлов и пытаемся составить требуемую игрой фигуру. Нет гарантии, что взятых пазлов будет достаточно для составления этой фигуры. А раз не существует гарантированного решения, то нет и самой головоломки.

Несмотря на видимость простоты и даже какой-то незатейливости риторических проблем, они очень широко распространены, а для многих являются даже любимым типом проблем. Уверенность в том, что решенные проблемы несомненно существуют и все зависит только от нашей настойчивости и сообразительности, — хороший стимул для того, чтобы увлечься головоломкой. Важно и то, что решение головоломки — неплохая модель творчества вообще. Человек при этом совершенствует свой ум, готовя его к решению реальных проблем.

Характер головоломок могут иметь не только задачи, предназначенные для забавы или тренировки ума, но и подлинно научные проблемы. В развитии научных теорий бывает период, когда развивающаяся теория уже относительно окрепла и устоялась и основные принципы ее ясны и не подвергаются сомнению. Это период так называемой «нормальной» науки. Как показал Т. Кун, в такого рода научной теории значительная часть решаемых проблем относится к типу проблем-головоломок¹.

Твердая в своем ядре и апробированная во многих деталях теория задает основные положения и образцы анализа изучаемых явлений, определяет главные линии исследования и во многом предопределяет его результат. При этом исходные положения и образцы не подлежат никакому сомнению и никакой модификации, во всяком случае, в своей основе. Естественно, что проблемы, которые ставятся в этих рамках, не столько изобретаются или открываются самим исследователем, сколько навязываются ему сложившейся и ставшей уже довольно жесткой теорией.

Этим они напоминают обычные головоломки, которые придумывает один человек, а решает другой. Но еще более важно то, что все эти про-

¹ См. Кун Т. Структура научных революций М., 1975 (гл. IV «Нормальная наука как решение головоломок»)

блемы являются в принципе разрешимыми, причем круг поиска их решения ограничен, а основные линии поиска ясны еще до исследования. Как и в случае типичных головоломок, все сводится к изобретательности ума и настойчивости, а не к глубине мышления и его оригинальности.

Например, И. Ньютон утверждал в «Оптике», что свет — это поток материальных частиц, неких корпускул. Корпускулярная теория света господствовала в XVIII в. и определяла основные проблемы, связанные со светом. Из этой теории следовало, что существует давление световых частиц, ударяющихся о твердые тела, в принципе, было также ясно, как это давление можно обнаружить. Оставался открытым вопрос о его величине, о том конкретном, очень тонком эксперименте, который позволил бы установить такую ничтожно малую величину. Эксперимент потребовал огромной изобретательности и удался далеко не сразу. Но в целом вопрос, на который он отвечал, имел все типичные свойства риторической проблемы.

Согласно современной физической теории, свет представляет собой поток фотонов, которые обнаруживают двойственную природу: они имеют некоторые свойства волн и в то же время некоторые свойства частиц. Исследование света протекает теперь в соответствии с имеющимся образцом волны-частицы, и проблемы, которые встают при исследовании света, определяются в своей основе данным образом. Это опять-таки риторические проблемы, но продиктованные уже совершенно иным образом — не оптикой Ньютона, а созданной в начале XX в. квантовой механикой.

На вопрос о том, в чем особая притягательность проблем стабилизировавшейся научной теории, хорошо отвечает Кун, предложивший сам термин «проблема-головоломка»:

«Ученого увлекает уверенность в том, что если он будет достаточно изобретателен, то ему удастся решить головоломку, которую до него не решал никто или в решении которой никто не добился убедительного успеха. Многие из величайших умов отдавали все свое внимание заманчивым головоломкам такого рода. В большинстве случаев любая частная область специализации, кроме этих головоломок, не предлагает ничего такого, на чем можно было бы попробовать свои силы, но именно этот факт таит в себе тоже своеобразное искушение»¹.

Возможно, самая удивительная особенность проблем нормальной науки состоит в том, пишет Кун, что они в очень малой степени ориентированы на крупные открытия, будь то открытие новых фактов или создание новой теории². Приняв парадигму [образцовую теорию], говорит Кун, научное сообщество получает критерий для выбора проблем, которые могут считаться, в принцип²⁸

¹ Кун Т. Структура научных революций. М., 1975. С. 60–61

² Там же. С. 57

е, разрешимыми, пока эта парадигма считается не требующей доказательства. В значительной степени это только те проблемы, которые сообщество признает научными или заслуживающими внимания членов данного сообщества. Другие проблемы, включая многие считавшиеся ранее стандартными, отбрасываются как метафизические, как относящиеся к компетенции другой дисциплины, или иногда только потому, что они слишком сомнительны, чтобы тратить на них время. Парадигма может даже изолировать ученых от тех социально важных проблем, которые нельзя свести к типу головоломок, поскольку их нельзя представить в термных концептуального и инструментального аппарата, предполагаемого образцовой теорией. Одна из причин, в силу которых нормальная наука кажется прогрессирующей высокими темпами, заключается в том, что ученые концентрируют внимание на проблемах, решению которых им может помешать только недостаток собственной изобретательности¹.

Периоды, когда в научной теории возникает значительное количество проблем-головоломок, как правило, не особенно продолжительны. Они только на время определяют лицо научной теории. Для нее более характерен постоянный процесс развития и поиска.

Исследование природы и общества — сложный, внутренне противоречивый и динамичный процесс. Каждая теория, стремясь ко все более точному и адекватному описанию изучаемых явлений, постоянно подвергает критическому и конструктивному анализу не только свою периферию, но и свое ядро, свои основополагающие принципы. Поэтому область риторических проблем, решение которых в общих чертах предопределяется ядром теории, не может быть устойчивой в течение долгого времени.

Эта область не остается также неизменной. С прогрессом теории и периодическим уточнением ею своих оснований круг выдвигаемых в ее рамках риторических проблем то расширяется, то сужается. Поэтому роль такого рода проблем в процессе познания мира не должна преувеличиваться. И в науке, и в других сферах человеческой деятельности всегда присутствуют проблемы всех возможных типов.

В истории теоретического мышления была целая эпоха, когда значение риторических проблем явно переоценивалось. Эта эпоха — Средние века. Безраздельное господство религии в этот период привело к тому, что вера ставилась выше знания, религиозные догматы — выше того, что мог открыть человеческий ум. Предполагалось, что все истины о мире содержатся в Библии, а человеку остается только расшифровать их и правильно истолковать. Проблемы, навязывавшиеся философии и науке религией, были крайне искусственными, далекими от реальной жизни. Они вытекали непосредственно из основных принципов

религиозной доктрины и носили неприкрыто риторический характер, поскольку считалось, что на любой возникший вопрос в самой этой доктрине имеется недвусмысленный и окончательный ответ.

Например, средневековый схоласт задается вопросом: создан ли мир Богом? Из Библии прекрасно известен ответ на такой вопрос: да, это, несомненно, так. Причем справедливость ответа не может быть предметом какого-либо обсуждения. На долю схоласта остается лишь отыскание способа или метода, каким можно подтвердить этот ответ, поскольку задано направление движения мысли и указан пункт, в который оно должно привести. Таким образом, все дело сводится к хитрости ума и его изворотливости.

Иногда схоласту — «унылому наборщику готового смысла», по выражению О. Мандельштама, — приходилось проявлять чудеса изворотливости. Скажем, он твердо знал, что Бог создал мир из ничего. Отвечая на риторический вопрос, действительно ли это так, схоласт был вынужден проводить различие между обычным созданием одной вещи из другой и творением чего-то в условиях отсутствия всякого предварительного «материала». Конечно, такого рода «тонкие» различия можно было установить только с помощью интеллектуального мошенничества. Здесь схоластика перерастала в завуалированную софистику. Без обмана невозможно выдать за доказательство то, что на самом деле доказательством не является. Элементы интеллектуального обмана, софистики в дурном смысле этого слова, содержались, в общем-то, во всех схоластических «доказательствах».

Из опыта средневековой теоретической мысли вытекает, в частности, и вывод, связанный с рассматриваемой темой. Риторические проблемы — не только вполне законное, но и важное средство, используемое в процессе познания. Однако попытка свести все богатство и разнообразие проблемных ситуаций только к риторическим привела бы к существенному ограничению и обеднению человеческого мышления.

Классические проблемы

Намного сложнее и глубже, чем риторические, проблемы, которые можно назвать *классическими*. Это — подлинно творческие проблемы, требующие не только определения общих контуров решения, но и открытия того метода, с помощью которого это решение может быть достигнуто.

Когда И. Ньютон задался вопросом, что представляет собой свет, не было ни знания, в чем мог бы заключаться ответ на этот вопрос, ни методов строгого изучения световых явлений. Конечно, это не значит, что не было никаких теорий света и что Ньютон начинал с нуля. Напротив, существовало даже слишком много таких теорий. Но все они были умозрительными, опирались на ограниченное количество

фактов, известных из повседневного опыта: свет распространяется прямолинейно; одни тела прозрачны для него, другие нет; непрозрачные тела отбрасывают тень и т. п. Решение, которое искал Ньютон, должно было в принципе отличаться от всех этих теорий. Но в чем именно оно должно было состоять, Ньютон сначала и сам не представлял. Предстояло также выработать новые методы для изучения световых явлений, а не ограничиваться наблюдением их невооруженным глазом. Короче говоря, проблема, вставшая перед Ньютоном, была классической научной проблемой, требующей богатого творческого воображения, разрыва со сложившейся ошибочной или чересчур умозрительной традицией, настойчивости и изобретательности в реализации нового подхода к исследуемым явлениям.

Когда И. П. Павлов в конце XIX в. занялся изучением рефлексов, давно существовали и понятие рефлекса, и теории, объяснявшие с его помощью поведение животных. Согласно этим теориям, животные — это, по сути дела, машины, своего рода автоматы, однозначно, как бы по заложенной в них программе реагирующие на воздействия внешней среды. Павлову предстояло не только ответить точным, т. е. экспериментальным, образом на вопрос, что представляет собой рефлекс, но и разработать сами экспериментальные методы, применимые для изучения рефлексов. Построенная Павловым и его учениками теория безусловных и условных рефлексов и была развернутым решением проблемы природы рефлексов живых существ.

Каждое крупное научное достижение, каждая новая теория и новая научная дисциплина начинаются именно с постановки проблем этого типа.

3. Неявные проблемы

Проблемные ситуации последних четырех типов — это неявные проблемы, которые характеризуются тем, что имеется какое-то затруднение, недоумение, «загвоздка», но нет открытого и прямо поставленного вопроса.

Разумеется, между явными и неявными проблемами нет резкой границы. Особенно близки к неявным классические проблемы, содержащие минимум информации о своем решении и методе исследования. Многие классические проблемные ситуации можно представить так, что они окажутся почти не отличимыми от неявных проблем.

Приведем пример неявной проблемной ситуации пятого типа, когда есть метод, есть решение, но нет самого затруднения, которое удалось бы преодолеть с помощью данного метода.

Решение без применения

Например, один изобретатель, не задаваясь определенной целью, построил довольно сложный механизм. Это был длинный прямоуголь-

ный ящик, в который через боковые отверстия подавалась вода под большим давлением. Напор и направления струй были подобраны таким образом, что предмет, опущенный в ящик с одного его торца, выходил вместе с водой из отверстия в другом торце; в самом же ящике предмет подвергался сильным, но мягким ударам струй и, двигаясь по очень замысловатой траектории, ни разу не касался стенок ящика.

Изобретатель испытал свою конструкцию на бильярдных шарах, теннисных мячах и камешках разной формы. Механизм работал безукоризненно, но никакого практически полезного приложения для него не предвиделось, поэтому он был отставлен в сторону и забыт. Но однажды в случайном разговоре речь зашла о том, как трудно иногда приходится ресторанам с очисткой от скорлупы сваренных вкрутую яиц. Для разных салатов их нужно очищать сотни; дело это несложное, но им должны заниматься несколько человек. Услышав это, изобретатель тут же увидел проблему, для решения которой мог пригодиться заброшенный им за ненадобностью механизм. Испытав его в работе, он убедился, что дело идет прекрасно: чистые от скорлупы и от тонкой пленки яйца ровными аккуратными рядами выстраивались в помещенном у выходного отверстия решетчатом поддоне.

Только метод решения проблемы

Неявные проблемные ситуации шестого, еще одного типа характеризуются только наличием метода и ничем более. Не сформулирована проблема, к решению которой его можно было бы приложить, и нет того, что следовало бы считать решением этой, еще не сформулированной проблемы.

Такие случаи обычны в абстрактной математике: ученый строит чистое, лишенное содержательной интерпретации исчисление, и только позднее обнаруживается, что оно годится для решения каких-то содержательно интересных проблем.

К этому типу проблемных ситуаций можно, по всей вероятности, отнести и те нередкие случаи, когда метод, разработанный в связи с одной проблемой, оказывается применимым к другой, совершенно не связанной с ней проблеме.

Приведем пример, который еще раз подтверждает, что бывают ситуации, когда имеется только метод и задача заключается как раз в том, чтобы отыскать проблему, для решения которой он мог бы пригодиться.

Например, на бюро у известного скряги Плюшкина лежало, описывает Н. В. Гоголь, множество всякой всячины. Все эти совершенно ненужные и никчемные, на посторонний взгляд, вещи кропотливо собирались Плюшкиным для каких-то целей, предназначались им для решения некоторых, казавшихся ему важными, проблем. Но для каких именно целей и проблем, сам Плюшкин этого уже не знал. Не представ-

лял он и того, как удалось бы при случае применить какую-то из этих вещей. Он копил все это «про запас», а вместе с тем все то, что могло найти применение, «сваливалось в кладовые, и все становилось гниль и прореха, и сам он обратился, наконец, в какую-то прореху на человечестве»¹.

Решение без вопроса и без приложения

Неявные проблемные ситуации седьмого типа характеризуются тем, что есть только решение, но неизвестен вопрос, ответом на который оно являлось бы или могло бы быть, и неизвестен или не ясен конкретный метод, с помощью которого это решение получено.

Примерами таких ситуаций могут служить исследования, ставящие перед собой один вопрос, но на самом деле оказывающиеся в конечном счете ответом на совсем другой, так и не заданный прямо вопрос. Метод в этих случаях вряд ли вообще может быть ясным.

Например, великому поэту и выдающемуся ученому И. В. Гете не нравилась теория света Ньютона. Гете считал ошибкой, что при изучении такого естественного явления, как свет, используются отверствия, выделяющие узкий пучок света, призмы, разлагающие световой луч, и т. п. Свет следует наблюдать, полагал Гете, непосредственно, таким, как он существует в природе, без всяких искажающих его свойства искусственных приспособлений. Поставив задачу опровергнуть Ньютона, Гете построил собственную теорию световых явлений. Эта теория подверглась не только критике, но и осмеянию, особенно со стороны английских физиков. Сам Гете был, однако, твердо убежден в правоте своей теории и даже считал ее своим высшим научным достижением, не оставившим от авторитета Ньютона в оптике камня на камне.

Когда полемика между сторонниками теорий Ньютона и Гете отошла в прошлое, стало ясно, что последний решал — и, в общем-то, успешно — совсем не ту задачу, которую он ставил перед собой. Вопреки убеждению, ему не удалось ни опровергнуть, ни даже поколебать ньютоновскую оптику. Его собственная теория, как показал В. Гейзенберг, касалась на самом деле совсем другого класса физических явлений: она давала не экспериментальный, количественный анализ световых явлений, а качественное, без чисел, описание восприятия света и цвета человеческим глазом.

К неявным проблемным ситуациям данного типа близки и те довольно обычные случаи, когда исследование движется чувством или, как иногда бывает, страстью, а не желанием решить какие-то возникшие и прямо сформулированные вопросы или затруднения.

«Живое предчувствие, возникающее в ходе непредубежденного размышления, — отмечал Э. Гуссерль, — ведет нас к пониманию чрезвычайно важных обстоятельств, прослеживая которые, мы можем подтвердить достоверность своих предчувствий. Предчувствие — эмоциональный путеводитель всех открытий»¹.

Имплицитное решение одной проблемы под видом эксплицитного решения совершенно иной проблемы — ситуация, нередкая даже в научном исследовании.

Когда мы говорим о некоторой проблеме, пишет К. Поппер, мы почти всегда делаем это задним числом, исходя из того, что уже совершено. Человек, работающий над проблемой, до того, как он ее решит, нередко не в состоянии ясно сказать, в чем она состоит. И даже тогда, когда он может объяснить, в чем состоит его проблема, это объяснение может оказаться ошибочным. Это справедливо также по отношению к ученым, хотя ученые и принадлежат к числу тех немногих, кто сознательно старается до конца понять свои проблемы. Например, Кеплер считал, что его проблема состоит в том, чтобы обнаружить гармонию мирового порядка, но теперь можно сказать, что он решал проблему математического описания движения планетарной системы, состоящей из двух тел. Аналогично Шрёдингер ошибочно полагал, что проблема, которую он решил, выведя (стационарное) уравнение Шрёдингера, связана с поведением волн плотности электрического заряда в непрерывном поле. Позже Макс Борн предложил статистическую интерпретацию шрёдингеровской волновой амплитуды, интерпретацию, шокировавшую Шрёдингера, который не примирился с ней до самой своей смерти. Он действительно решил проблему — но не ту, относительно которой думал, что решил. Теперь это понятно задним числом².

Антиномии и апории

Проблемные ситуации седьмого типа, когда проблемы явно не формулируются, а указывается только их решение, к тому же без ясного определения метода, каким оно получено, чрезвычайно характерны для древнего (античного) мышления.

Так, древнегреческий философ Горгий написал сочинение с интригующим названием «О несуществующем, или О природе». Это сочинение до сих пор вызывает споры и пока не нашло убедительного истолкования. Высказывается даже предположение, что Горгий написал его ради шутки, чтобы разыграть других философов, склонных спорить по каждому поводу и любивших спор ради него самого. Возможно, Горгий хотел показать одновременно и силу, и слабость строгого логического доказательства: доказать можно все, что угодно, даже то, что природа

¹ Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Общество, культура, философия. М., 1983. С. 36.

² Поппер К. Логика и рост научного знания // Избранные работы. М., 1988. С. 544.

не существует; но никакое доказательство не является настолько твердым, чтобы его не удалось поколебать.

Рассуждение Горгия о несуществовании природы разворачивается так. Сначала доказывается, что ничего не существует. Как только доказательство завершается, делается как бы шаг назад и предполагается, что нечто все-таки существует. Из этого допущения выводится, что существующее непостижимо для человека. Далее делается еще один шаг назад и предполагается вопреки, казалось бы, уже доказанному, что существующее все-таки постижимо. Из последнего допущения выводится, что постижимое невыразимо и необъяснимо для другого.

Это рассуждение, складывающееся из противоречащих друг другу утверждений, — хороший пример выдвижения проблем в форме *антиномий*, т. е. в форме противоречий.

Какие именно проблемы хотел поставить Горгий? Однозначно на этот вопрос ответить невозможно. Очевидно, что рассуждение Горгия сталкивает нас с противоречиями и побуждает искать выход, чтобы избавиться от них. Но в чем именно заключаются проблемы, на которые указывают противоречия, в каком направлении искать их решение, совершенно неясно.

С неясностью проблемы, поставленной в антиномической форме, всегда связано многообразие решений, которые предлагаются для устранения антиномии. Каждый видит в ней свой вопрос и предлагает собственное решение.

В частности, Гегель видел в рассуждении Горгия полемику с наивным представлением, будто все, что человек ощущает или о чем он размышляет, на самом деле реально существует. Однако наши чувства могут обманывать нас, а размышлять можно и о том, чего вообще нет.

За странным рассуждением Горгия можно усмотреть и другие проблемы. Какие именно, в данном случае не так уж существенно. Важно, что они есть. Они многообразны, не связаны однозначно с данным рассуждением и меняются с изменением того контекста, в котором рассуждение рассматривается.

Впечатление путаницы и противоречивости производят и изречения древнекитайского философа Хуэй Ши.

О Хуэй Ши известно, что он был очень разносторонним человеком, а его писания могли заполнить пять повозок. Он, в частности, утверждал: «То, что не обладает толщиной, не может быть накоплено, и все же его громада может простираться на тысячу ли. — Небо и земля одинаково низки; горы и болота одинаково ровны. — Солнце, только что достигшее зенита, уже находится в закате; вещь, только что родившаяся, уже умирает. — Южная сторона света не имеет предела и в то же время имеет предел. — Только сегодня отправившись в Юэ, туда я давно уже прибыл».

Сам Хуэй Ши считал свои изречения великими и раскрывающими самый потаенный смысл мира. Критики находили его учение противо-

речивым и путаным и заявляли, что его пристрастные слова никогда не попадают в цель.

В древнем философском трактате «Чжуан-цзы», например, говорится: «Как жаль, что свой талант Хуэй Ши бездумно растрачивал на ненужное и не достиг истоков истины. Он гнался за внешней стороной тьмы вещей и не мог вернуться к их сокровенному началу. Это как бы пытаться убежать от эха, издавая звуки, или пытаться умчаться от собственной тени. Разве это не печально?» Сказано хорошо, но вряд ли справедливо.

Впечатление несерьезности проблем, которые выдвигает Хуэй Ши, связано прежде всего с внешней стороной дела, а именно с тем, что он ставит свои проблемы в антиномической, парадоксальной форме. Если его и можно в чем-то упрекнуть, то лишь в том, что выдвигенные проблемы он почему-то считает и ее решением.

Как и в других антиномиях, трудно сказать с определенностью, какие именно конкретные вопросы стоят за афоризмами Хуэй Ши.

Скажем, на какое интеллектуальное затруднение намекает его заявление о том, что человек, только что отправившийся куда-то, давно туда уже прибыл? Можно истолковать это так: прежде чем отбыть в определенное место, надо его представить себе и тем самым как бы побывать там. Человек, направляющийся, подобно Хуэй Ши, в Юэ, постоянно держит в уме этот пункт и в течение всего времени продвижения к нему как бы пребывает в нем. Но, с другой стороны, если человек, только отправившийся в Юэ, давно уже там, то зачем ему вообще отправляться туда? Короче говоря, не вполне ясно, какая именно трудность скрывается за этим простым изречением. Но то, что какая-то проблема здесь есть, несомненно.

Одна черта, восходящая еще к мифологическому мышлению, сохраняется и в современном мышлении: осознание проблемной ситуации нередко переплетается с самим процессом поиска выхода из нее. Проблема формируется и уточняется по мере исследования, происходящего без четкого плана и ясно выраженной цели. Окончание исследования оказывается одновременно и формулировкой самой решавшейся в нем задачи.

В подмене проблем, в их смутности и подчас невыразимости, в постепенном прояснении проблемной ситуации по мере ее разрешения — во всем этом нет ничего странного с точки зрения общего характера творчества, в том числе научного творчества.

Подлинный творец — всегда первопроходец. Акт творчества не преследует заранее заданную, внешнюю цель, продукт его во многом непредсказуем и не выводим из начальных условий. Зачастую творец не знает, что именно он хочет сказать, до того, как скажет что-то. Он осознает свою цель по мере того, как открывает пути к ее достижению. Творчество — это всегда преобразование, трансформация как

того, что имелось вначале, так и того, что было промежуточным результатом. Преобразующая природа творчества проявляется и в том, что, формируя, уточняя и интегрируя открывающиеся возможности, творец одновременно конкретизирует и видоизменяет стоящую перед ним задачу.

Невеста одного американца, перед тем как подписать брачное свидетельство, потребовала с него письменное обещание, что он не сделается космонавтом, не будет посещать другие планеты и не станет ухаживать за женщинами других цивилизаций.

Этот американец работал мойщиком окон, ему было уже за пятьдесят, и нужно было обладать большой фантазией, чтобы предположить, что со временем он может стать космическим донжуаном.

Здесь как будто решена проблема, которой вообще нет. Нет и способа приложения этого решения в реальной жизни.

Таким образом, бывают — и нередко — случаи, когда проблема заключается именно в том, чтобы отыскать проблему.

К рассматриваемому типу проблемных ситуаций, когда есть решение, но неизвестно, ответом на какой именно вопрос оно является, близка так называемая *апория* (в буквальном переводе с древнегреческого — «затруднение», «недоумение»).

Наиболее известны апории, сформулированные древнегреческим философом Зеноном Элейским. В них рассказывается о быстроногом Ахилле, который не способен догнать медлительную черепаху; о брошенной стреле, которая не только не долетит до цели, но даже не сдвинется с места, и т. п. Эти и подобные им апории теперь признаны подлинными парадоксами, связанными с возможностью описать движение без противоречия.

Апории очень близки к антиномиям, но все-таки отличаются от них в одном важном моменте. Антиномия представляет собой два несовместимых утверждения, одно из которых отрицает другое. Апория же выдвигает и обосновывает положение, явно противоречащее нашему опыту.

Мы знаем, к примеру, что человек способен догнать и перегнать черепаху. Но вот появляется мудрец и, как представляется, убедительно доказывает, что это невозможно. Возникает противоречие между тем, что уже известно из непосредственного опыта, и тем, что выводится путем рассуждения. Это противоречие и составляет основу апории и фиксируемой ею проблемы.

Апории встречаются и сейчас, в современном мышлении и в современной науке. Всякий раз, когда принятая и хорошо апробированная теория вдруг резко расходится с достаточно твердо установленными фактами, можно говорить о возникновении проблемы. И эта проблема будет относиться к тому роду затруднений, которые в древности называли апориями.

Например, очевидно, что окружающий нас мир, несмотря на происходящие в нем постоянные изменения, в определенном смысле устойчив. Одни и те же вещества постоянно имеют одни и те же свойства, образуются одни и те же кристаллы, возникают одни и те же соединения и т. д. И после многих изменений, вызванных воздействием извне, атом, допустим, железа, в конце концов остается тем же атомом железа с теми же самыми свойствами. Мы постоянно наблюдаем в природе тенденцию к образованию определенных форм и к воспроизведению их заново даже тогда, когда они нарушены или разрушены. Устойчивость живых организмов, образование сложнейших форм, которые к тому же способны существовать всегда лишь как целое, — явления этого же рода.

Устойчивость мира — очевидный факт. Но, оказывается, с точки зрения классической механики Ньютона подобная устойчивость в принципе недостижима. В свете данной теории эта постоянно проявляющаяся особенность природы выглядит подлинным чудом, которое невозможно объяснить.

Это противоречие между теоретическим рассуждением и опытом — типичная апория. Оно обсуждалось в 1922 г. двумя, тогда еще молодыми физиками Н. Бором и В. Гейзенбергом, о чем последний вспоминает в своей книге «Часть и целое». Бор, в частности, сказал тогда, что именно размышление над данным затруднением заставило его отказаться от классической механики при объяснении внутреннего строения атома¹.

Миф, притча, сказка

К последнему, восьмому типу проблемных ситуаций относятся наиболее неявные из всех неявных проблем: нет самой проблемы как четко сформулированного вопроса, требующего исследования, есть только какое-то затруднение, какая-то неловкость; нет намека на метод, как можно было бы справиться с данным затруднением; и нет, разумеется, того, что уместно было бы назвать решением проблемы.

Может показаться, что ситуация, когда есть только очень неясное затруднение и ничего более, не относится к проблемным. Однако реальная практика научного исследования говорит, что это не так: многие крупные научные проблемы в первый период своего становления ощущались и осмыслялись именно как невятные, неизвестно о чем говорящие затруднения.

Прекрасным примером такого рода неявных проблемных ситуаций, породивших — только через века — важные явные научные и философские проблемы, являются софизмы древних.

Софизмы как особая форма постановки проблем появились на довольно высоком уровне развития человеческого мышления. В мышлении

¹ См. Гейзенберг В. Часть и целое // Проблема объекта в современной науке М., 1980 С. 63–64.

первобытных людей, строившемся по образцу мифа, одним из способов выражения проблемной ситуации была предшественница софизма — парабола.

Слово «парабола» означает не только определенной формы незамкнутую кривую, но и иносказание, нравоучение.

В притче «Перед параболами» Ф. Кафка пишет: «Слова мудрецов подобны параболам. Когда мудрец говорит: «Иди туда», то он не имеет в виду, что ты должен перейти на другую сторону. Нет, он имеет в виду некое легендарное «там», нечто, чего мы не знаем, что и он сам не мог бы точнее обозначить»¹.

Это — хорошая характеристика софизма и вместе с тем указание на внутреннее родство его с параболой, иносказательным поучением, притчей.

Английский философ Ф. Бэкон посвятил истолкованию мифов интересную книгу «О мудрости древних». Здесь он перевел содержание многих мифов на современный ему язык. Эти «переводы» несколько наивны и прямолинейны, с нашей точки зрения, но хорошо показывают, что при самом простом — буквальном — истолковании мифов в них упускается наиболее интересное и важное. Мифы складывались веками, в них запечатлелась глубокая народная мудрость. Чтобы постичь ее, надо выявить их скрытый и тайный смысл, расшифровать их иносказания.

Вот как, например, Бэкон истолковывал известный миф о Дедале².

Согласно мифу, за убийство своего соученика и соперника Дедал был вынужден жить в изгнании, но его с радостью принимали и цари, и города. Дедал создал множество замечательных произведений. Особенно он прославился дерзкими и запретными творениями. Так, он придумал и выстроил лабиринт, из которого невозможно было найти выход, — сооружение, по словам Бэкона, «омерзительное и нечестивое по своему назначению и в то же время изумительное и великолепное по мастерству». Позднее, чтобы не быть известным лишь злыми делами и создавать не только орудия преступления, но и средства против них, он дал гениальный совет воспользоваться нитью, для того чтобы выбраться из хитросплетений лабиринта. В конце концов, Дедал научил своего сына Икара летать, а тот, еще неопытный, стал хвастать своим искусством и упал с неба в море.

Смысл этой параболы, по Бэкону, таков. В самом начале речь идет о том, что всегда поджидает замечательных мастеров и удивительным образом господствует над ними, — о зависти. Нет такой категории людей, которые бы сильнее, чем они, страдали от острой, буквально убийственной зависти. «Великолепия и аллегория лабиринта, изобража-

¹ Кафка Ф. Избранные произведения. М., 1963. С. 244.

² Бэкон Ф. Сочинения. в 2 т. М., 1972. Т. 2. С. 353–355.

ющая общую природу механики. Ведь все эти хитроумные и тщательно изготовленные произведения механического искусства могут считаться чем-то вроде лабиринта по тонкости работы, исключительной сложности их конструкции и видимому сходству частей, что делает их недоступными для суждения и позволяет разобраться в них лишь с помощью нити опыта. Не менее удачно и упоминание о том, что тот же самый человек, который придумал лабиринт с его извилинами, указал и нить спасения: ведь механические искусства могут приводить к противоположным результатам, могут приносить вред, но и находить средство исправить его, и в их силах развеять собственные чары»¹.

Такое истолкование мифа о Дедале, конечно, не является единственно возможным. Оно относится к самому началу XVII в., и реконструкция проблем, поднимаемых мифом, и выводимая в итоге мораль во многом определяются духом того времени. Но эта реконструкция выразительно показывает, что миф далеко не так прост, как это может показаться на первый взгляд. За бесхитростным рассказом о богатой событиями жизни Дедала скрываются глубокие вопросы. Миф ставит их в непривычной для нас форме — в форме параболы. И он же дает на них своеобразные ответы — неявные, требующие размышления и расшифровки.

Бэкон пытался ответить на вопрос, в чем причина того, что самые глубокие проблемы, касающиеся смысла жизни и назначения человека, его места в мире и т. п., принимали когда-то вид иносказания, параболы:

«Когда речь идет о новых открытиях, далеких от представлений толпы и глубоко скрытых от нее, нужно искать более удобный и легкий доступ к человеческому пониманию через параболы. Поэтому в древности, когда открытия и заключения человеческого разума — даже те, которые представляются теперь банальными и общеизвестными, — были новыми и непривычными, всюду мы встречаем всевозможные мифы, загадки, параболы, притчи, к которым прибегали для того, чтобы поучать, а не для того, чтобы искусно скрывать что-то, ибо в то время ум человеческий был еще груб и бессилён и почти не способен воспринимать тонкости мысли, а видел лишь то, что непосредственно воспринимали чувства»².

В своей основе этот ответ правилен. Для неискушенного в теоретизировании первобытного человека, не отделяющего себя отчетливо от окружающей природы, мало знающего о себе и о ней, мыслящего образами и живущего эмоциями, повествование со скрытым в его глубине смыслом было единственным способом выразить волнующие его, но ему самому не вполне ясные проблемы.

¹ Бэкон Ф. Сочинения в 2 т. М., 1972. Т. 2. С. 355.

² Там же.

Первобытное мышление, создавшее мифы и искренне верившее всему, что говорилось в них, давно отошло в прошлое. Но иносказание, притча, параболы как особые формы выражения проблемных ситуаций сохранились до наших дней. Приведенная маленькая притча Ф. Кафки — хороший пример проблем-парабол уже в современном мышлении.

К иносказаниям, понятым как своеобразный способ постановки проблем, в чем-то близки *афоризмы, максимы и сентенции*.

«Одиноким человеком всегда в дурном обществе» (П. Валери), «Радости оплодотворяют. Скорби рожают» (У. Блейк) — подобные афоризмы не просто констатируют что-то общеизвестное, мимо чего можно равнодушно пройти, а склоняют к размышлению и требуют, подобно вопросу, ответа «да» или «нет».

Проблемные ситуации порождаются также *эпиграммами, каламбурами, анекдотами* и вообще всеми проявлениями комического в интеллектуальной сфере.

Сказки, возникшие гораздо позднее мифов и прекрасно чувствующие себя и в наше время, тоже являются иносказаниями. Они повествуют о событиях, происходящих в каком-то ином мире, только отдаленно напоминающем наш мир. И вместе с тем они в своеобразной форме, особенно интересной и понятной детскому уму, ставят какие-то вопросы и одновременно отвечают на них. «Сказка — ложь, да в ней намек...» — заметил А. С. Пушкин.

Американский филолог Д. Пайпс написал социально-историческое эссе «Испытания и горести Красной Шапочки», ставшее в свое время бестселлером в США и Западной Европе. Пайпс прослеживает многовековую эволюцию внешней очень простой истории о том, как маленькая девочка отправилась в гости к бабушке и случайно встретила в лесу волка.

Первые сказки о Красной Шапочке появились еще в XV в. Начало их было такое же, как и в более поздних вариантах, но в конце девочке хитростью удавалось освободиться и вернуться домой целой и невредимой.

В сказке французского фольклориста Шарля Перро, написанной в XVII в., этот первоначальный вариант был преобразован в соответствии с требованиями морали того времени. Перро рассказывает, как Красная Шапочка, забыв справедливые наставления родителей, завязала разговор с волком, т. е. с неизвестным ей лицом. За это непослушание она и была съедена. Таким образом, автор осуждает свою героиню и всех, кто поступает, как она, за кокетство с незнакомцами и выводит мораль: послушание родителям всегда вознаграждается.

В XIX в. в сказке братьев Гримм Красная Шапочка стала уже примером невинной жертвы. Ужасный конец был отброшен, появился новый персонаж — храбрый охотник, спасающий и героиню, и ее бабушку.

Сама идея послушания родителям осталась, но к ней добавилась идея надежды на сильного покровителя, представленного охотником, восстанавливающего в нужных случаях справедливость.

В разное время один и тот же сюжет истолковывался по-разному, в нем виделись свои проблемы и предлагались свои решения.

Это вообще характерно для проблем, формулируемых в притчах и сказках. Они предстают не в виде вопросительного предложения, а в виде рассказа, констатирующего, как правило, необычные события. Попытка перевести неявную формулировку в открытый вопрос в разных контекстах дает разные результаты. И никогда нет полной уверенности в том, что принятый «перевод» является единственно возможным или наиболее удачным.

На примере сказки о Красной Шапочке можно выявить различие иносказания и софизма. Как способы постановки проблем они во многом сходны, но между ними есть и существенная разница.

В мифе, притче, сказке содержится не только неявная, требующая расшифровки проблема, но и определенный намек на ее решение. Мораль, выводимая из иносказания, оказывается одновременно и формулировкой вопроса, и ответом на него. В частности, история о Красной Шапочке в изложении Перро содержит вопрос: следует ли девушке быть настолько общительной, чтобы вступать в разговор с незнакомцем? И тут же сам сюжет подсказывает ответ: сдержанность, к которой призывали родители, конечно же, оправдала бы себя.

Софизм как особая форма осознания проблемной ситуации возник на более высокой ступени развития человеческого мышления, чем иносказание. В софизме разделилось то, что раньше в иносказании было слитным. Постановка проблемы и поиск ее решения стали двумя самостоятельными действиями, разделенными во времени.

Таким образом, миф и сказка, как и вообще любое иносказание, ставят вопросы и отвечают на них. Ставят непрямо и отвечают моралью, требующей, чтобы ее извлекли и осмыслили.

Но если вдуматься, то станет понятно, что и все другие формы искусства, все иные способы осмысления мира в художественных образах выражают проблемы и решают их во многом подобно тому, как это делают иносказания. Возможно, еще более непрямо, чем иносказания, и без обязательной «морали», довольно прозрачной в иносказаниях, но все-таки сходным с иносказаниями способом, сплетающим воедино постановку проблемы и поиск ее решения.

Интерес к софизму, сказке, иносказанию, притче и т. п. легко объясним. Сходным образом нередко ставятся проблемы в социальных и гуманитарных науках.

В заключение обсуждения проблемных ситуаций в науке полезно подчеркнуть опасность поверхностного подхода к научным пробле-

На первый взгляд, проблема может показаться банальностью, а неявная проблема — даже нелепостью. Только долгое и тщательное осмысление проблемы способно раскрыть ее действительный смысл и подлинную глубину. Попытка решить непродуманную и не раскрытую до конца проблему может оказаться безуспешной.

Здесь полезно вспомнить шуточный афоризм: «Проблемы, как и зубы, следует рвать с корнем». Не добравшись до корней, не нужно поспешно «дергать» проблему и удовлетворяться скоропалительным, первым пришедшим в голову решением. Оставшаяся нераскрытой ее часть может привести к абсцессу.

Ухватить трудность на глубине, писал Л. Витгенштейн, — вот что сложно. Если схватить ее близко к поверхности, она останется той же, что и была. Ее нужно вырвать с корнем. Это означает, что надо начать думать об этих вещах по-новому. Подобный переход столь же радикален, как, например, переход от алхимического способа мышления к химическому. В переходе к новому способу мышления и заключается основная трудность.

Мысль Витгенштейна проста. В решении необходим встающий в процессе научного исследования проблем определенный радикализм, полумеры чаще всего ничего не дают. Нередко, для того чтобы осознать подлинную сущность проблемы, приходится совершенно по-новому подходить к вещам, казавшимся известными. Это новое и более глубокое видение и представляет главную трудность.

Если проблема неправильно или неглубоко понята, могут стать бесполезными все последующие усилия, имеющие целью прояснение и решение проблемы.

Неявные проблемы легко просмотреть или отнестись к ним, как к чему-то, недостойному серьезного внимания. Незамеченная, отброшенная с порога проблема в любой момент может сыграть роль того не приметного в ночи айсберга, который способен внезапно разрушить самое современное и технически оснащенное судно. Проблемы разнородны. Неправильное определение типа рассматриваемой проблемы неизбежно ведет к тому, что аргументация, призванная поддержать предлагаемое решение проблемы, окажется чрезмерно упрощающей ситуацию, а возможно, и бьющей мимо цели.

Глава 7

НАУЧНАЯ КРИТИКА

1. Эмпирическое опровержение

Наука делается не исследователями-одиночками, а большими коллективами людей, насчитывающими тысячи и тысячи человек. Среди ученых, занятых исследованием конкретной области явлений, всегда имеются противостоящие друг другу направления и школы, иногда очень остро полемизирующие друг с другом. Без дискуссии и полемики наука задыхается и глохнет.

Наука — это прежде всего критика научным сообществом выдвигаемых гипотез и одновременно это потенциальная, всегда готовая развиться критика уже принятых и считающихся хорошо проверенными утверждений и теорий.

Проблема научной критики, направленной на опровержение выдвигаемых и уже принятых гипотез и теорий, имеет особое значение с точки зрения философии науки и анализа научного метода.

Научную критику можно разделить на *эмпирическую* и *теоретическую*. Первая опирается непосредственно на факты, вторая использует по преимуществу теоретические соображения. Различие между эмпирической и теоретической научной критикой является, конечно, условным, как условно и относительно само разграничение эмпирического и теоретического знаний.

Далее рассматривается главным образом эмпирическая научная критика. Проблема такой критики имеет прямое отношение к теме эмпирического обоснования и опровержения научных утверждений и теорий. Что касается теоретической критики, то при ее обсуждении внимание уделяется только спору как средству прояснения, уточнения, а возможно, и опровержения выдвигаемых или уже считающихся принятыми научных положений.

2. Верификация и фальсификация

Эмпирическое опровержение, или *фальсификация*, представляет собой процедуру установления ложности гипотезы или теории путем эмпирической ее проверки.

Интерес к проблеме фальсификации привлек австро-английский философ К. Поппер, противопоставивший фальсификацию верификации, эмпирическое опровержение — эмпирическому подтверждению.

Позиция Поппера складывалась в полемике с неопозитивистами, которые считали, что наука развивается путем осторожного обобщения результатов наблюдений и что сами обобщения обоснованы тем лучше, чем больше имеется подтверждающих их фактов. Характерную черту на-

уки неопозитивисты видели в ее обоснованности и достоверности, а отличительную особенность ненауки (например, алхимии или метафизики) — в недостоверности и ненадежности. Индукция и верифицируемость оказывались, таким образом, критериями отграничения науки от ненауки.

Поппер отказался рассматривать обоснованность, или эмпирическую подтверждаемость, положений науки в качестве отличительной ее черты. Подтвердить опытом можно все, что угодно. В частности, астрология подтверждается многими эмпирическими свидетельствами. Подтверждение теории еще не говорит о ее научности. Испытание гипотезы должно заключаться не в отыскании подтверждающих ее данных, а в настойчивых попытках опровергнуть ее.

«Проблему нахождения критерия, который дал бы нам в руки средство для выявления различия между эмпирическими науками, с одной стороны, и математикой, логикой и «метафизическими» системами — с другой, я называю, — пишет Поппер, — *проблемой демаркации*»¹.

Критерием демаркации должно быть не эмпирическое подтверждение, а эмпирическая опровержимость, или фальсификация. Система может считаться эмпирической или научной, говорит Поппер, только в том случае, если она может быть проверена опытом. Эти рассуждения приводят к мысли, что не верифицируемость, а фальсифицируемость системы должна считаться критерием отделения науки от ненауки. Другими словами, от эмпирической научной системы нужно требовать, чтобы для нее существовала возможность быть опровергнутой опытом.

Противопоставление Поппером фальсификации и верификации связано с его идеей, что выдвигаемые в науке гипотезы должны быть (и обычно являются) настолько смелыми, насколько это возможно. Но это означает, что они должны быть заведомо неправдоподобными, так что попытки верифицировать их заведомо обречены на провал.

Логический принцип фальсификации и фальсификационизм

Исходным пунктом позиции Поппера является очевидная асимметрия между верификацией и фальсификацией.

Согласно современной (классической) логике, две взаимосвязанные операции — подтверждение и опровержение — существенно неравноправны. Достаточно одного противоречащего факта, чтобы окончательно опровергнуть общее утверждение, и вместе с тем сколь угодно большое число подтверждающих примеров не способно раз и навсегда подтвердить такое утверждение, превратить его в истину.

Например, даже осмотр миллиарда деревьев не делает общее утверждение «Все деревья теряют зимой листву» истинным. Наблюдение

¹ Поппер К. Р. Логика и рост научного знания. М., 1980. С. 55. Эмпирические науки Поппер понимает очень узко, так что не только математика, логика и философия выпадают из числа таких наук, но и, в сущности, почти все социальные и гуманитарные науки.

потерявших зимой листву деревьев, сколько бы их ни было, лишь повышает вероятность, или правдоподобие, данного утверждения. Зато всего лишь один пример дерева, сохранившего листву среди зимы, опровергает это утверждение.

Вот как описывает радикальную асимметрию между подтверждением и опровержением Р. Карнап, находящий ее по-своему примечательной. Довольно интересно то, что хотя и не существует способа, с помощью которого можно было бы верифицировать закон (в строгом смысле), имеется простой способ, с помощью которого можно его опровергнуть. Для этого необходимо найти только один противоречащий случай. Само знание о таком случае может оказаться недостоверным. Можно ошибиться в наблюдении или как-то иначе. Но если предполагается, что противоречащий случай представляет собой факт, тогда отрицание закона следует из него непосредственно. Если закон утверждает, что каждый объект, обладающий одним свойством, обладает также другим свойством, но отыскивается объект, обладающий первым свойством, но не обладающий вторым свойством, закон опровергается. Миллиона положительных примеров недостаточно, чтобы верифицировать закон, но одного противоречащего случая достаточно, чтобы опровергнуть его. Легко опровергнуть закон, но крайне трудно найти ему сильное подтверждение¹.

Асимметрия подтверждения и опровержения опирается на популярную схему рассуждения, которую можно назвать *принципом фальсификации*. Этот принцип был известен еще стоикам; в средневековой логике он получил название *modus tollens*.

Принцип фальсификации можно выразить словами: «Если верно, что *A* имплицитно *B*, и неверно, что *B*, то неверно, что *A*». Или, как передавали эту схему умозаключения стоики: «Если есть первое, то есть второе; но второго нет, следовательно, нет и первого». Например: «Если все птицы летают, то страус летает; но страус не летает; значит, неверно, что все птицы летают».

Хотя асимметрия подтверждения и опровержения, опирающаяся на принцип фальсификации, активно обсуждалась в недавнее время, особенно в связи с критикой фальсификационизма Поппера, сам принимаемый современной логикой принцип фальсификации инкогда не вызывал подозрений. В итоге критика фальсификационизма остается непоследовательной и неполной. Ограничиваясь эпистемологической несостоятельностью последнего, она оставляет без внимания логическую сторону дела. Неравноправие подтверждения и опровержения по-прежнему считается имеющим твердые логические основания. В итоге фальсификационизм сохраняет определенную респектабельность: он отправляется как будто от хорошо установленного логического факта.

¹ См.: Карнап Р. Философские основания физики. М., 1972. С. 61–62.

То, что даже бесконечное множество подтверждающих фактов не превращает теорию или какой-то ее фрагмент в абсолют, представляется вполне естественным. Но то, что единственный противоречащий факт тут же заставляет если не отбросить теорию, то, по меньшей мере, радикально перестроить ее, определению не согласуется с обычной практикой теоретического мышления. В реальном научном мышлении опровержение теории не является более легким и простым, чем ее обоснование.

Представляется, что опровержение и подтверждение должны быть равноправны и симметричны. Во всяком случае, ясно, что формальная логика не должна предрешать ответ на выходящий за рамки ее компетенции вопрос: симметричны опровержение и подтверждение или нет? Но пока она недвусмысленно высказывается в пользу их «сильной асимметричности».

Необходима, как кажется, новая логическая теория, в которой принцип фальсификации не являлся бы логическим законом. Отказ от него не может быть, конечно, безоговорочным. Подобно ряду других законов логики (например, закону исключенного третьего, плохо приложимому в рассуждениях о бесконечных множествах), данный принцип не является универсально приложимым. Это не исключает, однако, что он приложим в каких-то ограниченных, удовлетворяющих дополнительным требованиям сферах рассуждений.

«Интерсубъективно проверяемую фальсификацию» Поппер считает окончательной, если она хорошо обоснована, — именно в этом проявляется асимметрия между верификацией и фальсификацией теории¹. Поппер полагает также, что опровержение одного из следствий фальсифицирует всю систему (как теорию, так и начальные условия), которая была использована для дедукции данного следствия. Только в том случае, если фальсифицированное следствие независимо от некоторой части этой системы, мы можем сказать, что эта часть системы не затронута фальсификацией².

Согласно критерию фальсифицируемости, высказывания или системы высказываний содержат информацию об эмпирическом мире только в том случае, если они обладают способностью прийти в столкновение с опытом, или более точно — если их можно систематически проверять, то есть подвергать (в соответствии с некоторым «методологическим решением») проверкам, результатом которых может быть их опровержение. Логическое неравноправие верификации и фальсификации оказывается у Поппера не только основой концепции «эмпирического значения», но и ключом к проблемам индукции и отграничения науки от ненауки. Решение проблемы индукции элементарно: существует лишь

¹ См.: Карнап Р. Указ. соч. С. 213.

² Там же. С. 104.

один тип умозаключения, осуществляемого в «индуктивном направлении», а именно дедуктивное рассуждение, опирающееся на принцип фальсификации. Столь же простым является и решение фундаментальной проблемы демаркации: научные системы, в частности теоретические системы эмпирических наук, допускают фальсификацию, в то время как системы философские и им подобные системы эмпирического опровержения не допускают¹.

«Решение» проблемы индукции сводится, таким образом, к идее, что индукции вообще не существует. Отграничение рациональной науки от «различных форм предрассудков» также оказывается весьма простым. Наука, и только она, критично и систематически использует принцип фальсификации для жесткой и бескомпромиссной проверки создаваемых теорий. Рациональность науки, говорит Поппер, заключается не в том, что она по традиции прибегает к эмпирическим свидетельствам в поддержку своих положений (астрология делает то же самое), а исключительно в критическом подходе, в критическом использовании эмпирических данных. Ученый вовсе не рассчитывает обосновать свои теории с помощью опытных данных. Он стремится лишь к критике и проверке этих теорий, надеясь найти допущенные в процессе исследования ошибки, чему-то научиться на них и, если повезет, построить более совершенные теории².

3. Критика фальсификационизма

Фальсификационизм Поппера подвергся жесткой и аргументированной критике. В сущности, от этой концепции в ее ортодоксальной форме еще при жизни автора, продолжавшего активно ее защищать, мало что осталось.

И. Лакатос точно кодифицирует фальсификационизм как «дедуктивную модель научной критики». «Оружием критики является *modus tollens*: индуктивная логика, ин интуитивная простота не усложняют... методологическую концепцию»³.

Принцип фальсификации превращается Поппером из логического в методологический принцип. В результате механизм фальсификации признается важнейшим методологическим правилом. Согласно этому правилу, если теория опровергнута, она должна быть немедленно отброшена.

¹ См.: Карнан Р. Философские основания физики. М., 1972. С. 238

² Там же в книге «Объективное знание» Поппер прямо провозглашает дедуктивную логику «органом критичизма» и усматривает в этом основание для отождествления критичизма с рациональностью (см.: Popper K. Objective knowledge. An evolutionary approach. Oxford, 1973. P. 31)

³ Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции // Структура и развитие науки. М., 1978. С. 213

Назовем *логической фальсификацией* идею о том, что несостоятельность любого следствия некоторого положения автоматически означает ложность этого положения. Именно эта идея выражается принципом фальсификации. Логическая фальсификация — это дедуктивная операция. В основе же подтверждения лежат, как принято считать, некоторые индуктивные процедуры. Понятие опровержения будем употреблять в его обычном смысле, который относительно устоялся в эпистемологии.

Хотя понятие опровержения не является ни содержательно, ни объемно точным, имеется достаточно определенное ядро его содержания, явно не совпадающее с содержанием понятия логической фальсификации. Прежде всего неверно, будто один противоречащий факт способен опровергнуть теорию. «Ученые, — пишет М. Полани, — сплошь и рядом игнорируют данные, несовместимые с принятой системой научного знания, в надежде, что в конечном счете эти данные окажутся ошибочными или не относящимися к делу»¹. Факты имеют разную научную ценность, зависящую не только от их достоверности, но и от их релевантности для данной системы знания. Весьма малая внутренняя достоверность будет достаточна, чтобы придать высшую научную ценность предполагаемому факту, если только он согласуется с крупным научным обобщением, в то время как самые упрямые факты будут отодвинуты в сторону, если для них нет места в уже сформировавшейся научной системе.

«Простая «фальсификация» (в попперовском смысле) не влечет отбрасывания соответствующего утверждения, — пишет Лакатос. — Простые «фальсификации» (то есть аномалии) должны быть зафиксированы, но вовсе не обязательно реагировать на них»².

Понятие фальсификации предполагает, по Попперу, существование (негативных) решающих экспериментов. Лакатос, с иронией именуя эти эксперименты «великими», замечает, что решающий эксперимент — это лишь почетный титул, который может быть пожалован определенной аномалии, но только спустя долгое время после того, как одна программа будет вытеснена другой³.

Фальсификация не считается также с тем, что теория, встретившаяся с затруднениями, может быть преобразована за счет вспомогательных гипотез. «...Никакое принятое базисное утверждение само по себе не даст ученому права отвергнуть теорию. Такой конфликт может породить проблему (более или менее важную), но он ни при каких условиях не может привести к «победе». Природа может крикнуть «Нет!», но человеческая изобретательность... всегда способна крикнуть еще громче»⁴.

¹ Полани М. Личностное знание. М., 1985. С. 201

² Лакатос И. Указ. соч. С. 218

³ См. Там же. С. 218

⁴ Там же. С. 219.

Особый интерес представляет мысль Лакатоса, что фальсификация вообще не приложима к «жесткому ядру» исследовательской программы. Такая программа включает в себя конвенционально принятое (и потому «неопровержимое», согласно заранее избранному решению) «жесткое ядро» и «позитивную эвристику», которая определяет проблемы для исследования, выделяет защитный пояс вспомогательных гипотез, предвидит аномалии и победоносно превращает их в подтверждающие примеры — все это в соответствии с заранее разработанным планом. Опровержение «жесткого ядра» — это не итог одномоментной логической фальсификации, а результат сложного процесса вытеснения одной исследовательской программы другой. При этом роль принципа фальсификации, концентрирующего внимание единственно на аномалиях, второстепенна.

Все это означает, что приложимость принципа фальсификации к разным частям исследовательской программы является разной. Она зависит также от этапа развития такой программы: пока последняя успешно выдерживает натиск аномалий, ученый может вообще игнорировать их и руководствоваться не аномалиями, а позитивной эвристикой своей программы.

Принцип, который, подобно принципу фальсификации, используется в одних случаях и оказывается неприменимым в других, нельзя назвать универсальным.

Сложный характер реальных опровержений научных теорий подчеркивает и Т. Кун. Если бы каждая неудача установить соответствие теорий природе была бы основанием для ее опровержения, говорит он, то все теории и любой момент можно было бы опровергнуть. Фальсификация безусловно имеет место. Но она не происходит просто по причине возникновения аномального, или фальсифицирующего, примера. Напротив, вслед за этим разворачивается самостоятельный процесс, который может быть в равной степени назван верификацией, поскольку он состоит в триумфальном шествии новой парадигмы по развалинам старой¹.

Отказ от теории реален и разумен только тогда, когда выдвинута альтернативная и более успешная новая теория. Если этого нет, то наличие аномалий и прямая фальсификация теории еще не означают отбрасывания ее. Кроме того, новая теория отправляется не только от определенной совокупности фактов, но и от старой теории, стремясь не просто объяснить факты, а объяснить их лучше, чем это делала старая теория. Эмпирический и теоретический отправные пункты создания новой теории тесно взаимосвязаны. В силу этого опровержение теории — не столько результат ее фальсификации, сколько итог борьбы двух теорий за более успешное объяснение фактов.

¹ Кун Т. Структура научных революций. М., 1975. С. 186–187.

У Поппера были важные философские основания для того, чтобы сделать фальсификационизм ядром своей методологии. Поппер признает, что человеческое познание стремится к истинному описанию внешнего мира, и даже готов согласиться с тем, что человек способен получить истинное знание о мире. Однако он отвергает существование критерия, который позволил бы нам выделить истину из всей совокупности наших убеждений. Даже если бы мы в своем научном поиске случайно натолкнулись на истину, мы не смогли бы с уверенностью это знать.

Приведенные мнения об опровержении научных теорий расходятся между собой во многих деталях, но определенно согласуются в главном: опровержение — это не логическая фальсификация, определяемая правилом *modus tollens*; опровержение — сложная процедура, зависящая от многих факторов, одним из которых, но далеко не всегда решающим, является фальсификация следствий опровергаемой теории.

Критика фальсификационизма не может быть до конца последовательной, если она не связана с критикой традиционного понятия опровержения и лежащего в его основе логического принципа фальсификации. Если в трактовке этого понятия логика и эпистемология оказывается, как сейчас, в конфликте, оно неминуемо раздваивается.

С логической точки зрения общее положение считается опровергнутым, как только обнаруживается хотя бы одно (важное или третье-степенное) ошибочное следствие. С эпистемологической точки зрения процедура опровержения является не менее сложной, чем процедура подтверждения, и учитывает важность ошибочных следствий, их число, их отношение к «ядру» теории, состояние конкурирующих теорий и множество других факторов.

Существованием двух понятий опровержения и объясняются заключения типа: теория опровергнута (в логическом смысле), но она сохраняется, поскольку она не опровергнута (в эпистемологическом смысле).

Наиболее притягательной чертой попперовской методологии являются, полагает Лакатос, ее четкость, ясность и конструктивная сила¹. Что касается фальсификационизма, то его «четкость и ясность» — простое следствие бедности его содержания, сводящегося к единственному принципу дедуктивной логики и его перефразировкам. «Конструктивная сила» же в основном тратится на то, чтобы, представив опровержение как сугубо дедуктивную операцию, придать этому абстрактному и неадекватному представлению видимость согласия с реальной практикой опровержения научных теорий. Как только осознается неуниверсальность опровержения, следующего исключительно принципу фальсификации, фальсификационизм утрачивает остатки своей убедительности.

4. Научная критика как ослабленная верификация

По мысли Поппера, обоснование научных теорий не может быть достигнуто с помощью наблюдения и эксперимента. Теории всегда остаются необоснованными предположениями. Факты и наблюдения нужны науке не для обоснования, а лишь для проверки и опровержения теорий, для их фальсификации. Метод науки — это не наблюдение и констатация фактов для последующего их индуктивного обобщения, а метод проб и ошибок. Нет более рациональной процедуры, пишет Поппер, чем метод проб и ошибок — предположений и опровержений: смелое выдвижение теорий; попытки наилучшим образом показать ошибочность этих теорий и временное их признание, если критика оказывается безуспешной¹. Метод проб и ошибок универсален: он применяется не только в научном, но и во всяком познании, его используют и амеба, и Эйнштейн.

Критика и косвенная верификация

Резкое противопоставление Поппером верификации и фальсификации, индуктивного метода и метода проб и ошибок не является, однако, оправданным. Критика научной теории, не достигшая своей цели, неудавшаяся попытка фальсификации представляет собой ослабленный вариант косвенной эмпирической верификации.

Косвенная верификация является индуктивным рассуждением, протекающим по схеме: «Если верно, что если A , то B , и верно B , то, вероятно, верно A ». Фальсификация в узком смысле, используемом Поппером, представляет собой дедуктивное рассуждение, протекающее по схеме: «Если верно, что если A , то B , и неверно B , то неверно A ».

Фальсификация как процедура включает два этапа: установление истинности условной связи «если A , то B », где B является эмпирически проверяемым следствием; установление истинности «неверно B (не- B)», т. е. ложности B .

Неуспех фальсификации означает неудачу в установлении ложности B . Итог этой неудачи — вероятностное суждение «Возможно, что является истинным не-не- B (т. е. B)». Неуспех фальсификации представляет собой, таким образом, индуктивное рассуждение, имеющее схему: «если верно, что если A , то B , и неверно не- B , то A » («если верно, что если A , то B , и B , то A »).

Эта схема совпадает со схемой косвенной верификации (подтверждения следствий). Неуспех фальсификации является, однако, ослабленной верификацией: в случае обычной косвенной верификации предполагается, что посылка B есть истинное утверждение; при неудавшейся фальсификации эта посылка является только правдоподобным утверждением².

¹ См.: Popper K. *Conjectures and Refutations*. Oxford, 1979. P. 268–269.

² См. в этой связи: Ивин А. А. *Основы теории аргументации*. М., 1997. С. 52.

Таким образом, решительная, но не достигшая успеха критика, которую так высоко оценивает Поппер и которую он противопоставляет в качестве самостоятельного метода верификации, не является на самом деле таким методом, а представляет собой только ослабленный вариант обычной верификации.

5. Парафальсификация и ее логика

Критика фальсификационизма — при всей ее убедительности — никогда не доводилась до своего, так сказать, «логического конца». Она всегда ограничивалась чисто эпистемологическими соображениями, связанными прежде всего с историей науки и реальными научными теориями, и не рисковала подвергнуть сомнению асимметрию подтверждения и опровержения и лежащий в ее фундаменте принцип фальсификации.

Заключенное о несовпадении опровержения и логической фальсификации имеет, таким образом, прямое отношение к логике. Признавая в качестве закона принцип фальсификации, она очерчивает слишком узкие и жесткие рамки для опровержения, сводит его к логической фальсификации. В результате опровержение, истолкованное чисто дедуктивно, отрывается от подтверждения и противопоставляется ему как операция совершенно иной логической природы. Поскольку реальные процессы опровержения научных теорий не укладываются в прокрустово ложе чисто логического опровержения, наряду с последним складывается более широкое — эпистемологическое — понятие опровержения. Опровержение в логическом смысле заметно уже опровержения в эпистемологическом смысле. Первое связывает и стесняет второе, поэтому конфликт между ними неизбежен. Одним из проявлений этого столкновения узко логического и более широкого, эпистемологического истолкований опровержения был, в частности, фальсификационизм Поппера.

Логическое и эпистемологическое опровержения

Задаваемое логикой понимание опровержения должно быть шире эпистемологического его понимания. Однако принципом фальсификации навязывается обратное отношение между этими пониманиями. Чтобы согласовать логику и эпистемологию, нужно отбросить данный неадекватный принцип и дать более либеральную логическую трактовку опровержения.

Конечно, отказ считать принцип фальсификации законом логики не означает, что фальсификация в духе данного принципа никогда не имеет места. Этот отказ означает, что принцип фальсификации не является *универсальным*, применимым в любых областях рассуждений. Он может входить в расширения универсально приложимой логической системы, но не должен входить в саму эту систему.

Такая минимальная и вместе с тем универсальная логика высказываний была построена и получила название «парафальсифицирующая логика»¹. В этой логике принцип фальсификации не является доказуемым, и вместе с тем в ней осуществима фальсификация в некотором более слабом смысле («парафальсификация»).

Возможны и другие пути реализации идеи парафальсифицирующей логики, например отказ от модального аналога принципа фальсификации:

«если верифицировано условное высказывание (если А, то В) и фальсифицировано его следствие В, то фальсифицировано основание А».

Принцип фальсификации содержит, помимо переменных, только связки «если, то», «и», «не» и не включает понятий «верифицировано» и «фальсифицировано». Поэтому может показаться, что он не связан непосредственно с проблемами подтверждения и опровержения и что само его имя не отвечает его содержанию. В действительности это не так. Модальным аналогом принципа фальсификации, прямо говорящим о верификации и фальсификации, является утверждение: «Если верифицировано высказывание (если А, то В) и фальсифицировано высказывание В, то фальсифицировано высказывание А». Высказыванием А может быть система высказываний, образующих научную теорию, а высказыванием В — одно из следствий, в частности одно из эмпирических следствий, высказывания А. Указанный принцип означает в этом случае, что если из научной теории выводится фальсифицируемое следствие, то сама теория также является фальсифицированной.

Модальный аналог принципа фальсификации является следствием принципа фальсификации в рамках простой логической теории модальностей «верифицировано» и «фальсифицировано». Если отбрасывается это следствие принципа фальсификации, должен быть отброшен и сам данный принцип.

Как только осознается неуниверсальность опровержения, следующего исключительно принципу фальсификации, фальсификационизм утрачивает остатки своей убедительности.

6. Основные виды научных споров

С проблемами научной критики связана тема постоянно идущей в науке дискуссии.

Спор — столкновение противоположных мнений, или позиций, в ходе которого каждая из сторон аргументированно отстаивает свое понимание обсуждаемых проблем и стремится опровергнуть доводы другой стороны.

Спор представляет собой важное средство прояснения и разрешения вопросов, вызывающих разногласия, лучшего понимания того, что

¹ См.: Ивин А. А. Логика без принципа фальсификации // Философские науки. 1987. № 3. С. 68–70.

не является в значительной мере ясным и не нашло еще убедительного обоснования. Если даже участники спора не приходят в итоге к согласию, в ходе спора они лучше уясняют как позиции другой стороны, так и свои собственные.

Эристика

Искусство ведения спора называется *эристикой*. Эристика не является отдельной наукой или разделом какой-то науки. Она представляет собой разновидность «практического искусства», подобного обучению ходьбе или музыке. Эристика получила большое распространение еще в Древней Греции в связи с расцветом политической, судебной и моральной полемики. Первоначально эристика понималась как средство отыскания истины и добра с помощью спора, она должна была учить умению убеждать других в правильности высказываемых взглядов и, соответственно, умению склонять человека к тому поведению, которое представляется нужным и целесообразным. Но постепенно эристика выродилась в обучение тому, как вести спор, чтобы достигнуть единственной цели — выиграть его любой ценой, совершенно не заботясь об истине и справедливости. Широкое хождение получили разнообразные некорректные приемы достижения победы в споре. Это серьезно подорвало доверие к обучению искусству спора.

Использование в споре нечестных или некорректных приемов не способно, конечно, скомпрометировать саму идею спора как интересного и важного средства достижения взаимопонимания между людьми, углубления знаний о мире. Эристика как изучение спора и обучение искусству его ведения и правомерна, и полезна, но только при условии, что целью спора считается установление истины и добра, а не просто победа любой ценой.

Корректные и некорректные приемы спора

Тактические приемы, помогающие выиграть спор, можно разделить на *корректные* и *некорректные*. Первые носят преимущественно технический характер, в них есть элемент хитрости, но нет прямого обмана. Приемы второго рода — это разнообразные обманные действия.

Частый, но явно некорректный прием в споре — так называемая «подмена тезиса». Вместо того чтобы обосновать выдвигаемое положение, приводятся аргументы в пользу другого утверждения, выдвигаемого вместо того, которое требовалось доказать. К примеру, надо показать, что на осине не могут расти яблоки; вместо этого доказывается, что они растут обычно на яблоне, и не встречаются ни на груше, ни на вишне. Еще один некорректный прием — использование ложных и недоказанных аргументов в надежде на то, что противная сторона этого не заметит.

Недопустимы в споре и такие уловки, как умышленный уход от темы, длинные разглагольствования о вещах, не имеющих никакого отно-

щения к обсуждаемым вопросам, попытки запутать основную мысль в чаще всяких деталей и подробностей, чтобы затем незаметно направить внимание участников спора на то, что кажется выигрышным, и т. п.

Споры об описаниях и споры об оценках

То, что называется общим именем «спор», имеет несколько вариантов. Прежде всего споры делятся на те, в которых допускаются только корректные приемы ведения спора, и те, в которых используются также некорректные приемы ведения спора. Далее, споры можно подразделить на те, целью которых является *достижение истины*, и те, конечной целью которых является *победа* над противником. Большим упрощением было бы думать, что целью каждого спора может быть только истина или, по меньшей мере, достижение общего согласия по нерешенным проблемам, оказавшимся источником спора. Человек — не только разумное и познающее, но и действующее существо. Действие — это всегда успех или неуспех, удача или неудача. Наивно представлять дело так, что успех достигается только теми, кто ориентируется на истину, и что неудача — неизбежный удел тех, кто не особенно считается с нею. Иногда, и нередко, успех достигается и неправыми средствами.

Действие невозможно без оценок: утверждений целей, норм, образцов, идеалов и т. п. Истина является свойством описаний, и спор о ней — это спор о соответствии описания реальному положению дел. Споры об оценках, направляющих действие, не относятся к спорам об истине, поскольку оценки не являются ни истинными, ни ложными. Такие споры ведутся с намерением утвердить свою систему ценностей.

Имеются, таким образом, *споры об описаниях* и *споры об оценках*. Конечной целью первых является истина, т. е. достижение описания, отвечающего реальности. Цель споров об оценках — утверждение каких-то оценок и, соответственно, принятие конкретного, определяемого ими направления будущей деятельности. Слово «победа» прямо относится только к спорам об оценках и выражаемых ими ценностях. Победа — это утверждение одной из противостоящих друг другу систем ценностей. В спорах об истине о победе одной из спорящих сторон можно говорить лишь в переносном смысле: когда в результате спора открывается истина, она делается достоянием обеих спорящих сторон, и «победа» одной из них имеет чисто психологический характер.

Четыре вида споров

Таким образом, по своей цели споры делятся на преследующие истину и преследующие победу над противоположной стороной. По своим средствам они подразделяются на использующие только корректные приемы и использующие также разнообразные некорректные приемы. Объединяя эти два деления споров, получаем четыре их разновидности.

Дискуссия — спор, направленный на достижение истины и использующий только корректные приемы ведения спора.

Пolemика — спор, направленный на победу над противоположной стороной и использующий только корректные приемы.

Эклектика — спор, имеющий своей целью достижение истины, но использующий для этого и некорректные приемы.

Софистика — спор, имеющий своей целью достижение победы над противоположной стороной с использованием как корректных, так и некорректных приемов.

Приято считать, что всякий научный спор является дискуссией, т. е. спором, направленным на отыскание истины и использующим только корректные приемы. На самом деле это не так. В реальной науке используются споры всех четырех возможных видов, хотя отношение к ним является разным. Во многом оно зависит от области науки и от того, насколько тема спора затрагивает реальные интересы его участников и существующие острые социальные проблемы.

Дискуссия — одна из важнейших форм научной коммуникации, метод решения спорных проблем и своеобразный способ познания. Она позволяет лучше понять то, что не является в полной мере ясным и не нашло еще убедительного обоснования. И если даже участники дискуссии не приходят в итоге к согласию, они определенно достигают в ходе дискуссии лучшего взаимопонимания. Польза дискуссии еще и в том, что она уменьшает момент субъективности. Убеждения отдельного человека или группы людей она сообщает общую поддержку и тем самым определенную обоснованность. Непосредственная задача дискуссии — достижение определенной степени согласия ее участников относительно дискутируемого тезиса. Используемые в дискуссии средства должны, как правило, признаваться всеми, кто принимает в ней участие. Употребление средств другого рода ведет обычно к обрыву дискуссии.

Споры в науках о природе имеют обычно форму дискуссии. Но если на этих спорах сказываются внешние для существа дела социальные и личностные факторы, такие споры могут приобретать форму, весьма далекую от научной дискуссии. В частности, тянувшиеся десятилетия споры по поводу биологических идей Т. Д. Лысенко никогда не имели формы дискуссии. Чаще всего эти споры являлись эклектикой, а иногда и просто софистикой. Н. С. Хрущев, в конце 50-х гг. неожиданно взявшийся защищать «учение Лысенко», однажды заметил: «Как все эти биологи смеют нападать на такого известного ученого? У него одного больше правительственных наград, чем у них всех, вместе взятых». Довод подобного рода — типичный прием софистического спора.

Пolemика, во многом подобная дискуссии, существенно отличается от последней в отношении как своей цели, так и применяемых средств. Цель полемики — не достижение согласия, а победа над другой сторо-

ной, утверждение собственной точки зрения. Средства, употребляемые в полемике, должны быть корректными, но они не обязательно должны быть настолько нейтральными, чтобы с ними соглашались все участники. Каждый из них применяет такие приемы, которые находит нужными для достижения победы, и не считается с тем, насколько они соответствуют представлениям других участников полемики о допустимых приемах спора.

Споры в философии между представителями разных философских школ, многие споры в социальных науках, особенно те споры, в которых затрагиваются интересы больших социальных групп, являются, как правило, не дискуссией, а полемикой. В таких спорах разговор об истине носит внешний характер, а на самом деле речь идет о ценностях и об утверждении собственной системы оценок, хотя и корректными, типичными для науки приемами.

Возможность эклектических споров в науке

Спор об истине, использующий и некорректные приемы, именуется «эклектикой» на том основании, что такие приемы плохо согласуются с самой природой истины. Скажем, расточая комплименты всем участникам спора или, напротив, угрожая им силой, можно склонить их к мнению, что 137 — простое число. Но выигрывает ли сама истина при таком способе ее утверждения? Вряд ли.

Тем не менее эклектические споры, в которых истина поддерживается чужеродными ей средствами, существуют, и они не столь редки, как это может показаться. Они встречаются даже в естественных науках, особенно в период формирования новых научных теорий, когда осваивается новая проблематика и еще недостижим синтез разрозненных фактов, представлений и гипотез в единую систему. Известно, например, что Галилей, отстаивая когда-то гелиоцентрическую систему Коперника, победил благодаря, не в последнюю очередь, своему стилю и блестящей технике убеждения. Он писал на итальянском языке, а не на быстро устаревавшей латыни, и обращался напрямую к людям, пылко протестовавшим против старых идей и связанных с ними канонов обучения. Вовлечение в спор большого числа людей, не способных составить ясное представление о предмете спора, — типичный некорректный, пропагандистский прием, именуемый обычно «аргументом к публике». Для самой истины безразлично, на каком языке она излагается и какие конкретно люди ее поддерживают. Тем не менее пропагандистские аргументы Галилея также сыграли позитивную роль в распространении и укреплении гипотезы Коперника.

Одну естественную интерпретацию, пишет П. Фейерабенд, Галилей замещает другой, весьма отличной от первой и казавшейся в то время (1630 г.) не совсем естественной. Как он это делает? Как ему удастся ввести казавшиеся тогда абсурдными утверждения, например утверждение о движении Земли, и добиться того, чтобы его внимательно вы-

слушали? Он предчувствует, что одних рассуждений будет недостаточно (интересно и в высшей степени важно ограничение рационализма) и что его высказывания на самом деле лишь по видимости представляют собой последовательные рассуждения. Галилей прибегает к пропаганде. Он пользуется психологическими хитростями, дополняя ими разумные основания¹. Применение этих хитростей оказалось очень успешным и привело Галилея к победе.

Но эти же хитрости замаскировали новый подход Галилея к опыту и на столетия задержали возникновение здоровой философии. Они скрыли, по мнению Фейерабенда, тот факт, что опыт, на котором Галилей намеревался обосновать коперниканскую концепцию, являлся не чем иным, как плодом его собственного богатого воображения и был, в сущности, изобретен им. Хитрости скрыли это и внушили мысль, что радикально новые результаты всем хорошо известны и всеми признаны и осталось только привлечь общее внимание к наиболее очевидному выражению истины.

Защита принципа относительности осуществлялась Галилеем двумя способами. Во-первых, показывалось, что этот принцип помогает Копернику, что явно не являлось корректным доводом. Во-вторых, указывалось, что этот принцип хорошо согласуется со здравым смыслом. «Не было приведено ни одного независимого аргумента в пользу справедливости этого принципа, — пишет Фейерабэнд. — Обоснование Галилеем принципа круговой инерции носит точно такой же характер. Галилей вводит этот принцип, ссылаясь опять-таки не на эксперимент или независимое наблюдение, а на то, что, как считается, известно каждому»².

Научная истина рождается в споре, и утверждается она в конечном счете с помощью корректных средств. Но наука делается живыми людьми, на которых оказывают воздействие и некорректные приемы. Неудивительно поэтому, что в спорах об истине иногда возникает искушение воспользоваться какими-то мягкими формами таких приемов.

Отношение к эклектике как разновидности спора должно быть взвешенным и учитывающим ситуацию, в которой для защиты еще не для всех очевидной истины используются и не вполне корректные средства.

И недопустимость софистических споров

Что заслуживает безусловного осуждения, так это софистика — спор, в котором для достижения победы над противником используются любые средства, включая и заведомо некорректные. Софистические споры неприемлемы в науке.

¹ См. *Фейерабэнд П. Против методологического принуждения // Он же. Избранные труды по методологии науки. М., 1986. С. 216.*

² Там же. С. 227.

Всякий спор опирается на определенные предпосылки, беспредпосылочных споров не существует. Общность базиса обеспечивает начальное взаимопонимание спорящих, дает ту площадку, на которой только и может развернуться противоборство. Те, кто совершенно не понимают друг друга, не способны спорить, точно так же, как они не способны прийти к согласию.

В Средние века говорили: «С еретиками не спорят, их сжигают». Оставив меру наказания еретиков на совести того времени, когда нравы были суровыми, можно отметить, что первая же часть этой поговорки, говорящая о невозможности или, скорее, о нереальности спора с еретиками, в своей основе верна. Еретиком является тот, кто отвергает некоторые основополагающие принципы, отказывается принять единый для данной среды базис, лежащий в основе форм ее жизни и коммуникации. С таким человеком спор действительно нереален.

Для спора нужна известная общность позиций противостоящих сторон, уходящая своими корнями в их чувства, веру и интуицию. Если такой общности нет и ничто не кажется сторонам одинаково очевидным, то нет и возможности для спора. Трудно, к примеру, дискутировать о деталях второго пришествия Христа с теми, кто отрицает существование бога или верит в Будду; того, кто не верит во внеземные цивилизации, вряд ли удастся увлечь спором о внешнем облике инопланетян.

Глава 8

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ

1. Виды обоснования

Допускаемые научным методом способы обоснования образуют определенную *иерархию*, вершиной которой является *эмпирическая аргументация* (прямое и косвенное подтверждение в опыте и др.). Далее следует *теоретическая аргументация* (дедуктивная и системная аргументация, методологическая аргументация и др.). Что касается *контекстуальной аргументации* (ссылок на традицию, авторитеты, веру, здравый смысл, вкус и т. п.), она считается менее убедительной, а в устоявшейся и хорошо подкреплённой опытом теории она иногда оценивается как сомнительный прием научного обоснования.

И вместе с тем без контекстуальных, зависящих от аудитории аргументов не способны обходиться ни гуманитарные, ни социальные науки, поскольку «все наше историческое конечное бытие определяется постоянным господством унаследованного от предков — а не только понятого на разумных основаниях — над нашими поступками и делами» (Х. Г. Гадамер). Контекстуальная аргументация применяется и в естественных науках, что нетрудно обнаружить, если рассматривать эти науки не в статике (как они излагаются в учебниках), а в процессе их развития. Аргументы к научной традиции, к классике, к интуиции, к здравому смыслу и т. п. вполне приемлемы на начальных этапах развития естественно-научных теорий.

Научный метод не содержит правил, не имеющих или в принципе не допускающих исключений. Все его правила условны и могут нарушаться даже при выполнении их условия. Любое правило может оказаться полезным при проведении научного исследования. Точно так же любой прием аргументации может оказать воздействие на убеждения научного сообщества.

Классификация способов обоснования

Проблема систематизации разнообразных, а во многом и разнообразных способов обоснования остается пока мало исследованной. Излагаемая далее их классификация является только первым подходом к этой сложной теме¹.

В качестве основания классификации далее используется *характер аудитории*, на которую распространяется воздействие аргументации. Все способы аргументации по этому основанию можно разделить на *универсальные* и *неуниверсальные* (контекстуальные).

¹ Более детальный анализ способов аргументации (убеждения) см. в работах: Ивин А. А. Теория аргументации. М., 2000; Ивин А. А. Основы теории аргументации. М., 2006.

Универсальная аргументация, в принципе, применима и эффективна в любой аудитории. К универсальным способам аргументации относятся прямое (эмпирическое) подтверждение, косвенное эмпирическое подтверждение (в частности, подтверждение следствий), многообразные способы теоретической аргументации: логическое обоснование, системная аргументация, методологическая аргументация и др.

Контекстуальная (неуниверсальная) аргументация эффективна лишь в определенных аудиториях. Контекстуальные способы обоснования охватывают аргументы к традиции и авторитету, к интуиции и вере, к здравому смыслу и вкусу и др.

Универсальные способы обоснования иногда характеризуются как «рациональные», а контекстуальные — как «нерациональные» или даже как «иррациональные». Такое различие не является, как будет ясно из дальнейшего, оправданным. Оно резко сужает сферу «рационального», исключая из нее большую часть гуманитарных и практических рассуждений, немыслимых без использования «классики» (авторитетов), продолжения традиции, апелляции к здравому смыслу, вкусу и т. п. Контекстуальное обоснование должно быть принято как необходимый составной элемент рациональной аргументации. Этого требует правильное понимание той конечности, которая господствует над человеческим бытием и историческим сознанием: человек погружен в историю, особенности его мышления и сам горизонт его мышления определяются эпохой.

Все многообразные способы универсального обоснования можно разделить на *эмпирические* и *теоретические*.

Эмпирическое обоснование представляет собой аргументацию, неотъемлемым элементом которой является ссылка на опыт, на эмпирические данные.

Теоретическое обоснование — аргументация, опирающаяся на рассуждение и не пользующаяся непосредственно ссылками на опыт.

Различие между эмпирическим и теоретическим обоснованиями относительно, как относительно сама граница между эмпирическим и теоретическим знаниями. Нередки случаи, когда в одном и том же процессе аргументации соединяются и ссылки на опыт, и теоретические рассуждения.

Способы эмпирического обоснования знания называются также *эмпирическим подтверждением*, или *верификацией*. Подтверждение может быть *прямым*, или *непосредственным*, и *косвенным*.

Эмпирическое обоснование применимо, строго говоря, только для поддержки описательных утверждений. Оценки, нормы, декларации, клятвы, предостережения, решения, идеалы и иные выражения, тяготеющие к оценкам, не допускают эмпирического подтверждения и обосновываются иначе, чем ссылками на опыт. В случае таких выражений вообще неуместна эмпирическая аргументация. Ее исполь-

зование с намерением убедить кого-то в приемлемости определенных решений, норм, идеалов и т. п. следует отнести к некорректным приемам аргументации.

Эмпирические данные могут использоваться не только для подтверждения утверждений и теорий, но и для их *эмпирического опровержения*, или *фальсификации*. Неудавшаяся фальсификация представляет собой ослабленную форму эмпирического подтверждения. Слабыми формами эмпирического подтверждения являются также *примеры* и *иллюстрации*.

Из разных способов теоретического обоснования особо важное значение имеют: *логическая аргументация* (выведение обосновываемого утверждения из других, ранее принятых утверждений), *системная аргументация* (обоснование утверждения путем включения его в хорошо проверенную систему утверждений, или теорию), *принципиальная проверяемость* и *принципиальная опровержимость* (демонстрация принципиальной возможности эмпирического подтверждения и эмпирического опровержения обосновываемого утверждения), *условие совместимости* (показ того, что обосновываемое положение находится в хорошем согласии с законами, принципами и теориями, относящимися к исследуемой области явлений), *методологическая аргументация* (обоснование утверждения путем ссылки на тот надежный метод, с помощью которого оно получено).

2. Эмпирическое обоснование: прямое подтверждение

Пять органов чувств человека — зрение, слух, осязание, обоняние и вкус — являются теми окнами, через которые человек воспринимает окружающий его мир. Данные этого восприятия составляют конечную основу и фундамент человеческого знания. Никаких других — «шестых», «седьмых» и т. п. — чувств, способных служить источниками знания о мере, не существует.

Всякая наука претендует на эмпирическое или подобное ему подтверждение, на соответствие своих теорий реальному положению вещей и реальной человеческой деятельности. Исключением из этого общего требования к научному знанию не являются ни социальные и гуманитарные науки, ни математика и логика, ни даже нормативные науки. Характер соответствия утверждений изучаемой реальности меняется вместе с изменением этой реальности и изменением тех требований, которые предъявляются к результатам ее исследования, но само *требование соответствия* научной теории эмпирическим данным всегда остается в силе.

Прямое подтверждение — это непосредственное наблюдение тех явлений, о которых говорится в обосновываемом утверждении.

Хорошим примером прямого подтверждения служит доказательство гипотезы о существовании планеты Нептун. Французский астроном

Ж. Леверье, изучая возмущения в орбите Урана, теоретически предсказал существование Нептуна и указал, куда надо направить телескопы, чтобы увидеть новую планету. Когда самому Леверье предложили посмотреть в телескоп, чтобы убедиться, что найденная на «кончике пера» планета существует, он отказался: «Это меня не интересует, я и так точно знаю, что Нептун находится именно там, где и должен находиться, судя по вычислениям».

Это была, конечно, неоправданная самоуверенность. Как бы ни были точны вычисления Леверье, до момента непосредственного наблюдения утверждение о существовании Нептуна оставалось пусть высоковероятным, но только предположением, а не достоверным фактом. Могло оказаться, что возмущения в орбите Урана вызываются не неизвестной пока планетой, а какими-то иными факторами. Именно так и оказалось при исследовании возмущений в орбите другой планеты — Меркурия.

Теоретическая нагруженность фактов

Чувственный опыт человека — его ощущения и восприятия — источник знания, связывающий его с миром. Обоснование путем ссылки на опыт дает уверенность в истинности таких утверждений, как «Эта роза красная», «Холодно», «Стрелка вольтметра стоит на отметке 17» и т. п. Нетрудно, однако, заметить, что даже в таких простых констатациях нет «чистого» чувственного созерцания. У человека оно всегда пронизано мышлением, без понятий и без примеси рассуждения он не способен выразить даже самые простые свои наблюдения, зафиксировать самые очевидные факты. Например, мы говорим: «Этот дом голубой», — когда видим дом при нормальном освещении и наши чувства не расстроены. Но мы скажем «Этот дом кажется голубым», если мало света или мы сомневаемся в нашей способности или возможности наблюдения. К восприятию, к чувственным данным мы примешиваем определенное теоретическое представление о том, какими видятся предметы в обычных условиях и каковы эти предметы в других обстоятельствах, когда наши чувства способны нас обмануть. «Такого явления, как *чистый* опыт, полученный в результате эксперимента или наблюдения, — пишет К. Поппер, — просто не существует. Нет опыта, не содержащего соответствующих ожиданий и теорий. Нет никаких чистых «данных» и эмпирически данных «источников знания», на которые мы могли бы опереться при проведении нашей критики»¹.

Наблюдение всегда имеет избирательный характер. Из множества объектов должен быть выбран один или немногие, должна быть сформулирована проблема или задача, ради решения которой осуществляется

¹ Поппер К. Логика и рост научного знания // Избранные работы. М., 1983. С. 405.

наблюдение. Описание результатов наблюдения предполагает использование соответствующего языка, а значит, всех тех сходств и классификаций, которые заложены в этом языке.

Опыт — от самого простого обыденного наблюдения и до сложного научного эксперимента — всегда имеет теоретическую составляющую и в этом смысле не является «чистым». На опыте сказываются те теоретические ожидания, которые он призван подтвердить или опровергнуть, тот язык, в терминах которого фиксируются его результаты, и та постоянно присутствующая интерпретация видимого, слышимого и т. д., без которой человек не способен видеть, слышать и т. д.

Теоретическая нагруженность фактов особенно наглядно проявляется в современной физике, исследующей объекты, не наблюдаемые непосредственно, и широко использующей для их описания математический аппарат. Истолкование фактов, относящихся к таким объектам, представляет собой самостоятельную и иногда весьма сложную проблему.

Относительная надежность опыта

Таким образом, неопровержимость чувственного опыта, фактов относительна. Нередки случаи, когда факты, представлявшиеся поначалу достоверными, при их теоретическом переосмыслении пересматривались, уточнялись, а то и вовсе отбрасывались. Иногда говорят, что гипотеза должна быть в согласии со всеми известными фактами. Но правильнее было бы сказать — быть в таком согласии, или быть в состоянии обнаружить несостоятельность того, что неверно признается за факты и находится в противоречии с нею.

Кажется, например, несомненным, что если между экраном и точечным источником света поместить непрозрачный диск, то на экране образуется сплошной темный круг тени, отбрасываемый этим диском. Во всяком случае, в начале XIX в. это представлялось очевидным фактом. Французский физик О. Френель выдвинул гипотезу, что свет — не поток частиц, а движение волн. Из гипотезы следовало, что в центре тени должно быть небольшое светлое пятно, поскольку волны, в отличие от частиц, способны огибать края диска. Получалось явное противоречие между гипотезой и фактом. В дальнейшем более тщательно поставленные опыты показали, что в центре тени действительно образуется светлое пятно. В итоге отброшенной оказалась не гипотеза Френеля, а казавшийся очевидным факт.

Особенно сложно обстоит дело с фактами в науках о человеке и обществе. Проблема, во-первых, в том, что некоторые факты могут оказаться сомнительными и даже просто несостоятельными, а во-вторых, в том, что полное значение факта и его конкретный смысл могут быть поняты только в определенном теоретическом контексте, при рассмотрении факта с какой-то общей точки зрения.

Чувственный опыт, служащий конечным источником и критерием знания, сам не однозначен, содержит компоненты теоретического знания и потому нуждается в правильном истолковании, а иногда и в особом обосновании. Опыт не обладает абсолютным, неопровержимым статусом, он может по-разному интерпретироваться и даже пересматриваться. Именно в силу этого обстоятельства говорится, что не только теоретическое знание по своей природе гипотетично и никогда не станет абсолютно надежным, но и те эмпирические данные, что лежат в его основании, также гипотетичны и периодически требуют пересмотра и нового подтверждения.

3. Эмпирическое обоснование: косвенное подтверждение

При *косвенном подтверждении* речь идет о подтверждении логических следствий обосновываемого утверждения, а не о прямом подтверждении самого утверждения.

Подтверждение следствий является наиболее важным и вместе с тем универсальным способом эмпирического подтверждения.

Два элементарных примера такого подтверждения.

Тот, кто ясно мыслит, ясно говорит. Пробным камнем ясного мышления является умение передать свои знания кому-то другому, возможно, далекому от обсуждаемого предмета. Если человек обладает таким умением и его речь ясна и убедительна, это можно считать подтверждением того, что его мышление является ясным.

Известно, что сильно охлажденный предмет в теплом помещении покрывается капельками росы. Если мы видим, что у человека, вошедшего в дом, запотели очки, мы можем с достаточной уверенностью заключить, что на улице морозно.

В каждом из этих примеров рассуждение идет по схеме: «Если есть первое, то имеет место второе; второе имеет место; значит, по всей вероятности, есть и первое». Например, «Если на улице мороз, у человека, вошедшего в дом, очки запотевают; очки и в самом деле запотели; значит, вероятно, на улице мороз».

Истинность посылок не гарантирует здесь истинности заключения. Из посылок «если есть первое, то есть второе» и «есть второе» заключение «есть первое» вытекает только с некоторой вероятностью (например, человек, у которого в теплом помещении запотели очки, мог специально охладить их, скажем, в холодильнике, чтобы затем внушить нам, будто на улице сильный мороз).

Выведение следствий и их подтверждение, взятое само по себе, никогда не в состоянии установить справедливость обосновываемого положения. Подтверждение следствия только повышает его вероятность. Но ясно, что при этом далеко не безразлично, является выдвинутое положение маловероятным или же оно высокоправдоподобно. Чем

большее число следствий нашло подтверждение, тем выше вероятность проверяемого утверждения. Отсюда рекомендация — выводить из выдвигаемых и требующих надежного фундамента положений как можно больше логических следствий с целью их проверки. Значение имеет не только количество следствий, но и их характер. Чем более неожиданные следствия какого-то положения получают подтверждение, тем более сильный аргумент они дают в его поддержку. И наоборот, чем более ожидаемо в свете уже получивших подтверждение следствий новое следствие, тем меньше его вклад в обоснование проверяемого положения.

Как бы ни было велико число подтверждающих следствий и какими бы неожиданными, интересными или важными они ни оказались, положение, из которого они выведены, все равно остается только вероятным. Никакие следствия не способны сделать его истинным. Даже самое простое утверждение в принципе не может быть доказано на основе одного подтверждения вытекающих из него следствий.

Это — центральный пункт всех рассуждений об эмпирическом подтверждении. Непосредственное наблюдение того, о чем говорится в утверждении, дает уверенность в истинности последнего. Но область применения такого наблюдения является ограниченной. Подтверждение следствий — универсальный прием, применимый ко всем утверждениям. Однако прием, только повышающий правдоподобие утверждения, но не делающий его достоверным.

Важность эмпирического обоснования утверждений невозможно переоценить. Обусловлено это прежде всего тем, что конечным источником и критерием научного знания выступает опыт. Чувственный опыт связывает человека с миром, теоретическое знание — только надстройка над эмпирическим базисом. Вместе с тем опыт не является абсолютным и бесспорным гарантом неопровержимости знания. Он тоже может критиковаться, проверяться и пересматриваться. В эмпирическом базисе науки нет ничего «абсолютного». Наука не покоится на твердом фундаменте фактов. Жесткая структура ее теорий поднимается, так сказать, над болотом. Она подобна зданию, воздвигнутому на сваях. Эти сваи забиваются в болото, но не достигают никакого естественного или «данного» обоснования. Если же мы перестали забивать сваи дальше, то вовсе не потому, что достигли твердой почвы. Мы останавливаемся просто тогда, когда убеждаемся, что сваи достаточно прочны и способны, по крайней мере некоторое время, выдерживать тяжесть нашей структуры»¹.

Таким образом, если ограничить круг способов обоснования утверждений их прямым или косвенным подтверждением в опыте, то окажется непонятным, каким образом все-таки удается перехо-

¹ См.: *Поппер К.* Логика и рост научного знания. С. 382

дить от гипотез к теориям, от предположений к истинному знанию. Эмпирическое обоснование должно быть дополнено теоретическим обоснованием.

Гипотетико-дедуктивный метод

С темой косвенного подтверждения непосредственно связана тема *гипотетико-дедуктивного метода*. Долгое время значение этого метода явно переоценивалось. Он представлялся как если не единственный метод науки, то, по меньшей мере, как главный ее метод и как само воплощение научного подхода.

Гипотетико-дедуктивный метод включает три стадии: исходная точка — четко высказанные гипотезы; выведение из гипотез всех следствий и ничего, кроме следствий; сопоставление этих следствий с данными наблюдений. Теория должна или приниматься, по меньшей мере, временно, или отвергаться в соответствии с тем, согласуются или нет данные наблюдения с гипотезами и выводами из них.

Гипотетико-дедуктивный метод является методом исследования, а не методом обоснования. С точки зрения обоснования выдвижение гипотез с последующей проверкой их следствий представляет собой обычное косвенное эмпирическое подтверждение. Этот метод не является универсальным: он применим только в случае теорий, допускающих выделение основных принципов и четкое разграничение между этими принципами и всеми остальными элементами теории. Однако подавляющее большинство научных теорий не допускает не только аксиоматизации, но даже построения по «методу принципов». Социологическим, политологическим и подобным им социальным теориям, как правило, не удастся придать форму, в которой немногие основополагающие принципы и подлежащие проверке их следствия разделялись бы сколько-нибудь отчетливо. Об использовании «метода принципов» в гуманитарных науках, подобных истории и психологии, вообще не может быть речи. И наконец, процесс обоснования теории, построенной по «методу принципов», вовсе не сводится к простой проверке вытекающих из них эмпирических следствий. Этот процесс всегда включает теоретическое обоснование и нередко также контекстуальное обоснование.

Эмпирическое обоснование в формальных науках

Подчинение опытным данным является золотым правилом, главенствующим в любой научной дисциплине. Именно оно объясняет необычайный успех науки за последние три столетия. Это правило является одним и тем же как для экономической, так и для физической науки. Никакая теория не может быть принята, если она не подтверждается эмпирическими данными.

Вместе с тем имеются серьезные трудности на пути приложения принципа доминирующей роли эмпирического подтверждения к формальным наукам — математике и логике. Не вдаваясь в детали, по этому поводу можно сказать следующее. Косвенное эмпирическое подтверждение играет особую роль и в обосновании утверждений формальных наук, однако сама процедура такого подтверждения является в данных науках чрезвычайно сложной и обычно растянутой во времени. Она включает два разнородных этапа. На первом из них критерием истинности утверждения является не соответствие его реальности, а соответствие его логической или математической интуиции и принятым в логике или математике принципам. Второй этап предполагает включение конкретной логической или математической теории в состав концепции, допускающей прямое или косвенное эмпирическое подтверждение. Только в результате проверки такой концепции логическая или математическая теория способна получить опосредствованное эмпирическое подтверждение.

Следует подчеркнуть, что в этом плане положения логики и математики не отличаются от самых общих научных принципов. Такие принципы тоже не допускают непосредственного сопоставления с опытом и подтверждаются эмпирически лишь в составе конкретных научных теорий, допускающих сопоставление с опытом.

Математическое утверждение получает статус «математической истины», как только выясняется, что оно не противоречит ным доказанным положениям математики. Иными словами, на первых порах истина в математике понимается как когеренция, т. е. как согласие нового положения с ранее принятыми утверждениями. Большая часть того, что доказывается в математике и считается «математической истинной», так и остается в этом статусе «внутреннего согласования», не находя никакого применения в научных теориях, допускающих эмпирическое подтверждение.

Лишь очень немногие математические результаты оказываются востребованными научными теориями, допускающими сопоставление с опытом. Эмпирическое подтверждение таких теорий означает, что используемые в них математические построения оказываются истинными не только в смысле когеренции, но и в смысле корреспонденции — согласия не только с математикой в целом, но и с существующей вне ее реальностью.

Математика представляет собой динамическое единство, в котором отдельные разделы и теории существуют только в многообразных и постоянно обновляющихся связях с другими разделами математики. Установление соответствия научной теории опыту означает в определенном смысле соответствие опыту и того математического аппарата, который используется в этой теории. Одновременно с опытом оказываются связанными, хотя и косвенно, также все те математические истины, которые тем или иным образом связаны в рамках математики

с тем ее фрагментом, который нашел эмпирическое приложение в рамках конкретно-научной теории.

Математика и логика опираются в конечном счете на опыт, хотя их связь с эмпирией не является прямой и всегда опосредствуется многими промежуточными звеньями.

4. Теоретическое обоснование

Теоретическое обоснование не предполагает ссылки на опыт и имеет несколько разных форм.

Логическое обоснование

Логическое, или дедуктивное, обоснование — это выведение обосновываемого положения из нных, ранее принятых утверждений. Если выдвинутое положение удастся логически (дедуктивно) вывести из уже установленных положений, это означает, что оно приемлемо в той же мере, что и сами эти положения.

Допустим, кто-то отстаивает идею, что никаких надежных концепций нет. Однако сама эта идея выражает как раз такую концепцию. Ошибочному мнению, что надежных концепций нет, можно противопоставить его отрицание: есть, по меньшей мере, одна такая концепция, а именно концепция, что надежных концепций нет. Отсюда следует, что такие концепции существуют.

Обоснование утверждения путем выведения его из других принятых положений не делает это утверждение абсолютно достоверным и неопровержимым. Но такое обоснование в полной мере переносит на него ту степень достоверности, которая присуща положениям, принимаемым в качестве посылок дедукции.

Удельный вес дедуктивного обоснования в разных областях знания существенно различен. Очень широко оно используется в математике и математической физике и только эпизодически в истории и философии. Дедуктивное обоснование является очень сильным средством, но, как и всякое такое средство, оно может быть использовано только в узких областях. В зависимости от того, насколько широко применяется дедуктивное обоснование, все науки принято делить на *дедуктивные* и *индуктивные*. В первых используется по преимуществу или даже единственно логическое обоснование. Во вторых такое обоснование играет лишь заведомо вспомогательную роль, а на первом месте стоит эмпирическое обоснование, имеющее индуктивный, вероятностный характер. Типично дедуктивной наукой считается математика, образцом индуктивных наук являются естественные науки.

Деление наук на дедуктивные и индуктивные, широко распространенное еще несколько десятилетий назад, сейчас во многом

утратило свое былое значение. Оно ориентировано на науку, рассматриваемую в статике, прежде всего как систему надежно установленных истин.

Системное обоснование

Трудно указать утверждение, которое обосновывалось бы само по себе, в изоляции от других положений. Обоснование всегда носит системный характер. Включение нового положения в систему других положений, придающих устойчивость своим элементам, является одним из наиболее существенных шагов в его обосновании.

Системное обоснование — обоснование утверждения путем включения его в качестве составного элемента в кажущуюся хорошо обоснованной систему утверждений или теорию.

Подтверждение следствий, вытекающих из теории, является одновременно и подкреплением самой теории. С другой стороны, теория сообщает выдвинутому на ее основе положениям определенные импульсы и силу и тем самым содействует их обоснованию. Утверждение, ставшее элементом теории, опирается уже не только на отдельные факты, но и во многом также на широкий круг явлений, объясняемых теорией, на предсказание ей новых, ранее неизвестных эффектов, на связи ее с другими теориями и т. д. Анализируемое положение, включенное в теорию, получает ту эмпирическую и теоретическую поддержку, какой обладает теория в целом.

Основания системы утверждений, замечает Витгенштейн, не поддерживают эту систему, но сами поддерживаются ею. Это значит, что надежность оснований определяется не ими самими по себе, а тем, что над ними может быть надстроена целостная теоретическая система.

Принципиальная проверяемость и опровержимость

Еще одним способом теоретического обоснования является анализ утверждения с точки зрения возможности эмпирического его подтверждения и опровержения. От научных положений требуется, чтобы они допускали принципиальную возможность своего опровержения и предполагали определенные процедуры своего подтверждения. Если этого нет, относительно выдвинутого положения нельзя сказать, какие ситуации и факты несовместимы с ним, а какие — поддерживают его. Положение, в принципе не допускающее опровержения и подтверждения, оказывается вне конструктивной критики, оно не намечает никаких реальных путей дальнейшего исследования. Такое утверждение нельзя, конечно, признать обоснованным.

Вряд ли можно назвать обоснованным, допустим, предположение, что ровно через десять лет в этом же месте будет солнечно и сухо. Оно не опирается ни на какие факты, нельзя даже представить, как можно

было бы опровергнуть или подтвердить его, если не сейчас, то хотя бы в недалеком будущем.

«Душа не может прыгнуть выше самой себя, — пишет К. Г. Юнг, — то есть не может устанавливать какие-либо абсолютные истины; ибо ее собственная полярность обуславливает релятивность ее высказываний. Когда душа провозглашает абсолютные истины, как, например, «Вечная сущность есть Единое», она впадает в те или иные противоречия. Ведь с одинаковым успехом могли бы значиться: «Вечная сущность есть покой» или «Вечная сущность есть Все». В своей односторонности душа разрушает самое себя и утрачивает способность познавать»¹. Приводимые Юнгом суждения о «вечной сущности» явно не допускают даже в принципе эмпирического подтверждения или опровержения. Нельзя надеяться также на то, что когда-то удастся эмпирически подтвердить или опровергнуть и такие, высказываемые самим Юнгом суждения: «Неверно, будто наше восприятие способно охватить все формы существования» и «То, что душа может сама высказать о себе, никогда не превосходит ее самое»².

Не допускающая фальсификации теория не налагает никаких ограничений на описываемую ею область явлений и обладает неограниченными объяснительными возможностями. «Я обнаружил, — пишет Поппер, — что те из моих друзей, которые были поклонниками Маркса, Фрейда и Адлера, находились под впечатлением некоторых моментов, общих для этих теорий, в частности под впечатлением их явной объяснительной силы. Казалось, эти теории способны объяснить практически все, что происходило в той области, которую они описывали. Изучение любой из них будто приводило к полному духовному перерождению или к откровению, раскрывающему наши глаза на новые истины, скрытые от непосвященных». Раз ваши глаза были однажды раскрыты, вы будете видеть подтверждающие примеры всюду: мир полон верификациями теории. Все, что происходит, подтверждает ее. Поэтому истинность теории кажется очевидной, и сомневающиеся в ней выглядят людьми, отказывающимися признать очевидную истину либо потому, что она несовместима с их классовыми интересами, либо в силу присущей им подавленности, непонятой до сих пор и нуждающейся в лечении»³. Непрерывный поток подтверждений и наблюдений, «верифицирующих» теорию, является выражением не силы, а, наоборот, слабости этой теории.

Положения, в принципе не допускающие проверки, надо, конечно, отличать от утверждений, непроверяемых лишь сегодня, на нынешнем уровне развития науки. Сто с небольшим лет назад представлялось очевидным, что мы никогда не узнаем химического состава отдален-

¹ Юнг К. Г. Поздние мысли // Феномен духа в искусстве и науке. М., 1992. С. 298.

² Там же. С. 299.

³ Поппер К. Логика и рост научного знания. С. 242.

ных небесных тел. Различные гипотезы на этот счет казались принципиально непроверяемыми. Но после создания спектроскопии они сделались не только проверяемыми, но и перестали быть гипотезами, превратившись в экспериментально устанавливаемые факты. В начале XVI в. Фрекасторо предположил, что некоторые болезни переносятся мельчайшими существами, невидимыми невооруженным глазом. До открытия микроскопа это предположение оставалось только абстрактной гипотезой. О ней нельзя было, однако, сказать, что она не допускает эмпирической проверки в будущем.

Утверждения, не допускающие проверки, не отбрасываются сразу, если в принципе остается возможность проверки их в будущем. Но обычно такие утверждения не становятся предметом серьезных научных дискуссий. Так обстоит дело, к примеру, с предположением о существовании внеземных цивилизаций, практическая возможность проверки которого пока что ничтожна.

Требование принципиальной фальсифицируемости является важным, но в реальной практике его непросто приложить. Оно предполагает, с одной стороны, изолированность теоретических утверждений и — с другой — наличие абсолютно непроблематичных наблюдений. Но любое теоретическое утверждение связано с другими подобными утверждениями и зависит от них. Наблюдения теоретически нагружены, и для установления их смысла необходимы некоторые теоретические допущения. Исследователь никогда не оказывается в ситуации, когда он может сравнивать изолированное теоретическое утверждение с ничем не опосредованным миром. Далее, требование фальсифицируемости предполагает, что утверждения, сопоставляемые с опытом, формулируются с помощью достаточно определенных терминов, чтобы исключить сомнения в том, противоречат данные утверждения каким-то фактам или нет. Этому предположению не удовлетворяют многие гипотезы, особенно в социальных и гуманитарных науках. Допустим, кто-то утверждает, что все поступки совершаются исключительно из эгоистических побуждений. До тех пор, пока понятие эгоизма не будет должным образом уточнено, выдвинутая гипотеза будет неуязвимой для критики. Каждый контрпример поведения, кажущегося альтруистическим, можно истолковывать, смещая смысл слова «эгоистический», как подтверждение глубинного эгоизма, находящего в альтруизме свое парадоксальное выражение. И наконец, требование фальсифицируемости трудно применить в таких науках, как математика и логика. Принято считать, что их суждения необходимо истинны. Как можно сопоставить их с эмпирическими данными? Какие «факты» можно противопоставить математической или логической теории? На эти вопросы нет ясных ответов. Математика и логика опираются в конечном счете на опыт, но это — совокупный опыт познания, не допускающий расчленения на отдельные «факты».

5. Контекстуальное обоснование

Универсальные приемы обоснования применимы в любой аудитории, контекстуальное обоснование эффективно лишь в определенных аудиториях.

Контекстуальные способы обоснования должны включаться, как уже говорилось, в число рациональных способов убеждения.

«Размышление о том, чем является истина в науках о духе, — пишет Х.-Г. Гадамер, — не должно стремиться к мыслительному выделению самого себя из исторического предания, связанность которым сделалась для него очевидной. Такое размышление должно, следовательно, поставить себе самому требование добиться от себя максимально возможной исторической ясности своих собственных посылок... Оно должно ясно сознавать, что его собственное понимание и истолкование не является чистым построением из принципов, но продолжением и развитием издалека идущего свершения. Оно не может поэтому просто и безотчетно пользоваться своими понятиями, но должно воспринять то, что дошло до него из их первоначального значения»¹.

В случае контекстуальных способов обоснования речь нужно вести, однако, не столько о «науках о духе» (науках о культуре), как это делает Гадамер, сколько о науках, истолковывающих мир не как бытие, а как становление. Именно в них всегда фигурирует «настоящее», от которого исследователь не в состоянии избавиться. Как раз они учитывают «стрелу времени», делающую контекстуальные аргументы необходимой составной частью всякого процесса обоснования. Что касается наук о культуре, то контекстуальное обоснование необходимо в них прежде всего потому, что они предполагают оценки.

Традиция

Из всех контекстуальных аргументов наиболее часто употребляемым и наиболее значимым является *аргумент к традиции*. В сущности, все контекстуальные аргументы содержат в свернутом, имплицитном виде ссылку на традицию. Признаваемые авторитеты, интуиция, вера, здравый смысл, вкус и т. п. формируются исторической традицией и не могут существовать независимо от нее.

Чуткость научного сообщества к приводимым аргументам в значительной мере определяется теми традициями, которые оно разделяет. Это верно не только для обоснования в науках о культуре, но во многом и для обоснования в науках о природе. Традиция закрепляет те наиболее общие допущения, в которые нужно верить, чтобы аргумент казался правдоподобным, создает ту предварительную установку, без которой он утрачивает свою силу.

¹ Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М., 1968. С. 176

«...Один и тот же аргумент, выражающий одно и то же отношение между понятиями и опирающийся на хорошо известные допущения, — отмечает П. Фейерабенд, — в одно время может быть признан и даже прославляться, в другое — не произвести никакого впечатления»¹.

В качестве примера Фейерабенд приводит спор между сторонниками и противниками гипотезы Коперника. Стремление Коперника разработать такую систему мироздания, в которой каждая часть вполне соответствовала бы всем другим частям и в которой ничего нельзя было бы изменить, не разрушая целого, не могло найти отклика у тех, кто был убежден, что фундаментальные законы природы открываются нам в повседневном опыте, и кто, следовательно, рассматривал полемику между Аристотелем и Коперником как решающий аргумент против идей последнего. Из анализа индивидуальных реакций на учение Коперника следует, заключает Фейерабенд, что «аргумент становится эффективным только в том случае, если он подкреплён соответствующей предварительной установкой, и лишается силы, если такая установка отсутствует... Чисто формальных аргументов не существует»².

Традиция представляет собой анонимную, стихийно сложившуюся систему образцов, норм, правил и т. п., которой руководствуется в своем поведении достаточно обширная и устойчивая группа людей.

Традиция может быть настолько широкой, чтобы охватывать все общество в определенный период его развития. Наиболее популярные традиции, как правило, не осознаются теми, кто следует им. Особенно наглядно это проявляется в так называемом «традиционном» обществе, где традициями определяются все сколько-нибудь существенные стороны социальной жизни.

Традиция является формой передачи социальных ценностей и способом воздействия прошлого на настоящее.

Традиции, как уже говорилось, имеют отчетливо выраженный двойственный, описательно-оценочный характер. В них аккумулируется предшествующий опыт успешной деятельности, и они оказываются своеобразным его выражением. С другой стороны, они представляют собой проект и предписание будущего поведения. Традиции являются тем, что выражает пребывание человека в историческом времени, присутствие в «настоящем» как звене, соединяющем прошлое и будущее.

Просвещение истолковывало традицию как одну из форм авторитета. На этом основании был выдвинут общий лозунг преодоления всех предрассудков и прежде всего предрассудков авторитета и предрассудков поспешности. Поспешность — источник ошибок, возникающих при пользовании собственным разумом. Она может быть устранена или

¹ Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986. С. 469.

² Там же.

скорректирована путем методически дисциплинированного употребления разума. Предвззсудки авторитета проистекают из того, что люди вообще не пользуются собственным разумом, передоверяя способность рассуждать авторитету. И эти предвззсудки самые опасные.

Как указывает Х.-Г. Гадамер, действительным результатом Просвещения является подчинение разуму всех авторитетов и в конечном счете их отрицание. Противоположность между верой в авторитет и использованием собственного разума сама по себе вполне оправдана. «Авторитет, если он занимает место собственных суждений, и в самом деле становится источником предвззсудков. Однако это не исключает для него возможности быть также источником истины; эту-то возможность и упустило из виду Просвещение, безоговорочно отвергнув все предвззсудки»¹. Учение о предвззсудках должно быть освобождено от просвещенческого экстремизма, вообще отрицающего авторитет как источник внеразумных суждений.

К традиции, истолкованной как разновидность авторитета, относится все, что касается авторитета вообще.

«То, что освящено преданием и обычаем, обладает безымянным авторитетом, и все наше историческое конечное бытие определяется постоянным господством унаследованного от предков — а не только понятого на разумных основаниях — над нашими поступками и делами»².

В значительной степени благодаря обычаям и преданию существуют нравы и этические установления. Все попытки основать систему морали на одном разуме остаются абстрактными. Философы, начиная с Декарта, много раз обращались к проблеме рационально обоснованной системы морали, но, в сущности, ничего или почти ничего не достигли.

Романтизм, достигший своего расцвета в начале XIX в., возвеличивал традицию и противопоставлял ее разумной свободе. Он рассматривал традицию как историческую данность, подобную данностям природы. В результате традиция оказывалась противоположностью свободного самоопределения, поскольку выступала как некая самоочевидность и не нуждалась в разумных основаниях.

На мой взгляд, пишет Гадамер, безусловной противоположности между традицией и разумом не существует. Сколь бы проблематичной ни была сознательная реставрация старых или сознательное основание новых традиций, романтическая вера в «естественные традиции», перед которыми разум якобы просто-напросто умолкает, исполнена не меньших предвззсудков и в основе своей носит просвещенческий характер³.

Истолкование Гадамером соотношения традиции и разума удачно избегает крайностей и Просвещения, и романтизма. Традиция завоевы-

¹ Гадамер Х.-Г. Истина и метод. С. 331

² Там же. С. 333.

³ Там же. С. 334.

вает свое признание, опираясь прежде всего на познание, и не требует слепого повиновения. Она не является также чем-то подобным природной данности, ограничивающей свободу действия и не допускающей критического обсуждения.

Традиция — это точка пересечения человеческой свободы и человеческой истории.

Следствием ошибочной трактовки соотношения традиции и разума является заключение о решающем влиянии традиции на убедительность аргументации. У каждой традиции имеются свои способы привлечения сторонников, пишет П. Фейерабенд. Некоторые традиции осознают эти способы и варьируют их в соответствии с особенностями той или иной группы. Другие считают, что существует лишь один способ заставить людей принять эти взгляды. В зависимости от принятой традиции этот способ будет считаться приемлемым, смехотворным, рациональным, глупым или будет отброшен как «обычная пропаганда». Один и тот же аргумент будет для одного наблюдателя лишь пропагандистской уловкой, для другого — выражением существа человеческого рассуждения¹.

Традиция действительно способна усиливать или ослаблять значение аргументов и даже производить определенную их селекцию. В первую очередь это касается контекстуальной аргументации. Но возможности традиции являются ограниченными. Она может снизить воздействие универсальной аргументации, но не способна отменить ее полностью. Точно так же она не способна превращать любой аргумент в простую пропагандистскую уловку.

Противоположность традиции и разума носит относительный характер: традиции складываются не без участия разума.

Даже самая подлинная и прочная традиция формируется не просто естественным путем, благодаря способности к самосохранению того, что имеется в наличии, но требует согласия, принятия, заботы. По существу своему, традиция — это сохранение того, что есть, сохранение, осуществляющееся при любых исторических переменах. Но такое сохранение есть акт разума, отличающийся, правда, своей незаметностью. Даже там, где жизнь меняется стремительно и резко, как, например, в революционные эпохи, при всех видимых превращениях сохраняется гораздо больше старого, чем предполагают обычно. И это старое господствует, объединяясь с новым в новое единство. Во всяком случае, сохранение старого является свободной установкой не в меньшей мере, чем переворот и обновление. Поэтому ни критика традиции, ни ее реабилитация не ухватывают ее действительного исторического бытия.

Обращение к традиции для поддержки выдвигаемых положений — обычный способ аргументации в обществах, где господствует традиционализм и где традиция ставится если не выше разума, то, по меньшей

мере, наравне с ним. В закрытых (коллективистических) обществах и сообществах с жесткой структурой аргумент к традиции является одним из самых весомых и убедительных. Это относится и к «нормальной» науке, продолжающей и развивающей определенную традицию.

Аргумент к традиции неизбежен во всех научных рассуждениях, в которые входит «настоящее» как тема обсуждения или как один из факторов, определяющих позицию исследователя. Иными словами, эксплицитное или имплицитное обращение к традиции является обычным приемом обоснования в науках о становлении, исходящих из «настоящего» и включающих не только историю, описывающую становление современного человечества, но и космологию, говорящую и формировании нынешней Вселенной. Поскольку традиция имеет не только дескриптивную, но и прескриптивную природу, социальные науки, тяготеющие к явным и неявным оценкам, так или иначе развиваются в контексте традиции.

Авторитет

Аргументу к традиции близок *аргумент к авторитету* — ссылка на мнение или действие лица, прекрасно зарекомендовавшего себя в данной области своими суждениями или поступками.

Традиция складывается стихийно и не имеет автора, авторитетом же является конкретное лицо.

Аргумент к авторитету встречается во всех областях познания и деятельности. Но если в науках о природе он представляется весомым на первых этапах развития новых теорий, то в науках о культуре аргумент к авторитету сохраняет свое значение и после того, как научная теория уже сформировалась и имеет уже достаточно твердые основания.

Наиболее част аргумент к авторитету в закрытых обществах с жесткой структурой, немислимых не только без сохранения и соблюдения определенных традиций, но и без собственных, признаваемых всеми авторитетов.

Научный авторитет обычно пользуется одновременно и признанием, и уважением. Его труды являются источником идей, определяющих направление исследований в соответствующей области знания, а его поведение представляет собой образец для подражания со стороны коллег по научному сообществу. Иными словами, научный авторитет, как правило, соединяет вместе *эпистемический авторитет* (авторитет знатока) и *деонтический авторитет* (авторитет вышестоящего лица), причем деонтический авторитет является не *авторитетом санкции*, а *авторитетом солидарности*: у следующих ему есть общая цель.

Первым суеверием, связанным с авторитетом, пишет Й. Бохеньский, является мнение, что авторитет и разум — вещи, противоречащие друг другу. На самом деле прислушиваться к авторитету — значит вести

себя вполне благоразумно, в соответствии с разумом.... Даже в науке мы прибегаем к авторитету. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратить внимание на обширные библиотеки, имеющиеся в любом научном институте. Книги в этих библиотеках чаще всего содержат обзоры научных результатов, полученных другими учеными, т. е. высказывания эпистемических авторитетов¹.

Ученые, авторитетные в какой-то области знания, выполняют ряд функций, связанных с сохранением и обновлением ценностей, структур знания, норм поведения и систем деятельности в этой области.

В числе этих функций:

- сохранение канона знания и правил научной деятельности;
- «узаконивание» изменений в структуре теории и в научной методологии; «нельзя всерьез говорить о введении изменений в теорию или методы, признаваемые данным научным сообществом (ни так же об изменении формы или процедуры поисков и исследований), без признания научных авторитетов поборниками таких изменений, причем авторитетов, выступающих вместе и в существенном согласии друг с другом;
- «легализация» возникновения новых научных дисциплин;
- введение в свой круг новых авторитетов путем признания их высокой научной квалификации и особых личностных качеств;
- определение «проблемной ситуации» в своей области знания, основного содержания ведущихся в ней дискуссий;
- установление связи между традицией и инновацией в сферах исследования и обучения;
- формирование профессиональной этики ученых, стиль жизни и аксиологической ориентации своего сообщества и научного сообщества в целом.

Наука, взятая в динамике, представляет собой деятельность достаточно большого и устойчивого коллектива людей, направленную на отыскание и обоснование нового знания. Эта деятельность подчиняется тем общим принципам, которыми руководствуется всякая коллективная человеческая деятельность. В этом плане сообщество ученых, в сущности, не отличается от политических партий, от сообществ служителей определенного культа и т. п. И как любая коллективная деятельность, наука невозможна без признаваемых научным сообществом авторитетов.

Ссылка на авторитет, на сказанное или написанное кем-то не относится к универсальным способам обоснования. Разумеется, авторитеты нужны, в том числе и в теоретической сфере. Возможности отдельного человека ограничены, далеко не все он в состоянии самостоятельно

проанализировать и проверить. Во многом он вынужден полагаться на мнения и суждения других.

Но полагаться следует не потому, что это сказано «тем-то», а потому, что сказанное представляется правильным. Слепая вера во всегдашнюю правоту авторитета, а тем более суеверное преклонение перед ним плохо совместимы с поисками истины, добра и красоты, требующими непредвзятого, критичного ума. Как говорил Б. Паскаль, «ничто так не согласно с разумом, как его недоверие к себе».

Авторитет принадлежит определенной человеческой личности, но авторитет личности имеет своим последним основанием не подчинение и отречение от разума, а осознание того, что эта личность превосходит нас умом и остротой суждения. «Авторитет покоится на признании и, значит, на некоем действии: самого разума, который, сознавая свои границы, считает других более сведущими. К слепому повновению приказам этот правильно понятый смысл авторитета не имеет вообще никакого отношения. Более того, авторитет непосредственно не имеет ничего общего с повиновением, он связан прежде всего с познанием»¹. Признание авторитета всегда опирается на допущение, что его суждения не носят неразумно-произвольного характера, а доступны пониманию и критическому анализу.

Интуиция

Интуицию обычно определяют как прямое усмотрение истины, постижение ее без всякого рассуждения и доказательства.

Для интуиции типичны неожиданность, невероятность, непосредственная очевидность и неосознанность ведущего к ней пути.

Интуитивное обоснование представляет собой ссылку на непосредственную, интуитивную очевидность выдвигаемого положения.

Интуитивное обоснование в чистом виде является редкостью. В «непосредственном схватывании», внезапном озарении и прозрении много неясного и спорного. Философ науки М. Бунге говорит даже, что «интуиция — это коллекция хлама», куда мы сваливаем все интеллектуальные механизмы, о которых мы не знаем, как их проанализировать, или даже как точно их назвать, либо такие, анализ которых нас не интересует. Поэтому, как правило, для результата, найденного интуитивно, задним числом подыскиваются основания, кажущиеся более убедительными, чем простая ссылка на интуитивную очевидность.

Тем не менее интуиция существует и играет заметную роль в познании. Далеко не всегда процесс научного постижения мира осуществляется в развернутом, расчлененном на этапы виде. Нередко человек охватывает мыслью сложную ситуацию, не отдавая отчета во всех ее деталях, да и просто не обращая внимания на них. Особенно наглядно это проявляется

в принятии новых научных теорий, в военных сражениях, при постановке диагноза, при установлении виновности и невиновности и т. п.

Роль интуиции и, соответственно, интуитивной аргументации в математике и логике трудно переоценить. Существенное значение имеет интуиция в социальном и гуманитарном познании.

Слово «интуиция» вошло в философию в качестве аналога древнегреческого термина, означающего познание предмета не по частям, а сразу, одним движением. В позднее Средневековье интуиция означала по преимуществу познание того, что конкретно и единично, в противовес абстрактному познанию.

В Новое время Декарт свел все акты мышления, позволяющие нам получать новое знание без опасения впасть в ошибку, к двум: интуиции и дедукции. «Под интуицией, — писал он, — я разумею не веру в шаткое свидетельство чувств и не обманчивое суждение беспорядочного воображения, но понятие ясного и внимательного ума, настолько простое и отчетливое, что оно не оставляет никакого сомнения в том, что мы мыслим, или, что одно и то же, прочное понятие ясного и внимательного ума, порождаемое лишь естественным светом разума и благодаря своей простоте более достоверное, чем сама дедукция, хотя последняя и не может быть плохо построена человеком»¹. Опираясь на первичную интуицию, Декарт пытался доказать, в частности, существование бога — «субстанции бесконечной, вечной, неизменной, независимой, всемогущей, создавшей и породившей меня и все остальные существующие вещи».

Начиная с Платона, утверждается противопоставление интуиции и дискурсивного мышления. Интуиция — это божественный способ познания чего-нибудь одним лишь взглядом, в один миг, вне времени. Дискурсивное же мышление — человеческий способ познания, состоящий в том, что в ходе некоторого рассуждения последовательно, шаг за шагом разворачивается обоснование.

Особой остроты противопоставление интуиции и дискурсивного мышления достигает у Канта. Он отрицает декартовскую интеллектуальную интуицию и выделяет чувственную интуицию и чистую интуицию пространства и времени. Последняя более фундаментальна, поскольку данные, даваемые чувствами, должны быть упорядочены в пространстве и времени. По Канту, аксиомы математики опираются на чистую интуицию: их истинность можно «увидеть» или «воспринять» непосредственно, благодаря этой интуиции. Кроме того, последняя участвует в каждом шаге каждого доказательства в математике. «Все выводы гарантированы от ошибок тем, что каждый из них показан наглядно»².

Кант не совсем точно оценивает область применения интуиции в математике. Математические аксиомы далеко не всегда представ-

¹ Декарт Р. Правила для руководства ума. М.; Л., 1936. С. 57

² Кант И. Критика чистого разума // Сочинения: в 6 т. Т. 3. М., 1964. С. 317.

ляются интуитивно очевидными, и их приемлемость только в редких случаях поддерживается одной лишь ссылкой на такую очевидность. Аксиомы оцениваются не столько сами по себе, сколько по множеству тех теорем, которые могут быть логически выведены из них. Последние могут быть далеки от какой-нибудь интуитивной очевидности. Наличие чистой интуиции в каждом отдельном шаге доказательства совершенно не является необходимым.

К идеям Канта близка концепция интуиционизма, выдвинутая Л. Э. Я. Брауэром в начале этого века. Математика рассматривается Брауэром как деятельность мысленного конструирования математических объектов на основе чистой интуиции времени. Математика — автономный, находящий основание в самом себе вид человеческой деятельности. Она не является лингвистической и не зависит от языка. Слова используются в математике лишь для передачи открытых истин. Последнее не зависит от словесного одевания, в которое их облакает язык, и не могут быть полностью выражены даже на особом математическом языке.

После Канта под интуицией все более понимается интеллектуальная очевидность. Согласно А. Шопенгауэру, органом интуитивного, непосредственного, моментального познания того, что единично, является интеллект. Разум преобразует интеллектуальное познание в абстрактное. Последнее не расширяет знание, а только придает ему новую форму, способную выполнять практические функции и быть объектом межличностной коммуникации.

Этот перечень истолкований интуиции можно продолжать долго. В сущности, едва ли не у каждого крупного философа и психолога имеется свое собственное понимание интуиции. В большинстве случаев эти понимания не исключают друг друга.

Общим для всех истолкований интуиции является признание непосредственного характера интуитивного знания — оно представляет собой знание без осознания путей и условий его получения.

Существует давняя традиция противопоставлять интуицию логике. Нередко интуиция ставится выше логики даже в математике, где роль строгих доказательств особенно велика.

Чтобы усовершенствовать метод в математике, говорил Шопенгауэр, необходимо прежде всего решительно отказаться от предрассудка — веры в то, будто доказанная истина превышает интуитивного знания. Паскаль проводил различие между «духом геометрии» и «духом проницательности». Первый выражает силу и прямоту ума, проявляющиеся в железной логике рассуждений, второй — широту ума, способность видеть глубже и прозревать истину как бы в озарении. Для Паскаля даже в науке «дух проницательности» независим от логики и стоит неизмеримо выше ее. Еще раньше некоторые математики утверждали, что интуитивное убеждение превосходит логику, подобно тому, как ослепительный блеск Солнца затмевает бледное сияние Луны.

Вряд ли такое неумеренное возвеличение интуиции в ущерб строгому логическому доказательству оправдано. Ближе к истине был, пожалуй, А. Пуанкаре, считавший, что логика и интуиция играют каждая свою необходимую роль. Обе они неизбежны. Логика, способная дать достоверность, есть орудие доказательства; интуиция есть орудие изобретательства.

Логика и интуиция не исключают и не подменяют друг друга. В реальном процессе познания они, как правило, тесно переплетаются, поддерживая и дополняя друг друга.

Доказательство санкционирует и узаконивает завоевания интуиции, оно сводит к минимуму риск противоречия и субъективности, которыми всегда чревато интуитивное озарение.

Логика, по выражению математика Г. Вейля, — это своего рода гигиена, позволяющая сохранять идеи здоровыми и сильными. «Если интуиция — господин, а логика — всего лишь слуга, — пишет другой математик, М. Клайн, — то это тот случай, когда слуга обладает определенной властью над своим господином. Логика сдерживает необузданную интуицию. Хотя... интуиция играет в математике главную роль, все же сама по себе она может приводить к чрезмерно общим утверждениям. Надлежащие ограничения устанавливает логика. Интуиция отбрасывает всякую осторожность — логика учит сдержанности. Правда, приверженность логике приводит к длинным утверждениям с множеством оговорок и допущений и обычно требует множества теорем и доказательств, мелкими шажками преодолевая то расстояние, которое мощная интуиция перемахивает одним прыжком. Но на помощь интуиции, отважно захватившей расположенное перед мостом укрепление, необходимо выслать боевое охранение, иначе неприятель может окружить захваченную территорию, заставив нас отступить на исходные позиции»¹.

Уточняя и закрепляя завоевания интуиции, логика вместе с тем сама обращается к ней в поисках поддержки и помощи. Логические принципы не являются чем-то, заданным раз и навсегда. Они формируются в многовековой практике познания и преобразования мира и представляют собой очищение и систематизацию стихийно складывающихся «мыслительных привычек». Вырастая из аморфной и изменчивой паралогической интуиции, из непосредственного, хотя и неясного, «видения логического», эти принципы всегда остаются интимно связанными с изначальным, интуитивным «чувством логического». Не случайно строгое доказательство ничего не значит даже для математика, если результат остается непонятным ему интуитивно. Как заметил математик Л. Лебег, логика может заставить нас отвергнуть некоторые доказательства, но она не в силах заставить нас поверить ни в одно доказательство.

¹ Клайн М. Математика. Утрата определенности. М., 1984. С. 366

Логику и интуицию не следует, таким образом, направлять друг против друга. Каждая из них необходима на своем месте и в свое время. Внезапное интуитивное озарение способно открыть истины, вряд ли доступные строгому логическому рассуждению. Однако ссылка на интуицию не может служить твердым и тем более окончательным основанием для принятия каких-то утверждений. Интуиция дает интересные новые идеи, но нередко порождает также ошибки, вводит в заблуждение. Интуитивные догадки субъективны и неустойчивы, они нуждаются в логическом обосновании. Чтобы убедить в интуитивно схваченной истине не только других, но и самого себя, требуется развернутое рассуждение, доказательство.

С интуицией связан ряд явно ошибочных идей. Такова, в частности, идея, что без интуиции, во всяком случае без интуиции интеллектуальной, можно обойтись. Человек способен познавать, только рассуждая, выводя заключения, и не может что-то знать непосредственно. Хорошими контрпримерами этому убеждению являются математика и логика, опирающиеся в конечном счете на интеллектуальную интуицию.

Ошибочно и представление, будто интуиция лежит в основе всего нашего знания, а разум играет только вспомогательную роль. Интуиция не может заменить разум даже в тех областях, где ее роль особенно существенна. Она не является непогрешимой, ее прозрения всегда нуждаются в критической проверке и обосновании, даже если речь идет о фундаментальных видах интуиции.

«...Не только общая концепция интуиции как непогрешимого источника знания является мифом, — пишет К. Поппер, — но и наша интуиция времени подвержена критике и исправлению — точно таким же образом, как, согласно браузеровскому заключению, это происходит с нашей интуицией пространства»¹.

Интуиция никогда не является окончательной, и ее результат обязательно подлежит критическому анализу. Даже в математике интуиция не всегда ясна. Как пишет представитель интуиционизма в математике А. Гейтинг, «понятие интуитивной ясности в математике само не является интуитивно ясным. Можно даже построить нисходящую шкалу степеней очевидности. Высшую степень имеют такие утверждения, как $2 + 2 = 4$. Однако $1002 + 2 = 1004$ имеет более низкую степень; мы доказываем это утверждение не фактическим подсчетом, а с помощью рассуждения...»².

Интуиция может просто обманывать. На протяжении большей части XIX в. математики были интуитивно убеждены, что любая непрерывная

¹ Поппер К. Логика и рост научного знания. С. 475

² Гейтинг А. Тридцать лет спустя // Математическая логика и ее применения. М., 1965. С. 225

функция имеет производную. Но Вейерштрасс доказал существование непрерывной функции, ни в одной точке не имеющей производной. Такая функция явно противоречила математической интуиции. Математическое рассуждение «исправило» интуицию и «дополнило» ее.

Интуиция меняется со временем и в значительной степени является продуктом культурного развития и успехов в дискурсивном мышлении. Интуиция Эйнштейна, касающаяся пространства и времени, явно отлична от соответствующих интуиций Ньютона или Канта. Интуиция специалиста, как правило, превосходит интуицию дилетанта.

Интуитивная аргументация обычна в математике и логике, хотя и здесь она редко является эксплицитной. Вместо оборота «Интуитивно очевидно, что...» изложение ведется так, как если бы апеллирующие к интуиции утверждения выделялись сами собой, уже одним тем, что в их поддержку не приводится никаких аргументов. Кроме того, ссылка на чужие или ранее полученные результаты обычно является также неявным признанием того, что в их основе лежат интуиция.

Ни в математике, ни в логике обычно не предполагается, что ссылка на интуитивную очевидность абсолютно надежна и не нуждается в дальнейшем анализе. Интуитивно очевидное для одних может не быть очевидным для других. Даже в рамках одного направления в математике, скажем интуиционизма, представления о том, что может быть принято на основе интуиции, существенно различаются.

Еще более замаскирована интуитивная аргументация в других областях. Интуитивно очевидное нередко выдается за бесспорное и доказательное и не ставится в ясную связь с интуицией.

Вера

Интуиции близка *вера* — глубокое, искреннее, эмоционально насыщенное убеждение в справедливости какого-то положения или концепции.

Иногда вера противопоставляется аргументации и понимается предельно широко: вера — это все, что принимается не на основе признаваемых убедительными аргументов. В этом случае к вере относятся любые не опосредуемые рассуждением убеждения, в том числе убеждения, опирающиеся на традицию, авторитет, интуицию и т. п.

Вера заставляет принимать какие-то положения за достоверные и доказанные без критики и обсуждения. Как и интуиция, вера субъективна. В разные эпохи предметом искренней веры были диаметрально противоположные воззрения. То, во что когда-то свято верили все, спустя время большинству представлялось уже наивным предрассудком.

В отличие от интуиции, вера затрагивает не только разум, но и эмоции. Нередко она захватывает всю душу и означает не только интеллектуальную убежденность, но и психологическую расположенность. Интуиция же, даже когда она является наглядно содержательной, за-

трагивает только разум. Если интуиция — это непосредственное усмотрение истины и добра, то вера — непосредственное тяготение к тому, что представляется истиной или добром.

Вера противоположна сомнению и отлична от знания. Если человек верит в какое-либо утверждение, он считает его истинным на основании соображений, которые представляются ему достаточными.

В зависимости от способа, каким оправдывается вера, различают рациональную и нерациональную веру. Последняя служит оправданием самой себе: сам факт веры считается достаточным для ее оправдания. Самодостаточную веру иногда называют «слепой». Например, религиозная вера в чудо не требует какого-либо обоснования чуда, помимо самого акта веры в него. Рациональная вера предполагает некоторые основания для своего принятия. Ни рациональная, ни тем более нерациональная вера не гарантируют истины. Из того, что кто-то твердо верит, что на Луне тоже есть жизнь, не вытекает, что она там действительно имеется. Рациональная вера может быть названа *убеждением*.

Иногда знание определяется как оправданная, истинная вера: человек знает какое-то утверждение, если он верит в данное утверждение и оно является истинным, независимо от веры в него. Этим определением знание сводится к вере и истине. Вряд ли это делает понятие знания более ясным.

Соотношение знания и веры во многом является неясным. Очевидно только, что они существенно переплетены, нередко взаимно поддерживают друг друга, и разделение их и отнесение к разным, не соприкасающимся друг с другом сторонам действительности может быть только временным и условным.

Знание всегда подкрепляется интеллектуальным чувством субъекта. Предположения не становятся частью науки до тех пор, пока их кто-нибудь не выскажет и не заставит в них поверить.

Как всякое интеллектуальное действие, искреннее убеждение всегда несет в себе также эмоциональную нагрузку, пишет М. Полани. С его помощью мы стараемся уверить, убедить тех, кому мы адресуем свою речь. Нам памятли крики безумного ликования, дошедшие до нас благодаря записям Кеплера, которые он сделал в предвкушении открытия; мы знаем много других подобных проявлений в ситуациях, когда людям только казалось, что они приблизились к открытию; нам известно также, с какой силой великие пионеры науки, такие как Пастер, отстаивали свои взгляды перед лицом критики. Врач, который ставит серьезный диагноз в сложном случае, или член суда, выносящий приговор в сомнительном деле, чувствуют тяжелейший груз личной ответственности. В обычных ситуациях, когда нет ни оппонентов, ни сомнений, такие страсти спят, но не отсутствуют вовсе; всякая искренняя констатация факта сопровождается чувством интеллектуального удовлетворения

или стремлением постичь что-то, а также ощущением личной ответственности¹.

Ссылка на твердую веру, решительную убежденность в правильности какого-либо положения может использоваться в качестве аргумента в пользу принятия этого положения.

Однако аргумент к вере кажется убедительным и веским, как правило, лишь тем, кто разделяет эту веру или склоняется к ее принятию. Другим аргумент от веры может казаться субъективным или почти что пустым: верить можно и в самые нелепые утверждения.

Тем не менее встречаются, как замечает Л. Витгенштейн, ситуации, когда аргумент к вере оказывается едва ли не единственным². Это — ситуации радикального инакомыслия, непримиримого «разноверия». Обратить инакомыслящего разумными доводами невозможно. В таком случае остается только крепко держаться за свою веру и объявить противоречащие взгляды еретическими, безумными и т. п. Там, где рассуждения и доводы бессильны, выражение твердой, неотступной убежденности может сыграть со временем какую-то роль. Если аргумент к вере заставит все-таки инакомыслящего присоединиться к противоположным убеждениям, это не будет означать, конечно, что данные убеждения по каким-то intersубъективным основаниям предпочтительнее.

Аргумент к вере только в редких случаях выступает в явном виде. Обычно он лишь подразумевается, и только слабость или неотчетливость приводимых прямо аргументов косвенно показывает, что за их спиной стоит неявный аргумент к вере.

Средиевековый комментатор Дионисий Карпузианец так раскрывает идею, что мрак — это сокровеннейшая сущность бога: «Чем более дух близится к сверхблистающему божественному твоему свету, тем полнее обнаруживаются для него твоя неприступность и непостижимость, и когда он вступает во тьму, то вскоре и совсем исчезают все имена и все знания. Но ведь это и значит для духа узнать тебя: узреть вовсе незримого; и чем яснее зрит он сие, тем более светлым он тебя прозревает. Сподобиться стать этой сверхсветлою тьмою — о том тебя молим, о, преблагословенная Троица, и дабы через незримость и неведение узреть и познать тебя, ибо пребываешь сверх всякого облика и всякого знания. И взору тех лишь являешься, кои, все осязаемое и все постижимое и все сотворенное, равно как и себя самих, преодолев и отринув, во тьму вступили, в ней же истинно пребываешь»³.

Здесь только один явный аргумент, понятный средневековой аудитории, — ссылка на авторитет. В Библии сказано: «И содеял мрак по-

¹ См.: Полани М. Личностное знание. М., 1965 С. 52–53

² См.: Wittgenstein L. On certainty Oxford, 1969 §270.

³ Цит. по: Хейзинга Й. Осень Средневековья. М., 1988 С. 247

кровом Своим». Другим подразумеваемым доводом является аргумент к вере: тому, кто уже верит, что бог непредставим и невыразим, могут показаться убедительными и свет, обращающийся во мрак («сверх-светлая тьма»), и отказ от всякого знания («узрение и познание через незримость и неведение»).

Иногда аргумент к вере маскируется специально, чтобы создать впечатление, будто убедительность рассуждения зависит только от него самого, а не от убеждений аудитории.

Фома Аквинский пытался строго разделить то, что может быть доказано при помощи разума, и то, что требует для своего доказательства авторитета Священного Писания. Б. Рассел упрекает св. Фому в неискренности: вывод, к которому тот должен прийти, определен им заранее. «Возьмем, например, вопрос о нерасторжимости брака. Нерасторжимость брака защищается св. Фомой на основании того, что отец необходим в воспитании детей: (а) потому что он разумнее матери, (б) потому что, обладая большей силой, он лучше справится с задачей физического наказания. На это современный педагог мог бы возразить, что (а) нет никаких оснований считать мужчин в целом более разумными, чем женщины, (б) что наказания, требующие большой физической силы, вообще нежелательны в воспитании. Современный педагог мог бы пойти еще дальше и указать, что в современном мире отцы вообще вряд ли принимают какое-либо участие в воспитании детей»¹.

Однако, отмечает Рассел, эти доводы вряд ли убедили бы св. Фому или его последователей. Ни один последователь св. Фомы не откажется на этом основании от веры в пожизненную моногамию, так как действительные основания этой веры совсем не те, на которые ссылаются в ее обоснование².

В этом примере основным аргументом является скрытая апелляция к твердой вере аудитории.

Таким образом, аргумент к вере не так редок и не так предосудителен, как это может показаться. Он встречается в науке, особенно в периоды ее кризисов. Он неизбежен при обсуждении многих общих вопросов, таких как, скажем, вопрос о будущем человечества или вопрос о предпосылках теоретического мышления. Аргумент к вере обычен в общении людей, придерживающихся какой-либо общей системы веры. Как и все контекстуальные аргументы, он нуждается в определенной, сочувственно воспринимающей его аудитории. В другой аудитории он может оказаться не только неубедительным, но и попросту неуместным.

Э. Дюркгейм высказывал убеждение, что вся наука держится на коллективной вере, или коллективном мнении. Социальная жизнь порождает коллективное мышление, совершенно отличное по своей природе от индивидуального мышления. Коллективное мышление включает

¹ Рассел Б. История западной философии. М., 1993. Т. 1. С. 480.

² Там же.

определенные коллективные взгляды, или представления. Они навязываются индивидам в качестве концептов, определяющих приемлемый для общества способ формирования знания о мире. Власть науки становится реальностью только тогда, когда этого хочет общество. «Далеко не все концепты, даже когда они построены по всем правилам науки, пользуются влиянием исключительно благодаря своей объективной ценности. Концептам недостаточно быть истинными, чтобы пользоваться доверием. Если они не находятся в согласии с другими верованиями, мнениями, словом, с совокупностью коллективных представлений, они будут отвергнуты; умы для них будут закрыты; следовательно, будет так, как если бы их не было, если сегодня, в общем, им достаточно нести на себе печать науки, чтобы пользоваться доверием, значит, мы верим в науку. Но эта вера, по существу, сродни религиозной. Ценность, придаваемая нами науке, в общем и целом зависит от коллективно вырабатываемого нами представления о ее природе и роли в жизни. Это значит, что она выражает состояние мнения. В самом деле, как и все в общественной жизни, наука держится на мнении»¹. Мнение можно рассматривать в качестве объекта науки, к этому в основном и сводится социология. Однако наука о мнении не создает мнения, она может лишь его прояснить. На этом пути она действительно может быть причиной его изменения. Но наука продолжает зависеть от мнения и в то время, когда она, как кажется, повелевает им, — ибо мнение снабжает ее силой, необходимой для воздействия на мнение.

Дюркгейм прав, что если в каком-то обществе нет веры в науку и в эффективность ее методов, все научные доказательства теряют свою силу. Однако вера в науку только внешне напоминает религиозную веру. Вера в существование особого небесного мира основывается на совершенно ином фундаменте, чем вера в науку. Научные способы обоснования инородны для религии. Наука, в отличие от религии, ориентируется на истину и объективность. Если в некотором обществе ослабевает или вообще исчезает вера в науку, установленные ею результаты тем не менее сохраняют свое значение, хотя и не в этом обществе. Отсутствие веры в науку способно ослабить или даже лишить силы научную аргументацию, но наука держится вовсе не на коллективной вере в нее. Аргумент к вере, центральный в религии, в науке всегда имеет вспомогательный и преходящий характер. Аргумент к коллективной вере в саму науку вообще может быть элективным, пожалуй, только за пределами научного сообщества.

Аргумент к вере был в свое время основательно скомпрометирован противопоставлением веры, и прежде всего религиозной веры, разуму, тем, что «конкретная реальность» веры ставилась выше «абстрактных истин умозрения».

¹ Durkheim E. Les formes elementaires de la vie religieuse. Paris, 1912 P 625—626

«Верую, чтобы понимать», — заявляли в Средние века Августин и Ансельм Кентерберийский. Христианский теолог Тертуллиан силу веры измерял именно несоизмеримостью ее с разумом: легко верить в то, что подтверждается и рассуждением; но нужна особенно сильная вера, чтобы верить в то, что противостоит и противоречит разуму. Только вера способна заставить, по Тертуллиану, принять логически не доказуемое и нелепое: «Сын божий распят; нам не стыдно, ибо полагалось бы стыдиться. И умер сын божий; это вполне достоверно, ибо ни с чем несообразно. И после погребения он воскрес; это несомненно, ибо невозможно». Но уже в начале XII в. философ и теолог П. Абеляр поставил разум и опирающееся на него понимание перед верой. Выдвинутая им максима «Понимаю, чтобы верить» — ключ к истолкованию соотношения разума и веры.

Бездокладательная вера является антиподом знания, к которому она обычно относится с недоверием, а то и с неприязнью. Отстаивающие такую веру усматривают ее преимущество в том, что она крепка и активна, ибо идет из глубин души, охватывает и выражает ее всю, в то время как теоретизирующий разум односторонен, поверхностен и неустойчив. Но этот довод малоубедителен. Прежде всего самые надежные истины, подобные истинам математики и физики, открываются именно разумом, а не верой; не следует, далее, путать веру, требующую, скажем, признания чудес, с верой как глубокой убежденностью, являющейся следствием исторического или жизненного опыта.

Аргумент к вере достаточно обычен в естественно-научных теориях в период их зарождения и укрепления. Однако как только находят более надежные основания, чем вера, они легко расстаются с апелляцией к вере. Сложнее обстоит дело в случае социальных теорий, особенно тех теорий, которые касаются острых проблем социальной жизни. Объем и формы равенства людей, их свободы, необходимые в конкретном обществе формы справедливости, способы распределения богатства, степень эксплуатации одними людьми других и т. п. — все это те проблемы, которые даже в случае, казалось бы, хорошо обоснованных социальных концепций во многом остаются предметом веры.

Здравый смысл

Здравый смысл можно примерным способом охарактеризовать как общее, присущее каждому человеку чувство истины к справедливости, приобретаемое с жизненным опытом.

Здравый смысл в основе своей является не столько знанием, сколько способом отбора знания, тем общим освещением, благодаря которому в знании различаются главное и второстепенное и обрисовываются крайности.

Здравый смысл играет особую роль в социальной и гуманитарной аргументации и при обсуждении всех проблем, касающихся жизни и деятельности человека.

Аргумент к здравому смыслу — это обращение с целью поддержки выдвигаемого положения к чувству здравого смысла, несомненно имеющемуся у аудитории.

Апелляция к здравому смыслу высоко ценилась в античности и шла в русле противопоставления мудрости («софии») и практического знания («фронесис»). Это противопоставление было теоретически разработано Аристотелем и развито его последователями до уровня критики теоретического жизненного идеала.

Практическое знание, руководящее поступками человека, — это особый, самостоятельный тип знания. Практическое знание направлено на конкретную ситуацию и требует учета «обстоятельств» в их бесконечном разнообразии. Жизнь не строится, исходя из теоретических начал и общих принципов, она конкретна и руководствуется конкретным знанием, оцениваемым с точки зрения здравого смысла.

В схоластике, например у Фомы Аквинского, здравый смысл — это общая основа внешних чувств, а также опирающейся на них способности судить о данном, присущей всем людям.

Важную роль отводил здравому смыслу Д. Вико, истолковывавший его как общее чувство истины и права. На этом чувстве Вико основывал значение красноречия и его право на самостоятельность. Воспитание не может идти путем критического исследования и нуждается в образах для развития фантазии. Изучение наук не способно дать этого и нуждается в дополнении топики — искусством находить аргументы. Топика служит для развития чувства убежденности, функционирующего инстинктивно и мгновенно и не заменяемого наукой. Здравый смысл, по Вико, — это чувство правильности и общего блага, которое живет во всех людях, но в еще большей степени это чувство, получаемое благодаря общности жизни, благодаря ее укладу и целям. Здравый смысл направлен против теоретических спекуляций философов и определяет своеобразие исследования в социальных и гуманитарных науках. Их предмет — моральное и историческое существование человека, обнаруживающееся в его деяниях. Само это существование решающим образом определяется здравым смыслом.

Существенное значение придает здравому смыслу современная философская герменевтика, выступающая против его интеллектуализации и сведения его до уровня простой поправки: то, что в чувствах, суждениях и выводах противоречит здравому смыслу, не может быть правильным.

Здравый смысл — одно из ведущих начал человеческой жизни. Она разворачивается не под действием науки, философии или каких-то общих принципов, а под решающим воздействием здравого смысла. Именно поэтому он необходим представителям социальных и гуманитарных наук, исследующим моральное и историческое существование человека.

Здравый смысл проявляется в суждениях о правильном и неправильном, годном и негодном, справедливом и несправедливом. Обладатель здравого суждения не просто способен определять особенное с точки зрения общего, но знает, к чему оно действительно относится, то есть видит вещи с правильной, справедливой, здоровой точки зрения. Авантюрист, правильно рассчитывающий людские слабости и всегда верно выбирающий объект для своих обманов, тем не менее не является носителем здравого суждения в полном смысле слова.

Приложим здравый смысл прежде всего в общественных, практических делах. С его помощью судят, опираясь не на общие предписания разума, а скорее на убедительные примеры. Поэтому решающее значение для него имеют история и опыт жизни.

Здравому смыслу нельзя выучить, в нем можно только упражняться. Он имеет двойственный, описательно-оценочный характер: с одной стороны, опирается на прошлые события, а с другой — является наброском, проектом будущего.

С изменением общественной жизни и человека меняется и здравый смысл. Так, в древности сны представлялись обычному человеку одним из важнейших выражений его души, материалом для предсказания будущего. В эпоху Просвещения идея о том, что сны могут быть вещими, уже казалась предрассудком: в них видели преимущественно отражение соматических факторов и избыток душевных страстей. Позднее снова начала усматриваться связь между характером человека и его сновидениями: в сновидениях отражается характер, особенно те его стороны, которые не проявляются наяву: во сне человеком осознаются скрытые мотивы его действий, и потому, толкуя сновидения, можно предсказать его будущие действия. Как говорил З. Фрейд, «сновидения — это царская дорога к бессознательному».

Здравый смысл способен впадать в заблуждение, но это, как правило, своеобразное заблуждение: оно является ошибкой не столько с точки зрения того контекста, в котором сформировался здравый смысл, сколько с точки зрения последующего периода, порождающего новые представления здравого смысла. Так обстоит дело, в частности, с пренебрежительным отношением античного и средневекового человека к науке и ученым.

«Все методы, все предпосылки нашей сегодняшней научной мысли, — жалуется Ф. Ницше, — тысячелетиями вызвали глубочайшее презрение; ученый не допускался в общество «приличных» людей — считался «врагом бога», презирающим истину, считался «одержимым». Человек, занятый наукой, — чандала...¹ Весь пафос человечества, все понятия о том, чем должна быть истина, чем должно быть служение науке, — все было против нас; произнося «ты обязан!..», всегда обращали

¹ Чандала — «нечистый», «неприкасаемый» в Индии, т. е. не входящие ни в одну из варн (брахманов, кшатриев и др.)

эти слова против нас... Наши объекты, наши приемы, наш нешумный, недоверчивый подход к вещам... Все казалось совершенно недостойным, презренным... В конце концов, чтобы не быть несправедливым, хочется спросить, не эстетический ли вкус столь долгое время ослеплял человечество; вкус требовал, чтобы истина была картинной; от человека вкус равным образом требовал, чтобы он энергично воздействовал на наши органы чувств. Скромность шла вразрез со вкусом...»¹.

Дело здесь, конечно, не в грубом эстетическом вкусе, требующем от ученых и науки «истин-картин», а в отдаленности античной и средневековой науки от основного потока социальной жизни, в скудости результатов этой науки и их несущественности с точки зрения реальной, практической деятельности. Наука должна была обнаружить себя как важное измерение повседневной жизни, чтобы здравый смысл смог изменить о ней свое мнение. Здравый смысл служит своей эпохе, и значимость его суждений не выходит за пределы этой эпохи.

Хотя здравый смысл касается в первую очередь социальной жизни, по своей природе он более универсален, так как способен судить о любой деятельности и ее результатах, включая теоретическую деятельность и ее результаты — сменяющие друг друга теории и концепции.

Однако в естественно-научной области здравый смысл является, как правило, ненадежным советчиком: от современных естественно-научных теорий резоннее требовать парадоксальности, разрыва с ортодоксальным, чем соответствия устоявшимся представлениям о мире. Аргумент к здравому смыслу применим здесь только на первых этапах развития научных теорий. Дальнейшее обсуждение здравого смысла и вкуса существенно опирается на эту работу. В достаточно зрелой естественно-научной теории апелляция к здравому смыслу является редкой и ненадежной. Такие теории всегда стремятся абстрагироваться от своей истории и вынести ее за скобки. Для суждений здравого смысла, непосредственно связанных с историей и меняющихся вместе с нею, не остается тем самым места.

Вкус

Аргументация к вкусу — это обращение к чувству вкуса, имеющемуся у аудитории и способному склонить ее к принятию выдвинутого положения.

Понятие вкуса существенно уже понятия здравого смысла. Вкус касается только совершенства каких-то вещей и опирается на непосредственное чувство, а не на рассуждение. Кант характеризовал вкус как «чувственное определение совершенства» и видел в нем основание своей критики способности суждения.

¹ Ницше Ф. Антихристианин. Опыт критики христианства // Сумерки богов. М., 1989 С. 27–28

Понятие вкуса первоначально было моральным, и лишь впоследствии его употребление сузилось до эстетической сферы «прекрасной духовности». Идея человека, обладающего вкусом, пришла в XVII в. на смену христианскому идеалу придворного и была идеалом так называемого «образованного общества».

Вкус — это не только идеал, провозглашенный новым обществом. Это в первую очередь образующийся под знаком этого идеала «хороший вкус», то, что отныне отличает «хорошее общество». Оно узнается и узаконивается теперь не по рождению и рангу, а в основном благодаря общности суждений, или, вернее, благодаря тому, что вообще умеет возвыситься над ограниченностью интересов и частностью пристрастий до уровня потребности в суждении.

Хороший вкус не является субъективным, он предполагает способность дистанцироваться от себя самого и групповых пристрастий.

Вкус не есть нечто приватное, это общественный феномен перво-степенного значения. Он в состоянии даже выступать против частной склонности отдельного лица подобно судебной инстанции по имени «всеобщность», которую он представляет и мнение которой он выражает. Можно отдавать чему-то предпочтение, несмотря на неприятие этого собственным вкусом.

Вкус — это не простое своеобразие подхода индивида к оцениваемому им явлению. Вкус всегда стремится к тому, чтобы стать хорошим и реализовать свое притязание на всеобщность.

Хороший вкус уверен в своем суждении, он принимает и отвергает, не зная колебаний, не оглядываясь на других и не подыскивая оснований. Вкус в чем-то приближается к чувству. В процессе своего действия он не располагает познанием, на чем-то основанном. Если в делах вкуса что-то негативно, то он не в состоянии сказать, почему. Но узнает он это с величайшей уверенностью. Можно сказать, что уверенность вкуса — это уверенность в безвкусице. Определение вкуса состоит прежде всего в том, что его уязвляет все, ему противоречащее.

Понятию хорошего вкуса противостоит понятие отсутствия вкуса, а не понятие плохого вкуса. Хороший вкус — это такой тип восприятия, при котором все утрированное избегается так естественно, что эта реакция, по меньшей мере, непонятна тем, у кого нет вкуса.

Широко распространено мнение, что о вкусах не спорят: приговор вкуса обладает своеобразной непререкаемостью. Кант полагал, что в этой сфере возможен спор, но не диспут¹.

Причину того, что в вопросах вкуса нет возможности аргументировать, Гадамер видит в непосредственности вкуса и несводимости его к каким-то другим, и в особенности понятийным, основаниям: «...Это происходит не потому, что невозможно найти понятийно всеобщие

• См.: Кант И. Сочинения. М., 1966. Т. 5. С. 359

масштабы, которые всеми с необходимостью принимаются, а потому, что их даже не ищут, и ведь их невозможно правильно отыскать, даже если бы они и были. Нужно иметь вкус; его невозможно преподавать путем демонстрации и нельзя заменить простым подражанием»¹.

Принцип «о вкусах не спорят» не кажется верным в своей общей формулировке. Споры о вкусах достаточно обычны, эстетика и художественная критика состоят по преимуществу из таких споров. Когда выражается сомнение в их возможности или эффективности, имеются в виду, скорее, лишь особые случаи спора, не приложимые к суждениям вкуса².

Действительно, о вкусах невозможно вести дискуссию — спор, направленный на поиски истины и ограничивающийся только корректными средствами аргументации. О вкусах невозможен также эклектический спор, тоже ориентирующийся на истину, но использующий и некорректные приемы. Суждения вкуса являются оценками: они определяют степень совершенства рассматриваемых объектов. Как и всякие оценки, эти суждения не могут быть предметом дискуссии или эклектического спора. Но об оценках возможна полемика — спор, цель которого — победа над другой стороной и который пользуется только корректными приемами аргументации. Оценки, и в частности суждения вкуса, могут быть также предметом софистического спора, тоже ориентированного на победу, но использующего и некорректные приемы³.

Идея, что вкусы лежат вне сферы аргументации, нуждается, таким образом, в серьезной оговорке. О вкусах можно спорить, но лишь с намерением добиться победы, утверждения своей системы оценок, причем спорить не только некорректно, но и вполне корректно.

Мода

Вкус всегда претендует на общую значимость. Это особенно наглядно проявляется в феномене *моды*, тесно связанной со вкусом. Мода касается быстро меняющихся вещей и воплощает в себе не только вкус, но и определенный, общий для многих способ поведения.

Мода, пишет Гадамер, по своему усмотрению управляет лишь такими вещами, которые в равной степени могут быть такими или иными. Фактически ее составляющей является эмпирическая общность, оглядка на других, сравнение, а вместе с тем и перенесение себя на общую точку зрения⁴.

Будучи формой общественной деятельности, мода создает общественную зависимость, от которой трудно уклониться. В частности,

¹ Гадамер Х.-Г. Истина и метод. С. 80 «Никто не сомневается в том, что вопросы вкуса не могут решаться с помощью аргументации и демонстрации» (там же. С. 85)

² См. об этом: Ивин А. А. Основы теории аргументации. С. 145–146.

³ О видах научных споров говорится далее (глава «Научная критика»)

⁴ См.: Гадамер Х.-Г. Истина и метод. С. 80.

Кант считал, что лучше быть модным дураком, чем идти против моды, хотя и глупо принимать моду чересчур всерьез¹.

Хороший вкус характеризуется тем, что умеет приспособиться к вкусовому направлению, представленному модой, или же умеет приспособить требования моды к собственному хорошему вкусу. Тем самым в понятии вкуса заложено умение и в моде соблюдать умеренность, и обладатель хорошего вкуса не следует вслепую за меняющимися требованиями моды, но имеет относительно них собственное суждение. Он придерживается своего «стиля», то есть согласовывает требования моды с неким целым, которое учитывает индивидуальный вкус и принимает только то, что подходит к этому целому с учетом того, как они сочетаются.

Аргумент к моде является, таким образом, частным случаем аргумента к вкусу и представляет собой ссылку на согласие выдвинутого положения с господствующей в данное время модой.

Вкус не сводится к правилам и понятиям и не является системой образцов, на основе которых выносятся оценочные суждения. Вкус присущ не каждому и предполагает не совпадение с суждениями всех других по любому конкретному поводу, а одобрение суждений вкуса некоторой идеальной общностью, совокупностью тех, кто тоже обладает хорошим вкусом.

Вкус, отмечает Кант, «не говорит, что каждый будет согласен с нашим суждением, а говорит, что он *должен* согласиться»².

Чувство вкуса необходимо в тех областях, где единичное характеризуется с учетом того целого, к которому оно принадлежит, и где само целое не представляет собой устойчивой системы правил и понятий. Вкус говорит о том, подходит ли данное единичное ко всему другому, составляющему целое, вписывается оно или нет в это целое. Поскольку целое само только чувствуется, а не определяется сколько-нибудь строгим образом, принадлежность к нему единичного также можно только почувствовать, но не доказать. Вкус никоим образом не ограничивается прекрасным в природе и искусстве, определяя его декоративные качества, но охватывает всю область нравов и приличий³. Включение единичного в какую-то целостность, лежащее в основе суждения вкуса, является одновременно уточнением и конкретизацией этой целостности.

Особое значение и вместе с тем особую силу вкус имеет в сфере нравственного решения.

Вкус — это хотя и не основа, но, вероятно, высшее совершенство нравственного суждения. Если неправильное противоречит вкусу чело-

¹ См.: Кант И. Сочинения. М., 1966. Т. 6. С. 71.

² Там же. Т. 5. С. 244.

³ См.: Гадамер Х.-Г. Истина и метод. С. 81.

века, то его уверенность в принятии добра и отвержении зла находится на высочайшем уровне; она столь же высока, сколь и уверенность самого витального из наших чувств, которое выбирает или отвергает пищу.

Вкус несет на себе отпечаток общности социальной жизни и изменяется вместе с ее изменением. Суждения вкуса, относящиеся к разным эпохам или к разным обществам, обычно оказываются несовместимыми друг с другом.

Обоснование путем ссылки на соответствие вкусу встречается в науке чаще всего в период становления новых идей и теорий. Формирующаяся теория оценивается с многих точек зрения, и в частности в эстетическом отношении. Теория, как и все произведения ума и рук человека, может быть «красивой» или «некрасивой». Позитивное эстетическое впечатление, производимое новой теорией, может оказываться одним из аргументов в ее поддержку.

Как и другие области человеческой жизни, наука не стоит в стороне от моды. В определенные периоды модными являются одни научные построения или их типы, в другие периоды современными, отвечающими духу времени и т. п. оказываются другие построения и их виды.

Например, в 30–40-е гг. прошлого века из всех философских концепций наиболее модным и влиятельным был неопозитивизм, в 50-е гг. — экзистенциализм, в 60-е — философская герменевтика.

Модными могут быть как определенные идеи, так и способы исследования и обоснования. Мода в науке не так заметна, однако, как в других областях, и изменяется относительно медленно. Аргумент к моде, как и вообще аргумент к вкусу, только в редких случаях предстает здесь в открытой форме.

6. Границы научного обоснования

Недостаточное внимание к обоснованию утверждений, отсутствие объективности, системности и конкретности в рассмотрении предметов и явлений ведут в конечном счете к эклектике — *некритическому соединению разнородных, внутренне не связанных и, возможно, несовместимых взглядов и идей.*

Для эклектики характерны пренебрежение логическими связями положений, объединяемых в одну систему, подмена объективно значимых способов обоснования теми, которые имеют лишь субъективную убедительность, широкое применение многозначных и неточных понятий, ошибки в определениях и классификациях и т. п. Используя вырванные из контекста факты и формулировки, произвольно объединяя противоположные воззрения, эклектика стремится вместе с тем создать видимость предельной логической последовательности и строгости.

Элементы эклектики так или иначе присутствуют в начальный период изучения нового, сложного материала, когда знания остаются фрагментарными и когда нет возможности выделить в массе сведений наиболее существенное и определяющее. Это следует иметь в виду, чтобы не казалось хорошо усвоенным то, что еще не обрело внутренней последовательности и единства.

Обоснование — не только сложная, но и многоэтапная процедура. Обоснованное утверждение, вошедшее в теорию в качестве ее составного элемента, перестает быть проблематичным знанием. Но это не означает, что оно становится абсолютной истиной, не способной к дальнейшему развитию и уточнению.

Обоснование утверждения делает его не абсолютной, а лишь относительной истиной, верно схватывающей механизм исследуемых явлений на данном уровне познания. В процессе дальнейшего углубления знаний такая истина может быть и непременно будет уточнена. Но ее основное содержание, подвергнувшись ограничению и уточнению, сохранит свое значение.

При всей своей важности наука не является ни единственной, ни даже центральной сферой человеческой деятельности. Научное познание — по преимуществу только средство для решения обществом своих многообразных проблем. Сводить все формы человеческой деятельности к научному познанию или строить их по его образцу не только наивно, но и опасно.

Ранее речь шла о способах обоснования, применяемых в науке и в тех областях жизни, в которых центральную роль играет последовательное, доказательное рассуждение. Но даже систему научного знания нельзя утвердить исключительно аргументами. Попытка обосновать каждое научное положение привела бы к регрессу в бесконечность. В фундаменте обоснования лежат способ действия, конкретная практика.

Неоправданно распространять приемы обоснования, характерные для науки, на другие области, имеющие с наукой, возможно, мало общего и убеждающие совсем иными средствами.

В художественном произведении ничего не нужно специально доказывать, напротив, надо отрешиться от желания строить цепочки рассуждений, выявляя следствия принятых посылок.

«Сила разума в том, — говорил Б. Паскаль, — что он признает существование множества явлений, ему непостижимых; он слаб, если не способен этого понять». Здесь под «разумом» имеется в виду аргументирующий, обосновывающий разум, находящий наиболее совершенное воплощение в науке.

Эстетик Ж. Жубер замечает об Аристотеле: «Он был не прав в своем стремлении сделать все в своих книгах научным, то есть доказуемым, аргументированным, неопровержимым, он не учел, что существуют

истины, доступные одному лишь воображению, и что, быть может, именно эти истины — самые прекрасные»¹. И если это верно в отношении Аристотеля, занимавшегося прежде всего логикой и философией, то тем более не правы те, кто, «поверяя алгеброй гармонию», хотят перестроить по строгому научному образцу идеологию, мораль, художественную критику и т. д.

Эмпирическое и теоретическое обоснование объективирует поддерживаемое положение, устраняет личностные, субъективные моменты, связанные с ним. Отсутствие аргументов в пользу какого-то убеждения не означает, однако, его полной субъективности.

Особенно ярко об этом свидетельствует искусство. «Сущность художественного произведения, — пишет К. Юнг, — состоит не в его обремененности чисто личностными особенностями — чем больше оно ими обременено, тем меньше речь может идти об искусстве, — но в том, что оно говорит от имени духа человечества, сердца человечества и обращается к ним. Чисто личное — это для искусства ограниченность, даже порок. «Искусство», которое исключительно или хотя бы в основном личностно, заслуживает того, чтобы его рассматривали как невроз. Если фрейдовская школа выдвинула мнение, что каждый художник обладает инфантильно автоэротически ограниченной личностью, то это может иметь силу применительно к художнику как личности, но неприменимо к нему как творцу. Ибо творец... в высочайшей степени объективен, существен, сверхличен, пожалуй, даже бесчеловечен или сверхчеловечен, ибо в своем качестве художника он есть свой труд, а не человек»².

Рациональные способы обоснования — незаменимое орудие человеческого разума. Но область их приложения безгранична. Расширение ее сверх меры столь же не оправдано, как и неумеренное сужение.

¹ Жубер Ж. Литературная критика // Эстетика французского романизма. М., 1988 С. 327

² Юнг К. Г. Феномен духа в искусстве и науке С. 145

Глава 9

ТРЕБОВАНИЯ К ЯЗЫКУ НАУКИ

1. Приоритет естественного языка

Все языки делятся на *естественные, искусственные и частично искусственные*. Первые возникают спонтанно, в процессе общения членов некоторой обширной социальной группы (например, русский язык, испанский язык и т. д.). Искусственные языки специально создаются людьми для каких-либо специальных целей (например, языки математики, логики, шифры и т. д.).

Языки естественных, гуманитарных и социальных наук относятся к частично искусственным. Частично искусственным является и язык экономики. Основу этого языка составляет естественный или обычный язык, дополненный многочисленными, характерными только для экономики понятиями. Каждое из этих понятий получает более или менее строгое определение, отношения между специальными экономическими понятиями подвергаются тщательному анализу. В результате язык экономики оказывается приспособленным к описанию и анализу той специфической сферы социальных явлений, процессов и состояний, которые изучаются экономикой.

Характерно, что речь профессионального экономиста, изобилующая специальными терминами и не выражаемыми явно их связями, является, как правило, малопонятной или даже совсем непонятной для неспециалиста.

В процессе изучения экономической науки будущие экономисты уделяют особое внимание той системе понятий, благодаря которой естественный язык становится частично искусственным языком экономической науки. Это вполне естественно. Важно, однако, помнить, что язык экономической науки, как и любой иной естественно-научной, гуманитарной или социальной дисциплины, — только надстройка над естественным языком. Незнание особенностей последнего, неумение сполна использовать его выразительные возможности делает слабым и сам опирающийся на него частично искусственный язык экономической науки.

Далее рассматриваются некоторые особенности языка науки. Частично они связаны со своеобразием естественного языка, в атмосфере которого формируется и существует всякий научный язык. Но во многом эти особенности проистекают из своеобразия человеческой, в том числе и научной, коммуникации, а также из того, что процесс познания является по самой своей сути бесконечным.

Естественный язык

В числе упоминаемых далее особенностей языка науки — многозначность многих выражений этого языка, их неточность и неясность, выполнение нескольких ролей одним и тем же словом и т. п.

Прежде, однако, несколько слов о естественном языке, поскольку научный язык является всего лишь островком в океане нашего повседневного языка. Это касается не только языков таких гуманитарных наук, как история или психология, но и языков биологии и химии, социологии и политологии. Даже искусственные языки формальных наук (логики и математики), не содержащие иногда ни одного слова естественного языка и представляющиеся во всех отношениях совершенными, способны существовать только в атмосфере естественного языка.

Язык, на котором мы обычно говорим, является — пусть это не покажется странным — полноправным соавтором всех наших мыслей и дел.

Источник обычно не бросающегося в глаза величия естественного языка и его тайной мудрости — в том, что в нем зафиксирован и сосредоточен опыт многих поколений, особый взгляд целого народа на мир. «Если бы не было речи, то не были бы известны ни добро, ни зло, ни истина и ни ложь, ни удовлетворение и ни разочарование. Речь делает возможным понимание всего этого. Размышляйте над речью» («Упанишад», VI–III вв. до н. э.).

С первых лет детства, втягиваясь в атмосферу родного языка, человек усваивает не только определенный запас слов и грамматических правил. Незаметно для самого себя он впитывает также свою эпоху, как она выразилась в языке, и тот огромный прошлый опыт, который отложился в нем.

Естественный язык складывается стихийно и постепенно. Его история неотделима от истории владеющего им народа. Искусственные языки и частично искусственные языки, сознательно создаваемые людьми для особых целей, как правило, более совершенны в отдельных аспектах, чем естественный язык. Но это совершенство в отношении узкого класса целей по необходимости оказывается недостатком в отношении всех иных задач.

Естественный язык столь же богат, как и сама жизнь. Разнородность, а иногда и прямая несовместимость выполняемых им функций — причина того, что не каждую из своих задач он решает с одинаковым успехом. Но как раз эта широта не дает языку закоснеть в жестких разграничениях и противопоставлениях. Он никогда не утрачивает способности изменяться с изменением жизни и постоянно остается столь же гибким и готовым к будущим переменам, как и она сама.

Разнообразные искусственные языки, подобные языкам математики, логики и т. д., генетически и функционально вторичны в отношении естественного языка. Тем более это относится к частично искусственным языкам. Все они возникают на базе обычного языка и могут функционировать только в связи с ним.

Обычный язык служит прежде всего для повседневного общения и имеет целый ряд своеобразных черт.

Этот язык является аморфным как со стороны своего словаря, так и в отношении правил построения выражений и придания им значений. В нем нет четких критериев осмысленности утверждений. Не выявляется четко логическая форма рассуждений. Значения отдельных слов и выражений зависят не только от них самих, но и от их окружения. Многие соглашения относительно употребления слов не формируются явно, а только предполагаются. Почти все слова имеют не одно, а несколько значений. Одни и те же предметы порой могут называться по-разному, иметь несколько имен. Есть слова, не обозначающие никаких объектов, и т. д.

Эти и другие особенности обычного языка говорят, однако, не столько об определенном его несовершенстве, сколько о могуществе, гибкости и скрытой силе.

2. Многозначность

Одна из основных трудностей одинакового понимания говорящими друг друга связана с тем, что слова, как правило, многозначны.

Многозначность — наличие у слова или выражения языка двух или более значений.

Например, слово «закон» может означать как регулярность, имеющую место в природе или обществе, так и утверждение о такой регулярности. Оно может означать не только научный закон, но и закон государства. Различие здесь существенное: научные законы могут претендовать на истинность, в то время как законы государства не способны быть истинными или ложными, поскольку они являются предписаниями и говорят не о том, что имеет место в действительности, а о том, что должно быть, но далеко не всегда реализуется.

Словарь современного русского литературного языка для самого обычного и ходового прилагательного «новый» указывает восемь значений, среди которых и «современный», и «следующий», и «незнакомый»... Когда что-то называется «новым», не сразу понятно, что конкретно имеется в виду под «новизной»: то ли радикальный разрыв со старой традицией, то ли чисто косметическое приспособление ее к изменившимся обстоятельствам. Неоднозначность «нового» может быть причиной ошибок и недоразумений, как это показывает следующее рассуждение, переключившее новатора в консерватора: «Он поддерживает все новое; новое, как известно, — это только хорошо забытое старое; значит, он поддерживает всякое хорошо забытое старое».

Есть слова, которые имеют не просто несколько разных значений, а целую серию групп значений, слабо связанных друг с другом и включающих десятки отдельных значений.

Таково, к примеру, обычное слово «жизнь». Во-первых, жизнь — это «бытие», «существование», в отличие от смерти; во-вторых, это

«развитие», «процесс», «становление», «достижение»; в-третьих, имеется огромное число областей, у каждой из которых очень мало общего со всякой другой: органическая и неорганическая жизнь, общественная, культурная, божественная и т. д.; в-четвертых, под жизнью понимается определенного рода распорядок или уклад: жизнь столичная, периферийная, яркая или будничная, театральная или профсоюзная и т. д.; в-пятых, жизнь — это «оживление», «подъем» или «расцвет жизненных сил», а также протекание или время жизни: «раз в жизни», «заря жизни», «на всю жизнь» и т. д. Разнообразие значений слова «жизнь» столь велико, что даже тавтология «Жизнь есть жизнь» не кажется бессодержательной, пустой: два вхождения в нее данного слова звучат как будто по-разному.

Многозначность не препятствует успешному функционированию естественного языка. Зачастую мы ее даже не замечаем. Мы легко проводим различие между случаями, когда слово «стоять» означает «не работать» и когда это же слово означает «временно размещаться» или «стойко держаться в бою».

Ни одно слово не существует в полной изоляции. В речи ему предшествуют какие-то слова, за ним следуют другие слова. Слово живет в определенной языковой среде, в речевом контексте.

Многозначность — естественная и неотъемлемая черта обычного языка. Сама по себе она еще не недостаток, но таит в себе потенциальную возможность логической ошибки.

В процессе общения всегда предполагается, что в конкретном рассуждении смысл входящих в него слов не меняется на протяжении рассуждения.

Если мы начали говорить, допустим, о собственности как экономической категории, то слово «собственность» должно, пока мы не оставим эту тему, обозначать принадлежность имущества определенным лицам на праве собственности.

Требование, чтобы каждое языковое выражение, используемое в процессе рассуждения, являлось именем одного и того же объекта (и, значит, не было многозначным), называется принципом однозначности.

Как только этот принцип нарушается, возникает логическая ошибка, именуемая эквивокцией (от греч. слова, означающего «катание в разные стороны»).

Во многих странах для выписки всевозможных счетов применяется ЭВМ. Один предприниматель не пользовался некоторое время энергией от городской электростанции. Но тем не менее он получил счет от электронного бухгалтера. Счет вполне справедливый — на 0,00 марки. Поскольку такой счет опечатывать бессмысленно, предприниматель бросил его в мусорный ящик. Вскоре пришел второй счет, за ним третий — с грозным предупреждением. Не дожидаясь штрафа, предприниматель послал чек на 0,00 марки. ЭВМ успокоилась.

Здесь двусмысленно слово «счет». Для предпринимателя счет на 0,00 марки — это вовсе не счет, для ЭВМ — это обычный счет, и он, как и любой другой, должен быть оплачен.

Изречение испанского художника Ф. Гойи, начертанное на одном из его офортов, «Сон разума рождает чудовищ» стало знаменитым. Оно допускает — и ему действительно давались — два разных истолкования. Разум, когда он бодрствует, преграждает путь чудовищам; но когда разум спит, они, пользуясь отсутствием противодействия, выходят на свет. И совсем иное истолкование: сам разум в кошмаре сна рождает мерзких призраков и чудовищ, одолевающих человека; человек не способен прийти к согласию с миром, пока не отыщет покоя и согласия с самим собой.

Поэт Н. А. Некрасов давал такой совет:

Правилу следуй упорно:

Чтоб словам было тесно, а мыслям просторно.

Смысл этого правила всем известен: необходимо говорить немногословно, но речь должна быть богатой мыслью. Однако если подойти к этому правилу несколько казуистически, оно получит другое толкование. Тесно бывает тогда, когда чего-то много, а просторно — когда чего-то мало. Получается как раз обратный смысл — побольше слов, поменьше мыслей.

«Согласно философам эпохи Просвещения, — говорится в одной книге, — правом человека является то, чтобы право давало ему право воспользоваться защитой права, когда его право нарушается».

Здесь «право» означает как «право человека», так и «государственное право».

Ученые вымышленной страны Лагадо, описанной английским сатириком Д. Свифтом, избегали словесных изъяснений. Поскольку слова — это названия вещей, они объяснялись друг с другом, показывая соответствующие предметы. Словарный запас каждого мудреца зависел от вместимости его мешка.

Боязнь слов — это чаще всего боязнь многозначности обычного языка. Наивно, конечно, думать, что ее можно избежать, не называя вещи, а показывая их. И вещи, и даже полное молчание столь же многозначны, как и слова. В конце концов, в обычных условиях многозначность опасна лишь для тех, кто не умеет должным образом обращаться с языком. Умелое использование способно превратить многозначность из опасного подводного камня в хорошее средство придания нашим мыслям и словам большей гибкости и выразительности.

3. Ясность и точность

Идеалами науки являются ясность, точность и строгость как научных понятий, так и научных рассуждений. Многие науки, в особенности социальные и гуманитарные, далеки от этих идеалов. Но тем не менее

наука в целом является областью, максимально доступной человеку ясного, точного и строгого мышления.

Ясность, точность и строгость научных рассуждений и научных теорий зависят от многих обстоятельств: от совершенства используемых понятий, логической последовательности проводимых обоснований, от надежности фактов, лежащих в основании научных теорий, от принятых в научном сообществе требований к научному рассуждению, от стиля мышления, господствующего в определенной культуре, и т. д.

Далее требования ясности, строгости и точности будут рассмотрены применительно прежде всего к научным понятиям.

Каждое понятие имеет определенное содержание и отсылает к некоторому классу, или множеству, объектов. Содержание понятия представляет собой совокупность тех признаков, которые мыслятся в понятии. Множество тех предметов, которые обозначаются понятием и обладают признаками, мыслимыми в его содержании, обычно называется **объемом понятия**.

Неясное понятие — понятие, являющееся размытым и недостаточно определенным в отношении своего содержания.

Хороший — можно сказать, классический — пример содержательно неясного понятия представляет собой понятие «человек». Неточность объема этого понятия совершенно незначительна, если она вообще существует. Класс людей ясно и резко очерчен. У нас никогда не возникает колебаний относительно того, кто является человеком, а кто нет. Особенно если мы отвлекаемся от вопросов происхождения человека, преемственности человеческого рода и т. п.

Вместе с тем с точки зрения своего содержания это понятие представляется весьма неопределенным. Существуют десятки и десятки разных определений человека.

Одним из самых старых и известных из них является определение его как животного, наделенного разумом. Но что такое разум, которого лишено все живое, кроме человека?

Платон определил человека как двуногое бесперое существо. Его оппонент, философ Диоген ошпылил цыпленка и бросил его к ногам Платона со словами: «Вот твой человек». После этого Платон уточнил свое определение: человек — это двуногое бесперое существо с широкими ногтями.

Еще один философ охарактеризовал человека как существо с мягкой мочкой уха. Благодаря какому-то капризу природы оказалось, что из всех живых существ только у человека мягкая мочка уха.

Последние два определения позволяют безошибочно и просто отграничивать людей от всех иных существ. Но можно ли сказать, что в этих определениях раскрывается содержание понятия «человек»? Вряд ли. Они ориентированы на сугубо внешние и случайные особенности че-

ловека и ничего не говорят о нем по существу. Человек не перестал бы быть самим собою, если бы у него ногти были несколько уже или мочка уха была бы твердой.

Еще писатель Ф. Рабле отличительную особенность человека усматривал — не без иронии, конечно, — в способности смеяться. Французский философ А. Бергсон отличительной особенностью человека считал его способность смешить других. Неуклюжие или забавные движения животного могут вызвать наш смех. Но животное никогда не задается специальной целью рассмешить. Оно не смеется само и не пытается смешить других. Только человек смеется и смешит.

В каждую эпоху имелось определение человека, представлявшееся для своего времени наиболее глубоким. Для греков человек — это мыслящее существо, для христиан — существо с бессмертной душой, для многих современных философов — животное, производящее орудия труда. Сверх того, для психолога человек является животным, употребляющим язык; для специалиста по этике — существом с «чувством высшей ответственности»; для специалиста по теории эволюции — млекопитающим с громадным мозгом и т. д.

Это обилие определений и точек зрения на «сущность» человека и на его «отличительные особенности» связано, конечно, с недостаточной четкостью понятия «человек», с неясностью его содержания.

Говоря о содержательно неясных понятиях, не следует представлять дело так, что неясность — это удел нашего повседневного общения и таких используемых в нем понятий, как «игра» или «язык». Неясными, как и объемно неточными, являются не только обиходные, но и многие научные понятия.

Степень содержательной ясности научных понятий определяется прежде всего достигнутым уровнем развития науки. Неразумно поэтому требовать большей — и тем более предельной — ясности в тех научных дисциплинах, которые для нее еще не созрели.

Следует помнить также, что понятия, лежащие в основании отдельных научных теорий, по необходимости остаются содержательно неясными до тех пор, пока эти теории способны развиваться.

Неплохим средством прояснения понятия иногда оказывается исследование его происхождения, прослеживание изменений его содержания во времени. Однако значение анализа этимологии слова для уточнения его содержания чаще всего переоценивается.

Один лингвист написал книгу о происхождении и эволюции слова «экономика» и представлял эту работу как вклад в науку экономику. Но отношение является скорее обратным. Не этимология имени «экономика» делает ясным его содержание и раскрывает, чем является наука с таким именем. Развитие самой экономики и уточнение основных ее принципов и понятий — вот что проясняет данное имя и саму его этимологию.

Еще несколько простых примеров для подтверждения ограниченного значения этимологии имени в разъяснении его содержания. «Феодал» и «феодализм» первоначально были терминами судебной практики. В XVIII в. они стали довольно неуклюжими этикетками для обозначения некоторого типа социальной структуры, довольно нечетко очерченной. Только во второй половине XIX в. эти термины приобрели современное, достаточно ясное содержание. Слово «капитал» первоначально употреблялось только ростовщиками и счетоводами, и только позднее экономисты стали последовательно расширять его значение. Слово «капиталист» появилось впервые в жаргоне спекулянтов на первых европейских биржах. Можно отметить, что слово «капитализм» появилось лишь в начале XX в. Слово «революция», возникнув в астрологии, означало правильное и беспрестанно повторяющееся движение небесных тел. Все эти этимологические экскурсы ничего — или почти ничего — не значат для более полного понимания указанных слов.

Обращение к истории слова, к эволюции его значения — в общем-то, неплохой прием для прояснения этого значения, и в обычной жизни, стремясь яснее понять что-то, мы нередко прибегаем к такому приему. Нужно, однако, помнить, что эволюция значения может быть непоследовательной, запутанной, а то и просто противоречивой. Слишком доверчивое отношение к «изначальному» смыслу слова, к его происхождению в любой момент может подвести.

Неточное понятие обозначает нечетко очерченный класс объектов.

В случае неточного понятия не всегда ясно, какие именно вещи попадают под него, а какие — нет. Возьмем понятие «молодой человек». В двадцать лет человека вполне можно назвать молодым. А в тридцать? А в тридцать с половиной? Можно поставить вопрос даже резче: начиная с какого дня или даже мгновения тот, кто считался до этого молодым, перестал быть им? Ни такого дня, ни тем более мгновения назвать, разумеется, нельзя. Это не означает, конечно, что человек всегда остается молодым, даже в сто лет. Просто понятие «молодой человек» является неточным, граница класса тех людей, к которым оно является применимым, лишена резкости, размыта.

Если в двадцать лет человек определенно молод, то в сорок его точно нельзя назвать молодым, во всяком случае, это будет уже не первая молодость. Где-то между двадцатью и сорока годами лежат довольно широкая область неопределенности, когда нельзя с уверенностью ни назвать человека молодым, ни сказать, что он уже немолодой.

Простые примеры неточных понятий указывают на две важные особенности рассуждений, включающие такие понятия.

Прежде всего неточность имеет контекстуальный характер, и это следует постоянно учитывать при обсуждении объектов, обозначаемых такими понятиями. Бессмысленно спорить, является какое-то сооружение домом или нет, принимая во внимание только само это сооружение.

В одних ситуациях и для одних целей — это, возможно, дом, с других точек зрения — это вовсе не дом.

Вторая особенность — употребление неточных понятий способно вести к парадоксальным заключениям. Нет песчинки, убрав которую, мы могли бы сказать, что с ее устранением оставшееся нельзя уже называть домом. Но это означает, как было замечено еще в античности, что ни в какой момент постепенной разборки дома — вплоть до полного его исчезновения — нет оснований заявить, что дома нет. Вывод явно парадоксальный и обескураживающий, и на нем надо будет специально остановиться.

Характерная особенность неточных понятий заключается в том, что с их помощью можно конструировать неразрешимые высказывания. Относительно таких высказываний невозможно решить, истинны они или нет, как, скажем, в случае высказываний: «Человек тридцати лет молод» и «Тридцать лет — это средний возраст».

Естественно, что наука стремится исключать неточные понятия, как и содержащие их неразрешимые высказывания, из своего языка. Однако ей не всегда удается это сделать. Многие ее понятия заимствованы из повседневного языка, модификация и уточнение их далеко не всегда и не сразу приводят к успеху.

Можно подвести итог всему сказанному о многозначности, неясности и неточности понятий обычного языка. Эти особенности обычных понятий — предмет интереса не только чистой теории, но и нашей повседневной практики употребления языка. Всякая наша мысль и каждое наше высказывание включают понятия. И, как правило, они являются многозначными, неясными или неточными. Это нужно постоянно иметь в виду, чтобы избегать недоразумений, непонимания и ненужных, чисто «словесных» споров.

4. Определечивание абстракций

Гипостазирование — ошибка, заключающаяся в определечивании абстрактных сущностей, в приписывании им реального, предметного существования.

Эту ошибку допускает, например, тот, кто предполагает, что слову «деньги», помимо отдельных денежных знаков, соответствует особый предмет — «деньги» как таковые, имеющие только признаки, общие для всех денег любых стран. Гипостазирование имеет место и тогда, когда утверждается, что наряду со здоровыми и больными людьми в реальном мире есть еще такие отдельные «существа» или «вещи», как «здоровье» и «болезнь».

Немецкий писатель Й. Гебель написал рассказ-притчу «Каннитферштан», на тему которой русский поэт В. Жуковский создал стихотворную балладу. В рассказе говорится о немецком ремесленнике, приехавшем

в Голландию и не знавшем языка этой страны. Кого он ни пытался спросить о чем-либо, все отвечали одно и то же: «Каннитферштан». В конце концов, ремесленник вообразил себе особое всесильное и злое существо с таким именем и решил, что страх перед этим существом мешает всем говорить с иностранцами. По-голландски же «каннитферштан» означает «не понимаю».

За внешней незатейливостью этого рассказа есть другой план. Все, что названо каким-то именем или просто каким-то словом, напоминающим имя, обычно приписывается существование, причем существование в форме особого предмета. Даже слова «ничто» и «несуществующий объект» кое-кому представляются в виде отдельных предметов.

В «Оливере Твисте» Ч. Диккенса один из героев говорит: «Закон осел, потому что он никогда не спит». В этом сведении разнородных, конкретных и абстрактных вещей к одной плоскости можно усмотреть гипостазирование.

Древнекитайский философ Гун Сунь Лун, путешествовавший на вороной лошади, подъехал к пункту пограничной стражи. Оказалось, что людей через границу пропускают, а лошадей нет. Тогда философ спросил начальника пограничной стражи: «Лошадь может быть белой? — Да, — ответил тот. — А вот это, — философ показал на свою лошадь, — может быть белым? — Нет, — уверенно ответил начальник стражи. — Значит, это не лошадь», — заключил философ. Удивленный таким рассуждением начальник стражи пропустил его вместе с лошадью. То, что имел в виду под «лошадью» философ, была «лошадь вообще». Она в самом деле может быть и вороной, и белой. Но то, на чем ехал философ, было, конечно, конкретной вороной лошадью, но вовсе не «лошадью вообще».

Тенденция овеществлять, персонифицировать абстракции сложилась, судя по всему, очень давно. В те времена, когда создавался язык и все обретало свои названия, люди верили в духов, в наполненность ими всего и не проводили ясного различия между реальностью и вымыслом. Все, что обозначалось именем существительным, будь то даже лишенное всякой определенности «ничто», люди были склонны представлять себе существом или неодушевленным предметом.

Эта склонность представлять абстрактные сущности в овеществленной форме настолько глубоко вошла в обычный язык, что даже современный человек иногда грешит таким «безответственным овеществлением».

Опасность гипостазирования существует не только в обыденном рассуждении, но и в научных теориях.

Идею, что общим именам соответствуют не только обозначаемые ими отдельные предметы или лица, но и какие-то особые «общие предметы», обосновывал Платон. Активные споры об объектах общих имен велись в Средние века. Сторонники реализма считали, что общее существует до предметов (в уме Бога, создавшего их), в предметах и, на-

конец, после предметов (в уме человека, фиксирующего их общность в каких-то чертах). Их противники, номиналисты, протестовали против опредмечивания абстрактных сущностей. С точки зрения номинализма реальны только единичные вещи, общее же существует лишь в уме человека, но не в самом мире.

Возражение против гипостазирования связано, в частности, с требованием «не удваивать сущности». Это требование известно под названием «бритвы Оккама» (У. Оккам — средневековый английский логик и философ). Если не только объекты, но и их свойства и отношения становятся самостоятельными предметами, это означает, что мир удваивается. Нельзя сомневаться в том, утверждали номиналисты, что существуют «круглые вещи», однако необходимо возражать против существования в качестве особого объекта также «круглости». Признание существования такого объекта означало бы, что вещи, называемые «круглыми», дополняются новой вещью, именуемой «круглостью».

Гипостазирование недопустимо в строгом экономическом рассуждении, где «удвоенное мира» неминуемо ведет к путанице между реальными предметами и вымышленными.

Оно может, однако, успешно использоваться в художественной литературе, где такое смешение не только не страшно, но может придавать особый колорит повествованию: «Писатель сочиняет ложь, а пишет правду» (А. С. Пушкин). Например, мы привыкли к тому, что река имеет глубину, а предметы — тяжесть. Но у поэта свойства вещей могут оказаться более изначальными, чем они сами, и даже существующими помимо самих вещей: «Плывет глубина по осенней воде, и тяжесть течет, омывая предметы» и даже «летит полет без птиц» (И. Жданов).

5. Роли понятий

Слова, как и люди, могут играть разные роли. Смешение *ролей*, или *употреблений*, одного и того же слова может оказаться причиной его **неясности и непонимания**.

На эту сторону дела обратили внимание еще средневековые логики, использовавшие термин «*суппозиция*» для обозначения разных употреблений одного и того же понятия.

В обычном языке понятие может относиться к предметам разных типов:

1. Оно может использоваться для обозначения любого отдельного предмета соответствующего класса.

Употребление понятия в его собственном, или обычном, смысле для обозначения произвольного объекта своего объема называется естественным, или нормальным, употреблением.

Например, слово «человек» обычно является общим понятием, обозначающим множество людей. Говоря: «Человек имеет возраст», мы имеем в виду: «Каждый человек имеет возраст».

2. Понятие может обозначать само себя, т. е. использоваться в качестве своего собственного имени.

Примерами такого употребления понятия «человек» могут служить утверждения: ««Человек» начинается с согласной буквы», ««Человек» состоит из трех слогов», ««Человек» — существительное с неправильным множественным числом». Употребление понятия в качестве обозначения самого себя называется *материальным употреблением*.

3. Понятие, когда оно используется в определенном контексте, может оказаться обозначением единичного объекта того класса объектов, который обычно обозначается этим понятием.

Так, слово «человек» обозначает множество людей, но в конкретном случае оно может употребляться для обозначения отдельного человека. Мы говорим, например, «Идет человек», подразумевая «Идет конкретный человек».

Употребление общего понятия для обозначения отдельного, конкретного объекта из числа всех входящих в его объем объектов называется *персональным употреблением*.

4. При так называемом *простом употреблении* понятие используется для обозначения всего соответствующего класса объектов, взятого как целое. Слово «человек» обозначает при таком употреблении всех людей, рассматриваемых как некоторое единство. Например: «Человек является одним из видов живых существ», «Человек со временем посетит все планеты Солнечной системы» и т. п.

Изучение употреблений понятий важно для предотвращения логических ошибок.

«Знаешь, — говорит один завзятый спорщик другому, — я умею говорить по-китайски, по-японски и по-арабски. — Не может быть. — Если не веришь, давай поспорим. — Давай поспорим. Ну, начинай говорить по-китайски. — Пожалуйста: «по-китайски», «по-китайски»... Хватит? — Ничего не понимаю. — Еще бы, я ведь говорю «по-китайски». А ты проиграл спор. Если хочешь, я буду говорить «по-арабски»...».

В этом диалоге один из спорщиков использует понятие «по-китайски» в его материальном употреблении, т. е. как имя самого этого слова. Он обещает произносить слово, обозначаемое данным именем и совпадающее с ним. Второй мальчик имеет в виду естественное употребление слова «по-китайски» и ожидает разговора на китайском языке. Очевидно, что затеянный ими спор неразрешим. Спорившие говорили о разных вещах: один — о своей способности повторять без конца слово «по-китайски», а другой — о разговоре на китайском языке.

В рассуждении «Поскольку человек — вид живых существ, а экономист — человек, то экономист — вид живых существ» явно смешиваются простое и естественное употребления понятия «человек».

В современной логике из многочисленных употреблений имен, выделявшихся средневековыми логиками, сохранило свое значение

различение формального и материального употреблений. Все остальные употребления слишком неопределенны и неустойчивы, чтобы ими пользоваться.

Использование понятия или иного выражения в материальном употреблении, т. е. в качестве имени самого себя, получило название «автонимного употребления выражений». Оно широко распространено в логике и математике. Сохранение в одном языке двух «ролей» одних и тех же слов — их формального и материального употреблений — двусмысленно. Но эта двусмысленность часто бывает удобной. Например, вместо того чтобы писать слова «знак сложения», мы можем писать «+», и этот крестик является именем самого себя.

В обычном языке возможность разных употреблений одних и тех же имен сохраняется. Однако не всегда ясно, какое именно употребление, скажем, имени «человек» имеется в виду в выражениях типа «Человек — это звучит гордо», «Человек человеку всегда придет на помощь» и т. п.

Двусмысленностей и непонимания, связанных с путаницей между естественным употреблением имени и его употреблением как своего собственного имени, можно всегда избежать. Для этого используются либо дополнительные слова в формулировке утверждения, либо кавычки, либо курсив. Скажем, кто-то может написать: «Человек состоит из трех слогов». Но чтобы не возникло недоразумения, надо употребить какую-либо из следующих формулировок: «Слово «человек» состоит из трех слогов», ««Человек» состоит из трех слогов» или «*Человек* состоит из трех слогов».

В экономическом языке понятия обычно используются в их естественном употреблении. Вместе с тем в юридической практике, как и в обычном языке, понятия иногда используются для обозначения отдельных конкретных объектов соответствующих классов.

6. Ситуативные понятия

Ситуативные понятия, называемые также *индексными*, или *эгоцентрическими*, — это понятия, полное значение которых меняется от ситуации к ситуации и зависит от того, кто, когда и где их использует.

К ситуативным относятся такие понятия, как «я», «ты», «мы», «они», «сейчас», «вчера», «завтра», «будет», «здесь», «там», и многие другие. Их собственное значение, т. е. значение, не зависящее от ситуации, в которой они употребляются, ничтожно. «Я» — это тот, кто говорит, «он» — лицо мужского рода, о котором идет речь, «здесь» — место, в котором произносится это слово, «теперь» — время, в которое идет речь, и т. д.

«Я» оказывается разным в устах разных людей. К примеру, в «Войне и мире» Л. Н. Толстого «я» — это в одном случае Кутузов, а в другом — Наполеон, в третьем — Пьер Безухов или Наташа Ростова. Человек мо-

жет всю жизнь повторять: «Сегодня ничего не делаем, но завтра разовьем бурную деятельность» — и продолжать бездельничать: всякий наступивший день будет для него «сегодня», а не «завтра». «Завтра, обязательно завтра» — обычная поговорка лежания. Известен рассказ о купце, который из соображений рекламы вывесил объявление: «Сегодня за наличные, завтра в кредит!» Он решил, что это объявление ни к чему его не обязывает: ни в какой день нельзя сказать, что сегодня — как раз тот день, когда наступило завтра.

Изменчивость значений ситуативных понятий может оказаться причиной ошибочных заключений.

Скажем, в рассуждении «Этот человек сидит, а этот человек стоит; значит, сидящий стоит» заключение нелепо, поскольку выражение «этот человек» отсылает, очевидно, к двум разным лицам.

Характерная особенность утверждений с ситуативными словами — непостоянство в отношении истины. В устах одного следователя утверждение «Я справился с поставленной задачей просто блестяще» может быть истинным, а в устах другого — ложным. Утверждение «В Москве вчера было солнечное затмение» истинно один день за много лет и ложно во всякое другое время.

Ситуативные понятия при неумеренном их употреблении делают рассуждение неконкретным и нечетким. Обороты типа «мы не согласны», «здесь такое не пройдет», «не забывайте, где вы находитесь», «мы так считаем», «сейчас принято так говорить» и т. п. делают рассуждение аморфным (кто эти «мы»? где именно «здесь»? что конкретно неприемлемо? и т. д.).

«А нельзя ли было тому, кто критиковал того, который критиковал неизвестно кого, назвать кого-нибудь еще, кроме того, кто критиковал...» — нагромождение ситуативных слов делает смысл этого предложения трудноуловимым.

Шутливая пословица «Подпись без даты хуже, чем дата без подписи» подсказывает, что не только сказанное, но и написанное может оказаться ситуативным, а значит, меняющим свое значение.

Ситуативные понятия помогают выделить устойчивое, тождественное в изменяющемся. Но они нередко оказываются и средством ошибочных отождествлений.

Все это показывает, что ситуативные понятия требуют определенного внимания, а иногда и известной осторожности. Особенно если мы стремимся к ясности, точности и конкретности сказанного и написанного.

Научный язык стремится избегать ситуативных понятий и связанной с ними неустойчивости высказываний. От научных формулировок требуются стабильность сказанного и написанного, независимость его от лица, места и времени. Вместо того чтобы писать «он», «сегодня», «здесь» и т. п., указывают фамилию, имя и отчество (возможно, и другие паспортные данные, вплоть до номера отделения милиции, выдавшего

паспорт), дату по календарю и географическое название местности. Тем самым неустойчивость снимается. Истинность утверждений типа «Иванов Иван Петрович 24 августа 2000 г. находился в Москве» не меняется с изменением времени или места их произнесения. Она не зависит и от того, кому принадлежит подобное утверждение».

Нужно учитывать, однако, что ситуативные понятия — не просто досадная черта обычного, не особенно строгого языка, которой можно было бы совершенно избежать в каком-то «совершенном» языке. Эти слова — необходимая составная часть языка. Без них он не может быть связан с миром, и все попытки полностью избавиться от них никогда не приводят к полному успеху даже в науке.

Существенно также, что процедура устранения ситуативных понятий обычно приводит к громоздким формулировкам, смысл которых нелегко уловить сразу.

7. Понятия «хороший» и «должный»

Далее будет рассмотрен вопрос о значениях «добра», или «хорошего», в естественном языке и в экономическом языке. Хотя речь будет идти, как это делается обычно, о значениях «добра», рассуждения о понятии «добро» («хороший») нетрудно обобщить на случай других оценочных понятий.

Важно отметить, что все, сказанное о функциях, или употреблении, слова «хороший», прямо приложимо и к понятию «должный», часто употребляемому в экономическом языке.

Две функции слова «хороший»

Слово «хороший» и многочисленные его заместители в разных контекстах выполняют разные функции. Наиболее важны две из них:

- *функция мотивации деятельности;*
- *функция замещения совокупности некоторых эмпирических свойств.*

Обычное употребление предложений типа: «Это — прекрасно работающее предприятие», «Я люблю, когда правила выполняются неукоснительно», «Деятельность этих фирм возмущает меня» и т. п. — это употребление их для выражения определенных психических состояний, связанных с ценностями.

Чувства удовлетворения и неудовольствия, наслаждения и страдания, желания, стремления, предпочтения и т. д. могут выражаться не только с помощью таких слов, как «нравятся», «люблю», «возмущен», «ненавижу» и т. п., но и с помощью наиболее общих оценочных понятий.

С другой стороны, психические состояния могут выражаться и с помощью предложений, вообще не содержащих оценочных терминов. Одобрение и порицание, положительная и отрицательная психическая

реакция на ту или иную вещь или событие нередко могут быть выражены также жестами, мимикой, произвольными возгласами и т. п.

Понятия «хорошо», «плохо», «безразлично» могут использоваться не только для выражения разнообразных состояний души, связанных с ценностями и побуждающих прямо или косвенно к определенной деятельности, но и для замещения тех или иных совокупностей данных в опыте свойств.

Обычное употребление предложений типа «Это — преступная небрежность», «Автомобили такой-то марки являются плохими», «Вещество А — прекрасное лекарство» и т. п. — это употребление их с намерением указать, что рассматриваемые предметы обладают вполне определенными свойствами: являются нарушением закона, имеют малую или большую скорость, быстро излечивают какие-то болезни и т. д.

Множества свойств, которые могут представляться словами «хороший», «плохой», «безразличный» и т. п., очень разнородны. Более того, «хороший» и «плохой», высказываемые о вещах одного и того же типа, но в разное время, иногда замещают разные или даже не совместимые друг с другом множества свойств.

Слова «хороший», «плохой», «лучший», «худший» и т. п., выполняющие функцию замещения, характеризуют отношение оцениваемых вещей к определенным, социальным по своей природе образцам, или стандартам.

В этих складывающихся стихийно стандартах указываются совокупности эмпирических свойств, которые, как считается, должны быть присущи вещам. Для вещей разных типов существуют разные стандарты: свойства, требуемые от хороших менеджеров, не совпадают со свойствами, ожидаемыми у хороших полководцев, и т. п. Стандартные представления о том, какими должны быть вещи определенного типа, не остаются неизменными с течением времени: хороший римский землевладелец вполне мог бы оказаться плохим современным землевладельцем, и наоборот.

Для отдельных типов вещей имеются очень ясные стандарты. Это позволяет однозначно указать, какие именно свойства должна иметь вещь данного типа, чтобы ее можно было назвать хорошей. В случае других вещей стандарты расплывчаты и трудно определить, какие именно эмпирические свойства приписываются этим вещам, когда утверждается, что они являются хорошими.

Легко сказать, например, какие свойства имеет «энергично развивающаяся экономика». Сложнее определить, что человек понимает под хорошим домом, и совсем трудно вне контекста решить, какой смысл вкладывается в выражение «хорошая сделка» или «хорошая шутка».

Для вещей отдельных классов вообще не существует сколько-нибудь определенных стандартов. С менеджерами и экономистами приходится сталкиваться довольно часто, их функции сравнительно ясны, и слож-

лись устойчивые представления о том, чего следует ожидать от хорошего менеджера или хорошей экономики и т. д. Но что представляет собой хорошая планета? Сказать, что это такая планета, какой она должна быть, — значит ничего не сказать. Для планет не существует стандарта, или образца, сопоставление с которым помогло бы решить, является рассматриваемая планета хорошей или нет.

«Должный»

Подобно понятию «хороший», понятие «должный» также может фигурировать как в описательном утверждении, замечая какую-то совокупность эмпирических свойств, так и в нормативном утверждении, выражая какое-то предписание. Аналогия между «хорошим» и «должным» настолько очевидна, что нет необходимости останавливаться на ее деталях.

Ситуация усложняется, однако, тем, что вне контекста употребления высказывания обычно трудно решить, какую из двух возможных функций оно выполняет.

Две функции, характерные для некоторых оценочных и нормативных терминов, подобных «хорошему» и «должному», — *функция мотивации* и *функция замещения* — независимы друг от друга. Слова «хороший», «плохой», «лучший», «должный» и т. п. могут ниогда использоваться лишь для выражения определенных состояний сознания оценивающего субъекта и побуждения к определенной деятельности, а иногда только для указания отношения оцениваемого предмета к некоторому стандарту. Нередко, однако, эти слова употребляются таким образом, что ими выполняются обе указанные функции.

Предложение «С — лжец», как оно употребляется обычно, является описательным в двояком смысле: оно указывает, что высказывания субъекта С, как правило, не соответствуют фактам; оно говорит, кроме того, что это несоответствие можно квалифицировать, пользуясь существующими стандартами, как ложь, а С назвать лжецом. Этим же предложением выражается также осуждение двоякого рода: субъективное неодобрение поведения С человеком, называющим С лжецом, и порицание поведения С, группой людей, к которой относятся говорящий и которой принадлежат используемые им стандарты.

Проведение ясного различия между разными функциями оценочных понятий позволяет объяснить многие странные на первый взгляд особенности употребления таких понятий.

Слово «хороший» может высказываться об очень широком круге вещей: хорошими могут быть и предприятия, и экономики, и книги и т. д. Разнородность класса хороших вещей отмечал еще Аристотель. Он использовал ее как довод против утверждения Платона о существовании общей идеи добра. Хорошими могут быть вещи столь широкого и столь неоднородного класса, что трудно ожидать на-

личия у каждой из них некоторого общего качества, обозначаемого словом «хорошее».

Факт необычайной широты множества хороших вещей несомненен. Понятие функции замещения дает возможность объяснить как этот факт, так и разнообразие смыслов, которые может иметь слово «хороший».

Мнимая парадоксальность «хорошего» и «должного»

Слово «хороший» не обозначает никакого фиксированного эмпирического свойства (или свойств). Данным словом представляются совокупности таких свойств, и при этом таким образом, что в случае разных типов вещей эти совокупности являются разными. «Красным», «тяжелым» и т. п. может быть названо лишь то, что имеет вполне определенные свойства. Приложимость «хорошего», как и «должного», не ограничена никакими конкретными свойствами. Все это справедливо и для другой функции слов «хороший» и «должный» — функции выражения.

Английский философ Дж. Мур высказывает следующие два положения о «добре», или «хорошем»:

(1) «добро» зависит только от внутренних (естественных) свойств вещи;

(2) но само оно не является внутренним свойством.

Иными словами, является ли определенная вещь хорошей, зависит исключительно от естественных, или описательных, свойств вещи, но слово «хороший» не описывает эту вещь.

Данные положения кажутся на первый взгляд парадоксальными, но в действительности они дают довольно точную характеристику «добра» и «хорошего». Слово «хороший» ничего не описывает в том смысле, в каком описывают такие слова, как «желтый», «тяжелый» и т. п. Но то, что та или иная конкретная вещь является хорошей, определяется ее фактическими, или описательными, свойствами. Можно добавить, что точно так же слово «должный» ничего не описывает и вместе с тем зависит от описательных свойств «должного».

Мур, однако, не вполне прав, утверждая, что добро зависит только от естественных свойств вещи. Оно зависит в равной мере и от существования социальных по своей природе стандартов, или образцов, касающихся вещей рассматриваемого типа.

Значение высказываний со словами «хороший» и «должный»

Выражения языка, в которых термины «хорошо», «плохо», «лучше», «хуже» и т. п. выполняют только функцию замещения, являются, по своей сути, *описаниями* и могут быть истинными или ложными. Процесс установления их истинностного значения состоит в сопоставлении свойств оцениваемого предмета со стандартом, касающимся вещей этого типа.

Например, высказывание «Это — хороший жилой дом» истинно в том случае, когда рассматриваемый дом имеет морфологические и функциональные характеристики, требуемые стандартом домов указанного типа. Высказывание «А — хороший предприниматель» истинно, если А является предпринимателем и успешно справляется с требованиями, предъявляемыми обычно к предпринимателям.

Для вещей многих типов не существует стандартов. Утверждения, что эти вещи являются хорошими или что они являются плохими, не имеют смысла. Естественно, что эти утверждения не имеют также истинностного значения.

Неясность многих стандартов и отсутствие устоявшихся представлений о том, какими должны быть вещи некоторых типов, не означает, конечно, что все оценки с точки зрения стандартов лишены истинностного значения.

Высказывания, в которых слова «хороший», «плохой», «лучший», «худший» и т. п. выполняют только функцию мотивации, не являются ни истинными, ни ложными. Они ничего не описывают и ничего не утверждают. Они являются, как говорил Ф. Ницше, только «пунктуациями человеческой воли», словесными выражениями определенных человеческих устремлений.

Здесь следует обратить внимание на многозначность слова «оценка» в естественном языке. Обычно «оценкой» называется выражение в языке ценностного отношения. «Оценки» в этом смысле не являются истинными или ложными. Но иногда слово «оценка» употребляется в более широком смысле, при котором к оценкам относятся все высказывания с оценочными словами «хорошо», «плохо» и т. п. В этом случае те «оценки», которые выполняют функцию замещения и не выполняют функцию мотивации, совпадают с описаниями и являются истинными или ложными. Это еще раз подчеркивает справедливость той мысли, что описания и оценки нельзя разделить по чисто грамматическим признакам, по употреблению в них определенных («оценочных») слов.

Аналогичным образом обстоит дело и в случае слов «должный», «не должный» и т. п. Высказывания с этими словами, обычно относимыми к «нормативным», являются истинными, если данные слова выполняют функцию замещения. Высказывания с «должным» и т. п. в функции мотивации не являются описаниями и не имеют истинностного значения.

Глава 10

ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНЫХ ТЕОРИЙ

1. Внутренние и внешние факторы развития научных теорий

Постоянное развитие — одна из наиболее фундаментальных характеристик не только человеческого общества, но и науки. Рассматривать науку вне истории, отвлекаясь от ее непрерывного изменения, — все равно, что рассуждать о жизни отдельного человека, абстрагируясь от того, что он в определенный момент рождается, затем взрослеет, старится и умирает.

Всякая научная дисциплина является результатом предшествующей истории, точкой пересечения разнородных, а зачастую и противоречивых тенденций, идущих из прошлого через настоящее в будущее. Философия науки, не принимающая во внимание развитие науки и исторически конкретное время ее существования, ее прошлое и ее будущее, является не просто абстрактной и малополезной, а пустой и вредной.

Из многих тысячелетий человеческой истории более или менее точно известны только последние шесть тысяч лет. Истоки человечества покрыты глубоким мраком, и о них можно только догадываться. Будущее человечества неопределенно. Трудно сказать, что будет даже спустя сто лет, когда окажутся исчерпанными запасы нефти, газа, угля и т. п., а численность человечества удвоится или утроится. Неопределенным является и будущее науки.

В этой ситуации темноты прошлого и неясности будущего изучение настоящего, представляющего собой только подвижную границу между прошлым и будущим, является непростым делом. И тем не менее известная нам часть истории науки должна быть использована сполна, чтобы яснее понять существующую науку и представить хотя бы в общих чертах то, что ожидает ее в будущем.

Интернализм и экстернализм

В философии науки прошлого века противостояли друг другу два представления о движущих силах развития науки — *интернализм* и *экстернализм*. Они по-разному объясняли возникновение и развитие научных идей и теорий.

Согласно интернализму, представителями которого были А. Койре, А. Р. Холл, П. Росси и др., наука развивается только благодаря внутренним факторам: в силу объективной логики возникновения и решения научных проблем, благодаря эволюции научных традиций, вследствие внутренней потребности самой науки проводить эксперименты, создавать новые понятия и теории и т. п.

Экстернализм, сторонниками которого являлись Б. Гессен, Д. Бернал, Дж. Холдейн, Д. Нндам и др., развитие науки объяснял главным

образом социально-экономическими, вненаучными факторами. При изучении науки основной задачей считалось описание тех социально-культурных условий, в которых возникают и развиваются конкретные научные теории.

Например, научную революцию XVI — XVII вв., приведшую к возникновению современной науки, интерналисты объясняли отказом от античного понятия упорядоченного Космоса и заменой его понятием гомогенного, изотропного и бесконечного пространства. Экстерналисты, напротив, представляли эту революцию следствием развития машинного производства и формирования капиталистических отношений.

Согласно интернализму, социально-экономические, культурные, личностные факторы, оказывающие воздействие на развитие науки, способны только затормозить или ускорить имманентное развитие научного познания. По мнению экстернализма, наука развивается, реагируя на воздействие внешней, социально-культурной среды, в которой протекает процесс научного исследования.

И интернализм, и экстернализм являются крайними и в основе своей ошибочными позициями. В науке, несомненно, существует преемственность идей, новые научные теории возникают в результате критики и отвержения прежних теорий. Нельзя каждое научное достижение рассматривать как ответ на назревшую социальную потребность. Вместе с тем наука всегда существует в определенном социальном контексте и испытывает постоянное влияние со стороны культуры того общества, в рамках которого она развивается. Целые научные области и направления могут возникать благодаря новой общественной потребности. Примерами может служить создание все новых видов вооружений, в частности ядерного оружия, вычислительной техники в ответ на ясно выраженные социальные запросы.

История науки при описании развития науки должна соединять влияние культуры на науку с филиацией научных идей, последовательным продолжением того, что говорилось в конкретных областях знания на предшествующих стадиях их развития.

2. Два полюса развития научных теорий

В современной философии науки противопоставляются два полярных отношения к научному методу — методологизм и антиметодологизм. С точки зрения *методологизма* решающую роль в принятии конкретной научной теории играет соответствие ее научному методу. *Антиметодологизм*, напротив, утверждает, что научный метод является фикцией и что ученый на каждом этапе своего исследования применяет те правила, которые требуются реальной ситуацией. При этом он может отбросить любое из методологических правил, использовавшихся им ранее, и ввести совершенно новое правило.

С противопоставлением методологизма и антиметодологизма непосредственно связано противопоставление так называемых «нормальной» науки и «анархической» науки. Первая явственно тяготеет к методологизму, вторая доходит до отрицания существования какого-либо особого метода, отличающего научную деятельность от других областей человеческой деятельности.

Термины «нормальная» наука» и «анархическая» наука» не кажутся особенно удачными. Они употребляются, однако, уже относительно давно, и нет смысла заменять их теперь какими-то другими терминами.

«Нормальная» наука и «анархическая» наука являются теми двумя полюсами, между которыми протекает развитие научных теорий. Теории, стоящие между отчетливой «нормальной» наукой и отчетливо выраженной «анархической» наукой составляют в реальном процессе научного познания подавляющее большинство. Однако своеобразие любой из промежуточных теорий не может быть описано без учета того, к какому из двух возможных полюсов она тяготеет.

Противопоставление «нормальной» и «анархической» науки является, как станет ясно из дальнейшего, аналогом противопоставления друг другу закрытого (коллективистического) и открытого (индивидуалистического) устройств общества.

Из этого можно заключить, что наука, несмотря на все ее своеобразие, развивается по тем же общим принципам, по которым развивается само общество.

Закрытые (коллективистические) сообщества

Прежде чем перейти непосредственно к описанию и анализу «нормальной» науки, остановимся вкратце на так называемых «закрытых сообществах». «Нормальная» наука является одним из таких сообществ. Сопоставление ее с другими, хорошо известными закрытыми сообществами, подобными армии или церкви, позволит яснее понять те особенности «нормальной» науки, которые кажутся на первый взгляд парадоксальными.

В каждом обществе, независимо от того, является оно закрытым или открытым, имеются определенные закрытые сообщества. К их числу относятся *армия, церковь, тоталитарные религиозные секты, тоталитарные политические партии, предприятия, корпорации, организованная преступность* и др. Закрытым по своей сути сообществом является и так называемая «нормальная» наука, впервые возникающая в индустриальном обществе. Характерные коллективистические свойства демонстрирует также человеческая толпа, приобретающая свойство «психологической массы».

«Нормальная» наука как закрытое сообщество. «Нормальная» наука представляет собой сообщество ученых, занимающихся разработкой научной теории, уже добившейся несомненных успехов в объяснении исследуемой области явлений и относительно устоявшейся.

«Нормальная» наука — это не только сообщество ученых, занимающихся ее разработкой. Это и сама научная теория, ставящая перед учеными задачу последовательного развертывания господствующего в ней образца и прослеживания на разнообразном конкретном материале его следствий, зачастую не особенно считаясь с тем, в какой мере они согласуются с отдельными фактами.

Представление о нормальной науке было введено в 60-е гг. прошлого века Т. Куном. Центральным для такой науки является понятие *парадигмы* — теоретического примера, или образца, для дальнейшей деятельности определенного научного сообщества.

«...Термин «нормальная наука» означает исследование, прочно опирающееся на одно или несколько прошлых научных достижений — достижений, которые в течение некоторого времени признаются определенным научным сообществом как основа для развития его дальнейшей практической деятельности»¹. Ученые, опирающиеся в своей деятельности на одну и ту же парадигму, используют одни и те же правила и стандарты научной практики. Общность исходных установок и та согласованность, которую они обеспечивают, представляют собой предпосылки для нормальной науки, т. е. для генезиса и преэминентности в традиции того или иного направления исследований.

Достижения, составляющие основу «нормальной» науки, должны удовлетворять двум требованиям: быть достаточно беспрецедентными, чтобы отвлечь ученых на долгое время от конкурирующих моделей научных исследований, и в то же время быть настолько открытыми, чтобы новые поколения ученых могли в их рамках найти для себя нерешенные проблемы любого вида.

«Вводя этот термин, — пишет Кун о понятии парадигмы, — я имел в виду, что некоторые общепринятые примеры фактической практики научных исследований — примеры, которые включают закон, теорию, их практическое применение и необходимое оборудование, — все в совокупности дают нам модели, из которых возникают конкретные традиции научного исследования. Таковы традиции, которые историки науки описывают под рубриками «астрономия Птолемея (или Коперника)», «аристотелевская (или ньютоновская) динамика», «корпускулярная (или волновая) оптика» и т. д.»².

Кун полагает, что развитие научных теорий идет по схеме: «нормальная» наука → научная революция → «нормальная» наука → ... Каждая теория проходит этап «нормальной» науки, а последняя является необходимой предпосылкой научной революции. Революция ведет к установлению новой «нормальной» науки и т. д.

¹ Кун Т. Структура научных революций. М., 1975. С. 27

² Там же. С. 27–28

Выделим те особенности «нормальной» науки, которые позволяют охарактеризовать сообщество ученых, занимающееся разработкой такой науки, как коллективистическое по своей сути сообщество:

- уменьшение до одной числа тех теорий, которые конкурируют в объяснении исследуемой области явлений;

- твердое убеждение в том, что монополярная теория способна обеспечить решительное продвижение в изучении рассматриваемого круга явлений, что она впервые даст полное и исчерпывающее объяснение всех относящихся к делу фактов и исключит все аномалии;

- сведение к минимуму фундаментальных исследований, касающихся той парадигмы, которая лежит в основе «нормальной» науки;

- резкое ограничение научной критики и прежде всего критики, касающейся оснований «нормальной» науки;

- сведение всех задач научного исследования к конкретизации знания, даваемого «нормальной» наукой, развитию его деталей и распространению исходной и не подлежащей критике теории на всю исследуемую область;

- ограничение рассматриваемых проблем проблемами-головоломками, ответ на которые вытекает из принятой парадигмы и не требует введения новых фундаментальных допущений;

- нетерпимое отношение к тем, кто отказывается признать монополию теории, принимаемой «нормальной» наукой в качестве своей парадигмы.

Как и всякое закрытое сообщество, «нормальная» наука имеет свой символ веры и свою радикальную цель, своих вождей и своих врагов. Она предполагает энтузиазм своих сторонников, связанный с неуклонным и радикальным преобразованием знания в соответствующей области, и вместе с тем известный страх, что какие-то из постоянно обнаруживаемых аномальных явлений не удастся объяснить в рамках принятой и хорошо уже себя зарекомендовавшей парадигмы. «Нормальная» наука предполагает, наконец, определенную систему действий, поскольку парадигма направляет научное исследование как благодаря непосредственному моделированию, так и с помощью абстрагированных из нее правил деятельности¹.

Концепция «нормальной» науки Куна вызвала оживленные споры, продолжавшиеся более двух десятилетий. Ее сторонники находили парадигмы и, соответственно, «нормальную» науку в самых разных областях знания, включая даже социологию и психологию; схема научного развития от «нормальной» науки через научную революцию снова к «нормальной» науке представлялась им универсальной, не знающей исключений. Те научные дисциплины, которые не укладывались в эту схему, оценивались как недостаточно зрелые и только находящиеся

¹ Кун Т Структура научных революций. М., 1975. Раздел пятый.

на пути к «нормальной» науке. В частности, экономическая наука считалась не имеющей никакой общепринятой парадигмы и не способной когда-либо достичь ее. Эта наука всегда будет представлять совокупность не совместимых друг с другом и жестко конкурирующих теорий, ни одна из которых не способна достичь решающей победы и единодушного принятия ее научным сообществом.

«Анархическая» наука

Противники концепции «нормальной» науки и связанного с нею представления об основных этапах развития научного знания утверждали, что «нормальная» наука просто не существует.

Рекомендацию выбирать из множества теорий одну, обещающую наиболее плодотворные результаты, и упорно держаться за нее, несмотря на серьезные трудности, П. Фейерабенд называет «принципом упорства».

«Принцип упорства вполне разумен, поскольку теории способны развиваться, совершенствоваться и со временем справляться с теми трудностями, которых они совершенно не могли объяснить в их первоначальной форме. Кроме того, неблагоприятно слишком полагаться на экспериментальные результаты... Разные экспериментаторы способны совершать разнообразные ошибки, и обычно требуется значительное время для того, чтобы все эксперименты пришли к общему знаменателю»¹.

Вместе с тем Фейерабенд полагает, что если цель ученого — изменение парадигмы, а не ее сохранение любой ценой, он должен быть готов принять вместо принципа упорства «принцип пролиферации», требующий постоянного изобретения альтернатив обсуждаемых точек зрения, включая даже выдвижение гипотез, противоречащих подтвержденным теориям².

Фейерабенд отвергает приверженность единственной точке зрения и показывает, что в некоторых областях знания нет и никогда не было парадигм, не допускающих критического обсуждения.

«Физиология, нейрофизиология и некоторые разделы психологии далеко опередили современную физику в том, что научились делать обсуждение фундаментальных проблем существенной частью даже самых конкретных исследований. Содержание понятий не фиксировано жестко — они остаются открытыми и получают дополнительное разъяснение то от одной, то от другой теории. Ничто не указывает на то, что такая «философская» установка, которая, согласно Куну,

¹ Фейерабенд П. Объяснение, редукция и эмпиризм // Избранные труды по методологии науки. М., 1986. С. 118.

² См.: Фейерабенд П. Против методологического принуждения. Очерк анархической теории познания // Избранные труды по методологии науки. Глава 3.

лежит в основе подобного образа действий, препятствует прогрессу познания»¹.

Позиция Фейерабенда — характерный пример отбрасывания самой концепции «нормальной» науки и диктуемой ею схемы научного развития, «в которой профессиональная тупость периодически сменяется вспышками философских исканий только для того, чтобы подняться на «более высокий уровень»»².

Существует ли «нормальная» наука?

Включение «нормальной» науки (сообщества ученых, занятых такой наукой) в число коллективистических сообществ позволяет дать ясные ответы на два ключевых вопроса, связанных с такой наукой: существует ли нормальная наука реально и является ли схема ««нормальная» наука → научная революция → «нормальная» наука ...» универсальной, применимой ко всем без исключения научным дисциплинам.

Ответ на первый вопрос должен быть утвердительным. «Нормальная» наука существует, и Кун приводит убедительные примеры, подпадающие под его описание такой науки. Он правильно подчеркивает догматический, авторитарный и ограниченный характер «нормальной» науки³. Верным является и его заключение, что она приводит к временному «ограничению мысли»⁴, что ученые в этот период «в значительной мере перестают быть исследователями...или, по крайней мере, исследователями нового. Вместо этого они стараются разрабатывать и конкретизировать уже известное»⁵.

Вместе с тем «нормальная» наука не является необходимым этапом в развитии каждой научной теории, миновавшей период своей предыстории. «Нормальная» наука представляет собой коллективистическое предприятие и, как всякое такое предприятие, не может быть универсальной.

Не каждое общество проходит этап ясно выраженного коллективистического развития, не всякая политическая партия или религиозная секта с необходимостью становится тоталитарной. Точно так же не каждая научная дисциплина со временем вступает в период «нормальной» науки и далее развивается, чередуя такие периоды с научными революциями.

Так, большинство гуманитарных наук явно не имеет ясных, общепринятых и не подвергающихся критике парадигм, задающих направ-

¹ Фейерабэнд П. Объяснение, редукция и эмпиризм // Избранные труды по методологии науки. С. 111

² Там же. С. 124.

³ См.: Кун Т. Структура научных революций. С. 349, 393, 350.

⁴ Там же. С. 393.

⁵ Там же. С. 363.

ление будущих исследований. Да и многие естественно-научные теории никогда не приобретают тех ясных коллективистических черт, которые имеет «нормальная» наука.

Этап «нормальной» науки не только не универсален, но и столь же редок, как редок чистый коллективизм, а в современном обществе — тоталитаризм. Реальные научные теории столь же разнообразны, как и способы социального устройства в разных странах или как способы организации и функционирования разных политических партий.

Все это означает, что идея, будто всякое научное развитие идет по одной и той же схеме, чередуя периоды «нормальной» науки с периодами научных революций, является существенным упрощением реальной эволюции научного знания. Таким же упрощением было бы представлять развитие каждого общества как переход его от предыстории к истории, сводящейся затем к схеме: коллективистическое общество → социальная революция → новая форма коллективистического общества и т. д.

«Нормальная» наука — только один из полюсов, к которому могут тяготеть реальные научные теории. Многие из них никогда не достигают этого полюса и не основывают свою деятельность на безусловном соблюдении «принципа упорства».

Другим полюсом, притягивающим к себе научные теории, является описываемая Фейерабендом «анархическая» наука с ее «принципом пролиферации» и максимой «допустимо все» (нет методологических принципов, всегда ведущих к успеху в научном исследовании, так же, как нет принципов, в любых условиях приводящих к неудаче).

«Анархическая» наука является индивидуалистическим предприятием, и ее можно уподобить индивидуалистическому обществу. Как редкая научная теория достигает коллективистического полюса, точно так же лишь немногие теории достигают индивидуалистического полюса. Большинство научных теорий движется между этими двумя полюсами, причем естественно-научные теории, как правило, тянутся к форме коллективистической «нормальной» науки, а гуманитарные и социальные науки — к форме индивидуалистической «анархической» науки.

Интересно отметить, что Фейерабенд упрекает Куна за то, что его описание «нормальной» науки очень близко по своему смыслу описанию организованной преступности: «Каждое утверждение Куна о «нормальной» науке останется истинным, если слова «нормальная наука» заменить словами «организованная преступность», а любое его утверждение об «индивидуальном ученом» в равной мере применимо к отдельному взломщику сейфов»¹.

Организованная преступность, безусловно, представляет собой только решение головоломок. Она сводит к минимуму фундаментальные

¹ Фейерабенд П. Объяснение, редукция и эмпиризм // Избранные труды по методологии науки. С. 113

исследования и старается лишь конкретизировать известное. Отсутствие успеха у индивида она объясняет его некомпетентностью, а не ошибочностью той общей теории, которой он руководствовался. «Вот так шаг за шагом мы можем дойти до самого конца перечня особенностей научной деятельности, выделенных Куном... Куда ни глянь, не увидишь разницы между гангстерами и учеными»¹.

Причину этого сближения «нормальной» науки и организованной преступности Фейерабенд видит в том, что Кун забывает о важном факторе — о цели науки, и не ставит вопрос: позволяет ли «нормальная» наука достигнуть этой цели?

Фейерабенду не откажешь в наблюдательности, но то, в чем он усматривает явный порок куновского представления о «нормальной» науке, можно оценить и как известное достоинство этого представления.

«Нормальная» наука в описании Куна является коллективистическим сообществом, как и организованная преступность. И то, что между ними обнаруживается далеко идущее сходство, является выражением этого простого факта. «Нормальную» науку можно было бы сопоставить также с тоталитарной сектой или с тоталитарной политической партией, и здесь вновь обнаружилось бы важное сходство.

3. Научные революции

Развитие каждой науки носит скачкообразный характер. «Скачки» в процессе эволюции научной дисциплины принято называть *научными революциями*.

Примерами научных революций могут служить переход от геоцентрической системы Птолемея в гелиоцентрической системе Коперника, переход от представлений об особой «огненной материи» (флогистона) к теории окисления Лавуазье, переход от классической механики Ньютона к общей теории относительности Эйнштейна. Научная революция в психологии, сделавшая ее самостоятельной наукой и отделившая ее от философии, произошла во второй половине XIX в. и была связана с проникновением в психологию эмпирического метода. Научная революция в логике во второй половине XIX — начале XX в. была следствием сближения логики, считавшейся до этого одной из ветвей философии, с математикой. Логическое доказательство было представлено как процедура, подобная математическому вычислению, протекающему по простым правилам, имеющим чисто формальный характер. На смену так называемой «традиционной логике» пришла возникшая на стыке таких двух очень разных наук, как философия и математика, «современная (математическая, символическая) логика».

¹ Фейерабенд П. Объяснение, редукция и эмпиризм // Избранные труды по методологии науки. С. 115

В ходе научной революции пересматриваются старые научные теории, и им на смену приходят новые теории. Иногда прежние, казавшиеся ранее неколебимыми теории в ходе их критики и пересмотра оказываются частями новых, обычно более широких теорий. Но чаще пересмотр оказывается настолько радикальным, что от старых теорий ничего не остается, за исключением фактов и простых эмпирических обобщений, и новые теории строятся как бы на пустом месте. При переходе к химии была отброшена алхимия, истолкование горения как окисления сделало совершенно ненужным теорию флогистона. Все содержание традиционной логики, накопленное за две с лишним тысячи лет, стало всего лишь фрагментом современной логики, причем фрагментом, лишенным особого значения.

Переход от старой к новой теории

Революционный переход от старой теории к новой является одной из самых сложных проблем философии науки. Во многом такой переход аналогичен «акту обращения» в новую веру. Он не осуществим шаг за шагом на основе логики и нейтрального опыта. Как показывает история науки, переход происходит или сразу, хотя не обязательно в один прием, или не происходит вообще при жизни современников новой теории.

Например, коперниканское учение приобрело лишь немногих сторонников в течение почти целого столетия после смерти Коперника. Работа Ньютона не получила всеобщего признания, в особенности в странах континентальной Европы, в продолжение более чем полувека после появления «Начал». Пристли никогда не принимал кислородной теории горения, так же как Кельвин не принял электромагнитную теорию и т. д.

М. Планк как-то заметил, что новая научная истина прокладывает дорогу к триумфу не посредством убеждения оппонентов и принуждения их видеть мир в новом свете, но скорее потому, что ее оппоненты рано или поздно умирают и вырастает новое поколение, которое привыкло к ней. Иногда эту идею, имеющую важное значение для понимания процесса принятия новой научной теории, называют «принципом Планка».

Можно отметить, что определенная система верований лежит в основе не только отдельной теории, но и науки в целом. Эта система определяет предпосылки научного теоретизирования и определяет то, что отличает научное мышление от идеологического, утопического или художественного мышления. Совокупность мыслительных предпосылок науки размыта, значительная их часть носит характер неявного знания. Этим прежде всего объясняется то, что науку трудно сколько-нибудь однозначно отграничить от того, что наукой не является, и определить научный метод исчерпывающим перечнем правил.

Предпосылочным, опирающимся на неявные, размытые верования и в этом смысле субъективным является и мышление целой исторической эпохи. Совокупность этих верований определяет стиль мышления эпохи, ее интеллектуальный консенсус. Стиль мышления почти не осознается той эпохой, в которую он господствует, и подвергается определенному осмыслению и критике только в последующие эпохи. Переход от стиля мышления одной эпохи к стилю мышления другой и, значит, от одного общего типа объективности к другому является стихийно-историческим процессом, занимающим довольно длительный период.

4. Современный стиль научного мышления

Воздействие общества и его культуры на развитие науки наиболее наглядно можно проследить на примере *стиля научного мышления*. Последний является преломлением в сфере научного мышления того общего стиля мышления, который господствует в определенный исторический период, а в более широком плане — стиля мышления конкретной исторической эпохи.

Если принимать во внимание только стиль мышления, можно сказать, что ученые мыслят точно так же, как все другие люди своей эпохи. «Мышление ученого не отличается от мышления ребенка» — это высказывание Нобелевского лауреата по химии М. Салама справедливо, если имеется в виду зависимость стиля научного мышления от того стиля мышления, который диктуется человеку культурой его эпохи.

Социализация индивида и стиль мышления

Социальный мир, в котором живут и трудятся люди, активно конструируется ими самими в ходе их социальной деятельности. Это происходит по преимуществу неосознаваемо для них. С другой стороны, общество с помощью самых разнообразных средств социализирует индивида, формирует из него личность, приспособленную к жизни в определенной социальной среде.

Социальное действие — это действие, учитывающее установки других людей, их цели, убеждения, оценки и т. д. Человек смотрит на мир своими глазами, но видит его через призму тех представлений, которые сложились в окружающей этого человека социальной среде.

Особую роль в процессе социализации играет навязываемый индивиду обществом стиль мышления. В процессе развития общества меняются стили теоретического мышления. Периодизация развития мышления может быть разной. Что касается научного мышления, то его историю можно разделить на основные этапы в соответствии со следующими двумя принципами: 1) научное мышление радикально меняется при переходе от одной исторической эпохи к другой; 2) наука как особый

социальный институт возникла только в XVII — XVIII вв., естественно поэтому различать *досовременное научное мышление и современное научное мышление*.

Каждая историческая эпоха смотрит на мир своими глазами, пользуется своей специфической системой мыслительных координат. В истории мышления отчетливо выделяются пять основных периодов развития, соответствующих главным этапам развития общества. Стили мышления, последовательно сменявшие друг друга, таковы: *первобытный, древний (или античный), средневековый, стиль мышления Нового времени и современный стиль мышления*.

Изменения научного мышления

Стиль мышления эпохи — это совокупность глобальных, по преимуществу имплицитных, предпосылок мышления конкретной эпохи, те почти незаметные для нее очки, через которые она смотрит на мир и которые не годятся для другой эпохи.

Стиль мышления представляет собой сложную, иерархически упорядоченную систему неявных доминант, образцов, принципов, форм и категорий теоретического освоения мира. Эта система изменяется во времени, она подчинена определенным циклам, постоянно воспроизводит свою структуру и обуславливает специфическую реакцию на каждый новый включаемый в нее элемент. Иными словами, стиль мышления подобен иерархически организованному живому организму, проходящему путь от рождения до старости и смерти, непрерывно возобновляющему себя и придающему своеобразие всем протекающим в нем процессам.

Стиль мышления исторической эпохи — это как бы ветер, господствующий в эту эпоху и непреодолимо гнущий мышление всех, живущих в данную эпоху, в одну и ту же сторону. Ограничения, диктуемые стилем мышления, почти не осознаются и не подвергаются исследованию теми, кто его разделяет. Только новая эпоха, вырабатывающая собственное, более широкое теоретическое видение, начинает замечать то массовое летаргическое состояние, которое сковывало умы предшественников, ту общую, или, как говорят, систематическую ошибку, которая сдвигала

и искажала все.

Стиль мышления складывается под воздействием культуры как целого и является фактором, опосредствующим ее влияние на мышление. Задавая горизонт мышления и общие схемы его подхода к действительности, стиль мышления оказывает в конечном счете воздействие на все аспекты мыслительной деятельности в конкретную эпоху.

В каждый конкретный период времени, помимо общего стиля мышления, распространяющегося на всех, кто живет в данный период, имеются стили мышления в различных частных и узких областях приложения мышления.

Можно говорить, например, о *стиле научного мышления* и ставить вопрос о том, в каких аспектах научное мышление Нового времени отличалось от современного научного мышления. Можно говорить также о *стиле естественно-научного или социального мышления* какой-то эпохи или более узкого промежутка времени, о *стиле художественного мышления* и т. п.

Социальная природа человека как теоретического существа проявляется в том, что он принимает как нечто само собой разумеющееся доминирующий в его обществе и в его среде стиль мышления. Эта принимаемая почти без всякого анализа система мыслительных привычек определяет горизонт мышления отдельного индивида, способ постановки им проблем, круг тех решений, которые он способен предложить, и т. д.

Человеку только кажется, что его мысль совершенно свободна. В действительности она движется в том достаточно узком коридоре, который задается стилем мышления соответствующей эпохи и стилем мышления той группы, к которой принадлежит человек. Именно в этом смысле говорят, что никто не может подняться над своим временем, над своей эпохой, выйти из истории и рассматривать исследуемые объекты с какой-то абсолютной, внеисторической и потому совершенно объективной позиции.

Интерес к понятию стиля мышления вызван прежде всего общей, начавшей складываться еще в XIX в. идеей, что познание детерминировано не только изучаемым объектом, но и социальными, меняющимися в ходе истории факторами. Стиль мышления — один из наиболее существенных элементов в механизме социально-исторической детерминации науки.

Здание современного мышления выросло в лесах предшествующих стилей мышления. И хотя эти леса давно сняты, оно во многом сохраняет на себе их черты. Изучение стилей мышления разных эпох в двойном смысле важно для истории и методологии науки. Прежде всего воздействие стиля мышления сказывается на всех аспектах теоретизирования, начиная с формы постановки проблем, приемов исследования и обоснования и заканчивая манерой изложения полученных выводов и последующими спорами вокруг них. Даже мошенничество в теоретической сфере в рамках каждого из стилей имеет своеобразный характер. Без учета влияния этой общей для многих теорий среды невозможно ни отчетливое понимание отдельных теорий, ни сопоставление разных теорий на фоне одного и того же стиля мышления, ни тем более сопоставление теорий, относящихся к разным стилям мышления.

Далее, особый интерес представляет то, что имеется строгая и отчетливая параллель между развитием теоретического мышления как последовательной сменой стилей мышления, с одной стороны, и развитием отдельных теорий и концепций — с другой. Развитие теории

во многом повторяет историю теоретизирования. В частности, существует несомненное сходство между средневековым («схоластическим») теоретизированием и теоретизированием в рамках так называемой «нормальной» науки¹.

«Классическое» научное мышление — это научное мышление с момента зарождения современной науки и до возникновения в начале XX в. неклассической науки и характерного для нее неклассического мышления.

В русле общей проблематики изучения стилей мышления находятся работы Э. Гуссерля и М. Хайдеггера, посвященные критике, анализу той особой «области опыта», которая образует основу и предпосылку всех установок человеческого сознания и потому остается не проясненной средствами обычного теоретического мышления. В частности, Хайдеггер очерчивает три разные «эпохи мысли», сменявшие друг друга: античная «первая философия» с ее вопросами о сути сущего; христианское учение с его ответами о сотворенности сущего; философские концепции Нового времени с их методами внедогматического обоснования сущего, исходя из достовернейшего бытия субъекта, человеческого сущего. Хайдеггер называет XIX в. «непроглядным», «самым темным» в европейской истории, «отгородившим Ницше от великих мыслителей и затуманившим для него осмысленную связь времен»². Очевидно, что «темиота» XIX в. связана прежде всего с явно обозначившимся «разрывом времен», зарождением в этот период новой культуры и соответствующего ей современного стиля мышления. У истоков его стоял, в частности, и Ницше³.

Идея сменяющих друг друга «стилей теоретизирования» обсуждалась О. Шпенглером, М. Шелером, Т. Парсонсом, Р. Бартом, Ж.-П. Сартром и др.⁴

Л. Витгенштейн, испытывавший влияние Шпенглера, полагал, что существует «семейное сходство» между различными элементами одной и той же культуры: её математикой, архитектурой, религией, политическими организациями и т. д. Одно из выражений этого сходства — свойственный культуре единый способ теоретического видения мира. Закат культуры есть разрушение сходства ее элементов, их рассогласование и, как следствие, разрушение характерного для нее видения мира⁵.

¹ О стилях мышления исторических эпох и близости стиля мышления «нормальной» науки к схоластическому теоретизированию см.: *Ivin A. A. The Evolution of Theoretical Thinking // The Open Courtain. San Fransisco, 1991*

² См.: *Хайдеггер М. Время картины мира // Современные концепции культурного кризиса на Западе. М., 1976; Heidegger M. Dereuopaische Nihilismus. Pfulingen, 1967*

³ См., в частности: *Ницше Ф. Воля к власти. М., 1910*

⁴ См., например: *Шпенглер О. Закат Европы. Новосибирск, 1992. С. 89*

⁵ *Witgenstein L. Философские работы. Часть 1. М., 1994. С. 355. См. также: Wright G. H. von. Wittgenstein in Relation to His Time // Wittgenstein. Oxford, 1982. P. 227*

Стили научного мышления анализировались в рамках так называемой «исторической школы» в методологии науки Т. Куном, И. Лакатосом, П. Фейерабендом и др. Нередко идея, что мышление зависит от исторически детерминированных общих предпосылок, выражается без использования самого понятия стиля мышления. Так, К. Манхейм говорит о «духе времени», Л. Лаудан — об «исследовательских традициях», М. Фуко — об «эпистемах» и т. д.¹

Теоретический горизонт каждой эпохи ограничен свойственным ей стилем мышления. Никто не может подняться над историей и выйти из своего времени, чтобы рассматривать прошлое «беспристрастно», без всякого искажения. Объективность исторична, и она прямо связана с той позицией в истории, с которой исследователь пытается восстановить прошлое.

Сложная проблема соизмеримости стилей мышления разных эпох, относительной «прозрачности» предшествующих стилей для последующих близка активно обсуждаемой в последние десятилетия проблеме соизмеримости научных теорий.

Можно отметить, что историческая объективность в рассмотрении эволюции теоретического мышления возможна лишь при условии признания существования преемственности в его развитии, точно так же, как утверждение преемственности сменяющих друг друга теорий требует принятия допущения о прогрессе научного знания. Отошедший в прошлое способ теоретизирования может быть понят, только если он рассматривается с позиции более позднего и, как можно думать, более высокого стиля мышления.

5. «Классические» предрассудки

Особенности стиля научного мышления Нового времени заслуживают более подробного анализа, поскольку современный стиль научного мышления сформировался, с одной стороны, как продолжение стиля, господствовавшего в научном мышлении Нового времени, а с другой — как преодоление последнего.

Стиль мышления, безраздельно господствовавший в европейском мышлении в XVI—XIX вв., радикально отличался от средневекового, или схоластического, стиля мышления и складывался во многом как его прямая оппозиция. Только позднее стало понятно, что эти два стиля, противоположные во многих своих существенных чертах, имеют достаточно много общего.

Стиль мышления определенной эпохи воспринимается этой эпохой как непосредственная данность и почти не анализируется ею. Можно

¹ Манхейм К. Консервативная мысль // Он же. Диагноз нашего времени. М., 1994. С. 357; Laudan L. Science and Values. Berkeley, 1984. P. 153; Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977.

отметить, что и последующая эпоха, увлеченная разрушением предшествующих стилей мышления и утверждением на их руинах собственного, нового стиля мышления, также во многом субъективна в своих суждениях о мышлении предшествовавшей эпохи.

В истории нет надвременной или вневременной позиции, с которой предшествующие эпохи могли бы оцениваться совершенно беспристрастно. Тем не менее можно сказать, что чем дальше в прошлое уходит какая-то эпоха, тем больше вероятность исторически объективного суждения о ней.

Особый интерес к изучению «классического» мышления Нового времени связан с тем, что ряд его особенностей присущ и современному мышлению. Последнее представляет собой исторически недавнее образование. Оно еще не вполне ушло от прошлого и не совсем освободилось от того, что можно было бы назвать «родимыми пятнами» в целом уже преодоленного стиля мышления Нового времени.

Не существует беспредпосылочного мышления, мышления, ничего не предполагающего и никаким горизонтом не ограниченного. Мышление всегда исходит из определенных предпосылок, эксплицитных и имплицитных, анализируемых и принимаемых без всякого исследования.

Однако с течением времени эти предпосылки, т. е. то, что автоматически ставится перед посылками всякого рассуждения, неизбежно меняются. Новый социально-исторический контекст навязывает новые предпосылки, и они, как правило, оказываются не совместимыми со старыми. И если последние продолжают все-таки удерживаться, они превращаются в оковы мышления, в предрассудки: выше разума ставится то, что он способен уже не только осмыслить, но и подвергнуть критике.

«Классическими» предрассудками можно назвать те общие схемы мышления, которые сложились в рамках «классического» стиля мышления. Вместе с тем это одновременно и те схемы, которые и сейчас нередко воспринимаются как «классика» всякого мышления, совершенно независимая от времени. Это то, что ставится перед рассуждением («перед рассудком») и определяет его общее направление, но также и то, что из необходимой и естественной в свое время предпосылки мышления успело превратиться в сковывающий его предрассудок.

Таким образом, анализ «классического» мышления является в определенном смысле также *критикой* современного стиля мышления, а именно критикой тех его черт, которые инородны для него, но которые оно по инерции продолжает разделять с «классическим» мышлением.

Несмотря на особый интерес к «классическому» мышлению, пока нет его целостной и связной картины. Обычно речь идет об отдельных, слабо связанных между собой его чертах, важное не отделяется от второстепенного, а то и просто недолговременного и случайного.

Ф. Ницше, резко критиковавший «классическое» мышление Нового времени, в конечном счете свел всю его специфику к объективизму,

отождествлению истины и метода, приоритету истины над ценностью и к фундаментализму в форме поиска окончательных, абсолютно твердых оснований для знания и действия¹.

Э. Гуссерль, считавший господство «классического» мышления причиной кризиса «европейского человечества», выделял в качестве характерных особенностей этого стиля только дуализм и редукционизм, проявившиеся в отрыве науки от «жизненного мира» и обыденного мышления, в попытках сведения духа к природе, гуманитарных наук — к естественным².

М. Хайдеггер сводил «классику» к объективизму с его резким и прямолинейным противопоставлением объекта и субъекта, к пренебрежению ценностями и ценностными аспектами человеческого бытия и познания³.

Однако стиль мышления эпохи представляет собой не набор некоторых «специфических», взятых в изоляции друг от друга черт, а систему связанных во многих плоскостях элементов, взаимно обуславливающих и взаимно отражающих смыслы друг друга. Только представление способа теоретизирования как единой, динамичной системы, как «исторического организма» способно показать его укорененность в культуре эпохи, выявить его противоречивость, объяснить неожиданную на первый взгляд смену одного способа видения мира другим и установить преемственность между внешне противоположными стилями.

Далее будут намечены некоторые характерные особенности стиля мышления Нового времени. В сущности, это только начало изучения этой сложной темы.

Антиавторитарность, фундаментализм и кумулятивизм

Мир Нового времени — это сконструированный по научному образцу, ясный, математически выверенный мир, «застывшее отражение познающего духа» (О. Шпенглер).

«Классическое» мышление подчеркнуто *антиавторитарно*. Оно не предполагает никакого канонического круга идей в качестве образца анализа. Самостоятельность аргументации ставится выше ученического следования чужим мнениям; авторитет разума, ориентирующегося на исследование природы, выше авторитета письменного источника. В этом плане Новое время резко противопоставляет себя предшествующей эпохе.

¹ См., в частности: *Ницше Ф* Полн. собр. соч. М., 1910 Т. 9; *Nietzsche F* Werke Leipzig, 1894 Bd. 8 S. 82–83.

² См.: *Husserl E*. Gesammelte Werke. Haag, 1954. Bd. 6. S. 314–348.

³ См.: *Хайдеггер М.* Время картины мира // Современные концепции культурного кризиса на Западе. М., 1976; *Heidegger M.* Dereuropäische Nihilismus. S. 109, 119–126, 151

Антиавторитарная направленность несовместима с комментаторством, подчеркнутым ученичеством, программным отказом от новаторства, стремлением к анонимности, столь характерными для схоластического мышления. В Новое время с особой остротой встает вопрос о приоритете в открытиях и изобретениях. Споры о приоритете иногда затягиваются на десятилетия.

Несмотря на постоянно декларируемую оппозицию средневековой схоластике, «классическое» мышление разделяет целый ряд важных ее черт.

Прежде всего это *фундаментализм*, уверенность в том, что всякое («подлинное») знание может и должно со временем найти абсолютно твердые и неизменные основания.

Фундаментализм средневекового мышления основывается на вере в истинность и полноту божественного откровения; в «классическом» мышлении возможность твердых оснований опирается на убеждение в особой надежности данных чувственного познания или определенных истин самого разума¹.

Еще одной чертой, объединяющей «классическую» и схоластическую аргументацию, является *кумулятивизм*: познание уподобляется процессу бесконечного надстраивания здания, растущего вверх, но никогда не переделываемого.

Кумулятивизм очевидным образом предполагает фундаментализм, ибо знание не может неограниченно надстраиваться, если оно не опирается на безусловно надежный фундамент. С кумулятивизмом тесно связана идея постепенности всякого движения и развития, в частности идея последовательного, шаг за шагом приближения к истине: накопление знаний все более приоткрывает завесу над истиной, которая мыслится как предел такого «бесконечного приближения».

Устойчивости убеждения в существовании абсолютного оправдания и абсолютных оснований теорий во многом способствовала математика, создававшая, как отмечает И. Лакатос, иллюзию раз и навсегда обоснованного знания. Математика ошибочно истолковывалась также как образец строгого кумулятивизма².

Аналитичность и дуализм

Для «классического» мышления характерна, далее, *аналитичность* — представление о дробности, существенной независимости друг от друга как «элементов мира», так и «элементов знания». Мир и знание мыслятся хорошо структурированными, слагающимися из четко очерченных

¹ О двух версиях эпистемологического фундаментализма см. *Bonjour L. The Structure of Empirical Knowledge. Cambridge (Mass), 1985. Ch. 1*

² См. *Lakatos I. A. Renaissance of Empiricism in the Recent Philosophy in Mathematics // British Journal for the Philosophy of Science. 1976. Vol. 27. № 3. P. 204–210.*

и ясно отграниченных друг от друга элементов. Но «атомистичность» в восприятии мира была свойственна и средневековому мышлению. При этом в центре внимания средневекового мышления стоял сам объект, особенности и связи которого определялись его сущностью, тогда как в «классическом» мышлении главный акцент делается на законах взаимодействия автономных объектов, определяемых опять-таки их сущностями. Влиятельная в античности идея неделимого и бесструктурного целого, идея зависимости частей от целого и даже растворенности частей в целом стала возрождаться только с закатом «классического» мышления. Системный подход с его постулатом взаимозависимости частей и целого не совместим ни со схоластическим, ни с «классическим» мышлением.

Пренебрежение системностью знания ведет к представлению о нем как о совокупности отдельных высказываний, имеющих не только самостоятельное значение, но и обосновываемых независимо друг от друга. Проблема истины формулируется как проблема соответствия изолированного утверждения описываемому им фрагменту действительности.

С аналитичностью «классического» мышления, с отсутствием внимания к системности мира и знания непосредственно связаны характерные для этого мышления резкие *дихотомии* между теоретическим и эмпирическим знанием, аналитическим и синтетическим знанием и т. п.

В частности, предполагается, что мир распадается на отдельные, устойчивые факты и задача науки — их тщательное описание и убедительное объяснение. Факты теоретически нейтральны и могут быть выражены в некотором языке, не зависящем от любых теоретических представлений. В связи с этим факты остаются неизменными при появлении новых их толкований. Очевидна связь такого разграничения эмпирического и теоретического с фундаментализмом и кумулятивизмом.

Для «классического» мышления, особенно в заключительный период его развития, характерен не только дуализм, или двойственность, эмпирического и теоретического, аналитического и синтетического, но также дуализм субъекта и объекта, теоретического и практического, телесного и духовного, созерцания и деятельности, науки и ненауки, истины и ценности, естественного и гуманитарного знания, первичных и вторичных качеств и т. п. «Классическое» мышление, как правило, не схватывает сложные, особенно социальные, объекты в единстве составляющих их сторон. Оно постоянно обнаруживает у таких объектов два противостоящих, исключаящих друг друга аспекта, соединяемых в единое целое чисто внешним образом.

С дробным, «атомистическим» представлением о мире и знании связана свойственная «классическому» мышлению убежденность во *всеобщей* определенности, в том, что всякий объект может быть достаточно строго очерчен и ясно отграничен от других объектов. Этим объясняются бесконечные поиски определений и вера в их особую, если не исключительную, роль в науке.

Но еще Б. Паскаль отмечал, что невозможно определить все, точно так же, как невозможно доказать все. Определение сводит неизвестное к известному, не более того. Оно всегда предполагает, что есть вещи, известные без всякого определения и разъяснения; будучи ясными сами по себе, они меньше всего нуждаются в определении. Само собой понятное и очевидное не следует определять: определение лишь затемнит его.

Определения действуют в весьма узком интервале. С одной стороны, он ограничен тем, что признается очевидным и не нуждающимся в особом разъяснении, сведении к чему-то еще более известному и очевидному. С другой стороны, область успешного применения определений ограничена тем, что остается пока еще недостаточно изученным и понятным, чтобы дать ему точную характеристику. В частности, ключевые понятия научных дисциплин («доказательство» — в логике, «множество» — в математике, «вид» — в биологии и т. п.) вообще не допускают однозначного определения.

Универсальная математизация

Еще один «классический» предрассудок — стремление к *всеобщей математизации*. Оно опирается на убеждение, что в каждой науке столько знания, сколько в ней математики, и что все науки, включая гуманитарные, требуют внедрения математических идей и методов.

Нет достоверности там, говорил еще Леонардо да Винчи, где нельзя применить одну из математических наук, или у того, что не может быть связано с математикой¹. Г. Галилей был твердо убежден, что «книга природы написана на языке математики» и что этот язык представляет собой универсальный язык науки. До сих пор повторяется как нечто само собой разумеющееся, что наука «только тогда достигает совершенства, когда ей удастся пользоваться математикой» (К. Маркс).

Однако уже в самом начале XX в. В. И. Вернадский ясно и недвусмысленно ограничил роль математики даже в естествознании. Весьма часто приходится слышать убеждение, не соответствующее ходу научного развития, говорил Вернадский: точное знание достигается лишь при получении математической формулы, лишь тогда, когда к объяснению явления и к его точному описанию могут быть приложены символы и построения математики. Это стремление сослужило и служит огромную службу в развитии научного мировоззрения, но привнесено оно ему извне, не вытекает из хода научной мысли. Оно привело к созданию новых

¹ Леонардо да Винчи. Книга о живописи мастера Леонардо да Винчи, живописца и скульптора флорентийского. М., 1934. «Никакое человеческое исследование не может быть названо истинной наукой, если оно не проходит через математические доказательства» (там же С. 60). Известно, что Леонардо считал наукой живопись, поскольку она пользуется геометрической системой перспективы, но не относил к наукам поэзию, не имеющую связи с математикой.

отделов знания, которые едва ли бы иначе возникли, например математической логики или социальной физики. Но нет никаких оснований думать, что при дальнейшем развитии науки все имения, доступные научному объяснению, подведутся под математические формулы или под так или иначе выраженные числовые правильные соотношения; нельзя думать, что в этом заключается конечная цель научной работы¹.

Редукция обоснованности научного знания к его истинности

Типичный «классический» предрассудок — сведение *обоснованности* результатов научных исследований к их *истинности*.

Предполагается, что только истина, зависящая лишь от устройства мира и потому не имеющая градаций и степеней, являющаяся вечной и неизменной, может быть надежным основанием для знания и действия. Там, где нет истины, нет и обоснованности, и все является субъективным, неустойчивым, ненадежным. Все формы отображения действительности характеризуются в терминах истины: речь идет не только об «истинах морали», но даже об «истинах поэзии». Добро и красота оказываются в итоге частными случаями истины, ее «практическими» разновидностями.

Редукция обоснованности (а тем самым и объективности) к истинности имела одним из своих следствий сведение всех употреблений языка к описанию: только оно может быть истинным и, значит, надежным. Все другие употребления языка — оценка, норма, обещание, декларация, экспрессив, оректив, упрек, предостережение и т. д. — являются только замаскированными описаниями или просто случайны для функционирования языка, ибо они субъективны и ненадежны.

Если считать, что обоснованными или необоснованными могут быть только описательные утверждения, способные быть истинными или ложными, встает вопрос об исключении из языка науки всего, что не относится к описаниям. В конце XIX в. позитивисты объединили разнообразие неописательных утверждений под общим именем «оценок» и потребовали решительного исключения всех «оценок» из языка науки. Одновременно представители философии жизни, стоявшей в оппозиции позитивизму, подчеркнули важность «оценок» для процесса человеческой жизнедеятельности и неустранимость их из языка социальной философии и всех социальных наук.

Этот спор об «оценках» продолжается по инерции и сейчас. Однако очевидно, что если социальные и гуманитарные науки не будут содержать никаких рекомендаций, касающихся человеческой деятельности, целесообразность существования таких наук станет сомнительной. Экономическая наука, социология, политология, история, лингвистика, психология и т. п., перестроенные по образцу физики, в которой нет субъективных и потому ненадежных «оценок», бесполезны.

¹ См.: Вернадский В. И. Избранные труды по истории науки. М., 1981. С. 46.

Не только описания, но и оценки, нормы и т. п. могут быть обоснованными или необоснованными. Действительная проблема, касающаяся социальных и гуманитарных наук, всегда содержащих оценочные утверждения, состоит в том, чтобы разработать надежные критерии обоснованности такого рода утверждений и изучить возможности исключения необоснованных оценок.

Уже это краткое перечисление особенностей стиля мышления Нового времени показывает, насколько существенно он отличается и от средневекового, и от современного стиля мышления.

Глава 11

ФИЛОСОФИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ

1. План и рынок

Немецкий философ-неомарксист Г. Маркузе справедливо отмечает, что свобода предпринимательства, вокруг которой группировались все другие свободы капиталистического общества, с самого начала не была путем блаженства. «Как свобода работать или умереть от голода она означала мучительный труд, ненадежность и страх для подавляющего большинства населения»¹. Если бы индивиду больше не пришлось утверждать себя на рынке в качестве свободного экономического субъекта, это было бы одним из величайших достижений цивилизации. Индивид, избавленный от мира, навязывающего ему чуждые потребности и возможности, обрел бы подлинную автономию в жизни, ставшей его собственной, и направил бы свою энергию «в еще неведомое царство свободы по ту сторону необходимости».

Нужна, полагает Маркузе, свобода от конкуренции, что требует централизованного управления экономикой. Нужны свобода от нужды, являющаяся конкретной сущностью всякой свободы, и прогрессирующее смягчение тяжелого, монотонного труда. Но особенно необходима свобода от ложных, непервостепенных потребностей. Такие потребности навязываются индивиду особенными социальными интересами в процессе его подавления и в конечном счете закрепляют тягостный труд, агрессивность, нищету и несправедливость. «Безоговорочное право на удовлетворение имеют только первостепенные потребности: питание, одежда, жилье в соответствии с достигнутым уровнем культуры. Их удовлетворение является предпосылкой удовлетворения всех потребностей...»². Утоление ложных потребностей способно приносить значительное удовлетворение индивиду. Но это не то счастье, которое нужно оберегать и защищать, поскольку оно скрывает недуги общественного целого и пути их излечения. Только в условиях новой свободы индивид перестанет быть объектом внушения и манипулирования, приобретет индивидуальное сознание и индивидуальное бессознательное, помимо общественного мнения и поведения. Это будет означать, что он впервые обретет автономию и внутреннюю свободу, т. е. то личное пространство, в котором человек имеет возможность оставаться «самим собой»³.

¹ Маркузе Г. Указ соч. С. 3

² Там же.

³ Там же. С. 7–8

Маркузе считает, что централизованное планирование не предполагает более или менее жесткой диктатуры и не только не лишает индивида автономии, но, напротив, делает ее единственно возможной. Но уже ранний коммунизм со всей очевидностью показал, что экономический контроль, контроль над производством материальных благ — это контроль над всеми другими сторонами человеческой жизни и, значит, прямой путь к тоталитаризму. В стране, где единственным работодателем является государство, оппозиция означает медленную голодную смерть. Старый принцип «Кто не работает, тот не ест» заменяется новым постулатом: «Кто не повинуется, тот не ест» (Л. Д. Троцкий).

Маркузе говорит немало справедливого о недостатках развитого индустриального общества, ставшего «обществом изобилия», о его репрессивной функции в отношении кардинальных перемен. Аппарат производства и производимые им товары и услуги «продают» или навязывают социальную систему как целое. Транспортные средства и средства массовой коммуникации, предметы домашнего обихода, пища и одежда, неисчерпаемый выбор развлечений и информационная индустрия несут с собой предписываемые отношения и привычки, устойчивые интеллектуальные и эмоциональные реакции, которые привязывают потребителей, доставляя им тем самым большее или меньшее удовольствие, к производителям и через этих последних — к целому. Продукты обладают внушающей и манипулирующей силой; они распространяют ложное сознание, снабженное иммунитетом против собственной ложности... Это не плохой образ жизни — он гораздо лучше прежнего, — но именно поэтому он препятствует качественным переменам¹.

Так называемая экономическая свобода, которую обещают нам сторонники планирования, указывает Ф. А. Хайек, как раз и означает, что мы будем избавлены от тяжелой обязанности решать наши собственные экономические проблемы, а следовательно, от проблемы выбора. Выбор будут делать за нас другие. И поскольку в современных условиях мы буквально во всем зависим от средств, производимых другими людьми, экономическое планирование будет охватывать практически все сферы нашей жизни. Вряд ли найдется что-нибудь, начиная от наших элементарных нужд и кончая нашими семейными и дружескими отношениями... что не окажется, так или иначе, под недремлющим оком «сознательного контроля»².

Экономическая свобода составляет основу всех иных свобод и прав человека, и отказ от нее ставит под сомнение все другие права и свободы.

¹ См.: Маркузе Г. Указ. соч. С. 16

² См.: Хайек Ф. А. Дорога к рабству // Вопросы философии. 1990. № 10. С. 134.

2. Экономическая свобода

Одним из необходимых условий подлинной свободы личности является частная собственность и предоставляемая ею экономическая свобода. Существо последней — в отсутствии препятствий и ограничений для экономической деятельности. Начиная с XVIII в. развитые капиталистические страны достаточно настойчиво и последовательно идут не только к расширению политической свободы, но и к обеспечению устойчивой экономической свободы. Она предполагает освобождение экономики от государственного регулирования, излишнего налогообложения, чрезмерных государственных расходов, протекционизма, лицензирования, всевозможных ограничений, а также обеспечение гарантий частной собственности, свободы международных контактов и др.

Общая концепция экономической свободы, обеспечивающая измерение последней и исторические и межстрановые сопоставления, была разработана только в конце прошлого века М. Фридменом, М. Уокером, Г. Беккером, Д. Нортом и др. Понятие экономической свободы включает соблюдение трех основных принципов: свободы индивидуального выбора, свободы частного обмена и гарантии частной собственности. Страна может считаться экономически свободной в той мере, в какой ее государственным органам удастся обеспечить выполнение данных принципов. Для измерения экономической свободы были избраны семнадцать показателей, объединенных в четыре подгруппы: деньги и инфляция (защита денег как средства обмена и сбережения), государственное регулирование и организация рынков (защита частного сектора от сверхрегулирования), государственные финансовые изъятия (защита от излишнего налогообложения различных видов), международные отношения (свобода контактов с зарубежными партнерами). Все эти показатели объединены в общий индекс, получивший название индекса экономической свободы. Он показывает, в какой степени экономическая политика государства вместе с национальными институтами обеспечивает твердость местной валюты, надежность и прозрачность рынков, гарантии против государственных изъятий, свободу международного обмена.

Итоговая оценка индекса экономической свободы, начиная с 1975 г., выводится для более чем ста стран. Мера экономической свободы наглядно показывает, что свободная экономика, несомненно, является более производительной, чем несвободная. Измерения показали, что за последние два десятилетия страны с более высоким уровнем экономической свободы развивались гораздо быстрее, чем страны с низким ее уровнем.

Из максимально возможных 10 баллов индекса экономической свободы более 7 баллов последние два десятилетия набирают: Гонконг (9,3), Сингапур (8,2), Новая Зеландия, США, Швейцария, Великобритания,

Таиланд, Малайзия, Филиппины, Австралия и др. На противоположном конце рейтинга оказываются: Алжир, Сирия, Иран, Нигерия, Зимбабве и др. Индекс экономической свободы России в 1995 г. — 3,5, Украины — 3,4, Эстонии, Чехии и Венгрии — от 5,1 до 5,4. В 1990 г. индекс экономической свободы России равнялся, однако, всего лишь 0,9 и превышал только аналогичный показатель этого года для Албании — 0,6. Несмотря на очевидный прогресс, Россия, по сравнению с другими странами мира, продолжает оставаться в группе стран с наиболее угнетенной экономикой.

В заключение необходимо отметить, что, подобно равенству, справедливости и другим ключевым понятиям социальной философии, свобода исторична: ее значение меняется от одной эпохи к другой, и совершенно невозможно предсказать, что конкретно будет пониматься под свободой в будущем. Чем является свобода — это еще должно открыться человеку на уходящем в бесконечность пути.

3. Экономический детерминизм

Под «экономическим детерминизмом» обычно понимается теория, согласно которой экономический базис общества детерминирует все другие стороны его жизни.

Такой теории придерживался, например, К. Маркс, социальную философию которого можно определить как соединение линейно-стадиального подхода к истории с экономическим детерминизмом. История проходит, по Марксу, ряд ступеней (общественно-экономических формаций), своеобразие каждой из которых определяется экономической структурой общества, совокупностью производственных отношений, в которые люди вступают в процессе производства товаров и обмена ими. Эти отношения соединяют людей и соответствуют определенной ступени развития их производительных сил. Переход к следующей, более высокой ступени вызывается тем, что постоянно растущим производительным силам становится тесно в рамках старых производственных отношений. Экономическая структура есть тот реальный базис, на котором воздвигается и с изменением которого меняется юридическая и политическая надстройка.

Под влиянием критики Маркс попытался несколько смягчить положение об одностороннем характере воздействия экономического базиса на идеологическую надстройку (науку, искусство, право, политику, конституции и т. п.) и учесть обратное воздействие надстройки на базис.

Экономический детерминизм является основой так называемого «материалистического понимания истории», которое видит конечную причину и решающую движущую силу всех важных исторических событий в экономическом развитии общества, в изменениях способа

производства и обмена, в вытекающем отсюда разделении общества на различные классы и в борьбе этих классов между собой.

Суть теории факторов сводится к идее, что общественное развитие определяется взаимодействием многих факторов: экономики, науки, техники, религии, морали и т. д.; в разные периоды развития общества ведущим является какой-то один из таких факторов или их группа.

Например, в Средние века социальная жизнь определялась прежде всего религией и традицией. В индустриальном обществе ведущими факторами являются развитие науки и техники.

Теория факторов сложилась в конце XIX — начале XX в. как реакция на неудачные попытки объяснить общественное развитие решающим воздействием какого-то одного, остающегося постоянным фактора (географического, экономического, геополитического, демографического, расового и др.).

Но если, например, экономический детерминизм был теорией, то теория факторов теорией вообще не является. Она представляет собой только общую, быть может, небезынтересную, рекомендацию по построению теории социального развития. Не будучи научной теорией, теория факторов не способна служить основанием ни для объяснения (предсказания) социальных явлений, ни для их понимания.

4. Тотальное планирование

Планирование всегда было присуще человеческому существованию. Что опасно, так это тотальное планирование, когда государство подчиняет своему ведению не только экономику страны в целом, но и весь строй человеческой жизни. Тотальное планирование означает уничтожение свободного рынка, замену его статистическим исчислением и определением характера труда, производства и распределения по разумению выделенных для этого лиц, в зависимости от их целей и вкуса. Выходя за пределы экономики, тотальное планирование начинает оказывать косвенное воздействие на всю человеческую жизнь вплоть до духовного творчества, особенно нуждающегося в свободной инициативе отдельных людей. Исчезает свобода индивидов в выборе того, что они предпочитают для удовлетворения своих потребностей; исчезают многообразие предложения и возможность проверить, нравится что-то или нет. «Тотальное планирование в области экономики не может быть ограничено... хозяйственной сферой. Оно становится универсальным фактором жизни людей. Регулирование хозяйства ведет к регулированию всей жизни как следствие сложившихся в этих обстоятельствах социальных условий». Тотальное планирование неизбежно завершается централизованным управлением всей жизнью.

Ясперс с удивительной для своего времени отчетливостью констатирует, что в современном мире есть две основополагающие тенден-

ции, способные быть истоками нашего выбора: 1) либо мы сохраняем право свободного выбора, верим в возможности, которые появляются в свободном столкновении различных сил, какие бы ситуации при этом ни возникали; 2) либо мы живем в созданном людьми тотально планируемом мире, в котором гибнут духовная жизнь и человек. Можно сказать, что первый вариант — это современное открытое (посткапиталистическое) общество с рыночной экономикой, второй вариант — современное закрытое общество с тотальным планированием не только экономики, но и всех сфер жизни человека.

Планирование может быть осуществлено лишь властью, тотальное планирование — лишь абсолютной властью. Принципиально важно, что тотальное планирование не может быть проведено рационально: наше знание никогда не охватывает целого как такового, но мы всегда находимся в нем; всякая деятельность приводит к непреднамеренным и непредсказуемым следствиям; планирование уместно в сфере механического и рационального, но не в области живого и духовно разумного. Склонность распространять тотальное планирование и на те сферы, где оно невозможно, проистекает из двух источников: из желания следовать примеру техники и из иллюзии тотального знания истории.

Тотальное планирование в мире людей всегда опирается на такое представление о человеке, будто он полностью познан. При этом либо предполагается, что человек всегда один и тот же, либо считается, что он меняется в зависимости от условий, в которых живет, под воздействием самих этих условий. Во втором случае новое общество строится таким образом, чтобы изменение человека шло в сторону приближения к подлинной человеческой сущности, как ее понимают субъекты планирования. «Целью совершающегося планирования является идеальный человек. Преображенный человек делает возможными новые общественные условия, только эти условия делают возможным появление нового человека. Создается впечатление, будто планирующий человек проникает своим познанием в эволюцию человека, стремится создать его, подобно тому, как художник создает произведение искусства из данного ему материала, — гордыня, в которой человек ставит себя над человеком (такова идея молодого Маркса, таков сверхчеловек у Ницше)».

Глава 12

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

1. Задачи философии права

Право представляет собой систему норм и отношений, охраняемых силой государства. Право обусловлено экономическим строем общества, его социально-экономической структурой. Можно сказать, что оно является *социально детерминированным*. В системе обуславливающих право и воздействующих на него факторов государственная власть играет особую, конститутивную роль, так как без нее социальные нормы и отношения не могут приобрести общеобязательного характера.

Философия права — раздел философии, исследующий наиболее общие теоретико-мировоззренческие проблемы правоведения и государствоведения.

Философия права длительное время существовала как составная часть философских систем. Уже в античности активно обсуждались такие проблемы философии права, как соотношение права и справедливости, права и закона, права и силы, о месте права в иерархии социальных ценностей и др. (Сократ, Платон, Аристотель и др.). В период Просвещения сложилась концепция *естественного права*, согласно которой право заложено в самой сущности человека, так что во всех людях действует один и тот же мировой разум. Естественное право одинаково для всех, независимо от времени и места (Г. Гроций, Т. Гоббс, Г. В. Лейбниц и др.). В XIX в. такое понимание права отступило на второй план в результате соперничества с *исторической школой права*, признававшей только право, установленное законами и в законах осуществляющееся («позитивное право»).

В дальнейшем рассматриваются отдельные важные проблемы философии права: соотношение права и справедливости, права и власти, структура норм права и их связь с другими нормами, связи правовых норм, как и норм вообще, с оценками и фактами, двойственный, описательно-оценочный характер норм права.

2. Государство и власть

Власть — это способность того, кто ею обладает (отдельной личности, группы людей, организации, партии, государства), навязывать свою волю другим людям, распоряжаться ими и управлять их действиями, используя при этом насильственные или ненасильственные средства и методы. Власть нельзя свести всецело к функции насилия, поскольку имеются различные формы ее проявления и функционирования: насилие и принуждение, наказание и поощрение, контроль и управление, соперничество и сотрудничество.

В марксистской социальной философии власть рассматривается как структурное социальное отношение, существующее независимо от воли индивидов. Она сконцентрирована в пределах правящего класса и не может быть отделена от экономических и классовых отношений.

При более широком подходе к власти, характерном в особенности для американской социологии, власть не обязательно предполагает конфликт и принуждение, а понимается как особого рода *влияние*, т. е. способность одного индивида изменять поведение другого, как позитивная социальная устремленность к достижению целей сообщества. Власть, говорит Т. Парсонс, занимает в анализе политических систем место, во многом сходное с тем, какое занимают деньги в экономических системах, и выступает как обобщенная способность обеспечивать достижение общей цели социальной системы. Власть выполняет функции по регулированию групповых конфликтов и осуществлению коммуникации внутри социальной системы. Будучи одним из «платежных средств» в политике, власть применяется там, где не срабатывают другие формы влияния или оказывается неосуществимым добровольное согласование действий. Сложность феномена власти объясняется в первую очередь тем, что она оказывается одновременно интенциональной, что вызвано направленностью сторон властных отношений на взаимодействие, и структурной, в силу закреплённости позиции этих сторон в определенной системе власти. Власть является чем-то, открывающим возможности и вместе с тем принудительным.

Государство как власть — это не только насилие или угроза применения насилия, наказание и конфликт, но и сотрудничество, обмен, вознаграждения, обещания и т. д. Хотя государственную власть нельзя свести полностью к функции насилия, насилие — необходимое средство государства.

Государство неразделимо с *насилием*. Еще Т. Гоббс, продолжая традицию Н. Макиавелли, считал главным признаком государства монополию на принуждение и насилие. В дальнейшем это положение детально развил М. Вебер. Он полагал, что государство нельзя определить путем указания его целей или ссылки на то, что оно делает. Государства чересчур разнообразны для того, чтобы удалось показать, что какая-то конкретная задача или функция специфична для них. Отличительную особенность государства нужно искать в тех средствах, которые оно использует. Такой особенностью является, по Веберу, принадлежащая государству «монополия легитимного физического насилия». Государство — единственный источник права на насилие; другие организации и отдельные лица получают такое право лишь в той мере, в какой это допускается государством. Исходя из этого, Вебер рассматривает государство как отношение господства людей над людьми, опирающегося на легитимное, считающееся законным насилие как средство.

3. Справедливость и право

Понятие *справедливости* — одно из центральных в социальной жизни. Современный французский философ П. Рикёр определяет человека как существо, стремящееся к справедливости. Главное достоинство мышления — истина, главное достоинство социальных установлений — справедливость. Как связаны между собой философские концепции справедливости с теоретической юриспруденцией? Это — одна из самых старых и сложных проблем данных наук.

Еще Сократ высказывал убеждение, что ничего нельзя ставить выше справедливости — ни детей, ни жизнь, ни что-либо еще. Но уже Аристотель замечал, что все люди высоко ценят справедливость, но каждый понимает ее по-своему. Сократ говорил, что право должно быть справедливым. Аристотель не раз обращался к определению справедливости и к уяснению роли этого понятия в теории права. Он различал два вида справедливости: *уравнивающую* и *распределяющую*. Однако этим он не ограничивался, утверждая, что государственным благом является справедливость, т. е. то, что служит общей пользе. Для Аристотеля важнейший аспект справедливости — общее благо. Наряду с этим он подчеркивал связь справедливости с равенством: справедливость есть некоторого рода равенство — равные должны иметь равное. Позднее в христианстве это положение было выражено в виде требования «воздаяния каждому в соответствии с тем, что ему надлежит», или «равным — равное». Аристотель настаивал, что справедливость может быть и неравной: равенство справедливо для равных, а неравенство — для неравных. Безусловно, справедливым может быть только равенство по достоинству, представляющее собой вариант распределяющей справедливости. Последняя должна доминировать в сфере политики. Политика, по Аристотелю, — одна из важнейших сфер осуществления справедливости. К связи справедливого и политического он обращается постоянно. Устойчивым государственным строем, говорит он, бывает единственно такой, при котором осуществляется равенство в соответствии с достоинством и при котором каждый пользуется тем, что ему принадлежит. Этим Аристотель не ограничивается: государственным благом, — говорит он, — является справедливость, т. е. то, что служит общей пользе. Равномерно правильное имеет в виду выгоду для всего государства и общее благо всех граждан.

Итак, для Аристотеля важнейший аспект справедливости — общее благо. Можно сказать, что Аристотелем были заложены основы понимания справедливости: чрезмерный эгоизм несправедлив; справедлива забота о чужом и общем благе. Аристотель не отождествляет справедливость с определенной формой государства, но он формулирует принцип хорошего, т. е. справедливого, государственного порядка: наилучшее существование как для каждого гражданина в отдельности, так и вообще

для государств есть то, при котором добродетель настолько обеспечена внешними благами, что вследствие этого оказывается возможным поступать в своей деятельности согласно требованиям добродетели.

Гораздо позднее, уже в XIX в. английский философ И. Бентам назвал этот принцип «совпадением интересов»: добродетель в государстве должна быть выгодной и гражданам, и должностным лицам; учреждения должны быть устроены так, чтобы, стремясь к собственному благу, правители не могли бы в то же время не служить общему благу (по Бентаму: наибольшему счастью наибольшего числа людей).

Понятие справедливости играет существенную роль в морали, праве, экономике, политике, идеологии и т. д. В отечественной литературе не так давно доминировали две точки зрения. Одна из них отождествляла справедливость и право, другая — сводила все виды справедливости к моральной справедливости. На наш взгляд, обе эти позиции являются чрезмерно узкими и искажают смысл понятия справедливости.

Например, В. С. Нерсисянц отождествляет право и справедливость. Понимание права как равенства (как общего масштаба и равной меры свободы людей), говорит он, включает в себя и справедливость. В контексте различения права и закона это означает, что справедливость входит в понятие права, что право, по определению, справедливо, а справедливость — внутреннее свойство и качество права. Оно — категория и характеристика правовая, а не внеправовая (не моральная, нравственная, религиозная и т. д.). Поэтому всегда уместный вопрос о справедливости или несправедливости закона — это по существу вопрос о правовом или неправовом характере закона, его соответствии или несоответствии праву. Право (уже по понятию) всегда справедливо и является носителем справедливости в социальном мире. Справедливо то, что выражает право, соответствует праву и следует праву. Действовать по справедливости — значит действовать правомерно. Справедливость — это самооценка права и потому правовая оценка всего остального, неправового.

Эта странная точка зрения провозглашает право высшей ценностью, низводя справедливость до уровня одного из его свойств. В дальнейшем оказывается, что не только справедливость, но и равенство и свобода считаются невозможными без права. Право оказывается, таким образом, первоосновой социального мира.

Понятно, что такая позиция не согласуется с реальным положением вещей. В современном мире существует более двухсот государств. Каждое из них имеет свою систему права. Означает ли это, что каждая система права отвечает требованиям справедливости? Нет, конечно. Если бы это было так, в самом понятии справедливости не было бы нужды. Более того, с тех пор как стали возникать государства, формировались самые разные правовые системы. Значит ли это, что все, когда-либо существовавшие общества являлись справедливыми? Если бы

это было так, в представлении о справедливости тем более не было бы никакого смысла.

М. Н. Марченко пишет о попытках определить право как «нормативно закрепленную справедливость», что ссылки на моральные категории справедливости, добра и зла важны при определении морали, но не самого права. Справедливость, добро, зло не имеют какого-либо отношения к праву и правовой теории. Ранее Г. Кельзен постоянно повторял, что моральные ценности, в том числе справедливость, при всей своей необходимости представляют собой иррациональный идеал. Для права же характерна антиидеологическая направленность. Справедливость — требование морали, но не права.

Обе эти позиции несостоятельны. Гораздо ближе к истине были античные философы, утверждавшие, что право должно быть справедливым, точно так же как справедливой должна быть мораль.

Справедливость и общее благо

Мысль о совпадении справедливости и общего блага прошла сквозь тысячелетия. Ее использует Дж. Ролз, выпустивший в 1972 г. книгу «Теория справедливости». Его интересует справедливость прежде всего как политическая и социальная категория, а не как формально-правовая. Теория справедливости зависит, говорит Ролз, от теории общества. Надлежащее распределение тягот и выгод общества — это и есть социальная справедливость, важнейший аспект справедливости вообще. Ролз формулирует два принципа справедливости: (1) все лица обладают равными основными свободами, совместимыми с аналогичной свободой других лиц; (2) социальное и экономическое неравенства должны быть организованы так, чтобы они служили благу всех (и особенно наименее благополучных людей) и были связаны с положением и должностями, доступными всем. Первый принцип является политическим, второй — нет. Очевидно, что он имеет определенное юридическое содержание.

Теория справедливости, рассуждает Ролз, имеет дело, по меньшей мере, с тремя типами вопросов: 1) гражданин должен оценивать справедливость законодательства и социальной политики; 2) гражданин должен решать, какие конституционные механизмы пригодны для примирения конфликтующих представлений о справедливости; 3) учитывая процедурное несовершенство политического процесса, гражданин должен уяснить, когда с решениями большинства надо считаться, а когда они могут быть отвергнуты, т. е. определить основания и границы политической обязанности. В связи с этим Ролз замечает: конституционная теория гражданского неповиновения целиком покоится на концепции справедливости. Все вопросы, охватываемые первым принципом справедливости, носят ярко выраженный политический характер.

Второй принцип справедливости, являющийся, по Ролзу, социально-экономическим, связан с распределением прибыли и богатства. Не-

равенство, которое не идет на пользу всем, объявляется несправедливостью. В соответствии со вторым принципом, поясняет Ролз, социальная и экономическая политика должна быть направлена на наиболее полное удовлетворение долговременных ожиданий наименее благополучных людей при условии справедливого равенства возможностей и равных свобод. Главная проблема распределяющей справедливости, — пишет Ролз, — выбор социальной системы. Он констатирует, что выбор между экономикой, основанной на частной собственности, и социализмом остается открытым, ибо разные основные структуры могут отвечать принципам теории справедливости. Но социальная система должна быть такова, чтобы распределение оставалось справедливым, как бы ни обстояли дела. Это требует политических и правовых институтов. В системе власти должна быть особая распределяющая ветвь, которая путем налогообложения и регулирования прав собственности обеспечивала бы приблизительную справедливость распределительных долей. Справедливость, по мнению Ролза, «исключает различные формы эгоизма».

Таким образом, Ролзу справедливость представляется как служение благу всех, общему благу, примерно равное распределение выгод и тягот, проистекающих из взаимодействия в рамках общества, что предполагает регулирование частной собственности и исключение эгоизма при гарантии равенства прав и обязанностей. Речь идет о справедливости реальной, а не формальной, социальной и политической.

Стремление человека к справедливости

Нет, пожалуй, такой области человеческих отношений, где не вставал бы вопрос об их справедливости или несправедливости. Редко чего добиваются с такой настойчивостью, как справедливости. И наиболее частые и горькие обиды — это обиды на нарушенную, ущемленную справедливость. Крайние случаи несправедливости не зря называются «вопиющей несправедливостью». О них говорят в полный голос, в надежде, что другие поймут и поддержат; на неразделенную же любовь или уходящую славу жалуются только вполголоса. Поиски справедливости обычно соединяют людей, тогда как власть или слава чаще их разъединяют. Стремиться к справедливости — достойно, но это не всегда так со стремлением к власти или к взаимности в любви.

Еще Сократ высказывал убеждение, что нельзя ставить ничего выше справедливости — ни детей, ни жизнь, ни что-либо еще. Но уже Аристотель замечал, что все люди высоко ценят справедливость, но каждый понимает ее по-своему.

В чем источник особой чуткости человека к справедливости и особой горечи обид на несправедливость?

Есть основания предполагать, пишет Э. Фромм в книге «Бегство от свободы», что стремление к справедливости и истине является не-

отъемлемой чертой человеческой природы, хотя оно может подавляться и искажаться, так же как и стремление к свободе.

Фромм выводит страстную тягу к справедливости из анализа всей человеческой истории, как социальной, так и индивидуальной. История показывает, что для каждого бесправного идеи справедливости и истины — важнейшее средство в борьбе за свою свободу и развитие. Большая часть человечества на протяжении его истории была вынуждена защищать себя от более сильных групп, подавлявших и эксплуатирующих ее; кроме того, каждый индивид проходит в детстве через период бессилия.

Высокую оценку стремлению к справедливости дает Ф. Ницше: «По истине никто не имеет больших прав на наше уважение, чем тот, кто хочет и может быть справедливым. Ибо в справедливости совмещаются и скрываются высшие и редчайшие добродетели, как в море, принимающем и поглощающем в своей неизведанной глубине впадающие в него со всех сторон реки»¹.

Ницше подчеркивает, что служение справедливости придает твердость и силу даже самому слабому человеку. Справедливость делает понятным и человеческим стремление к истине; опирающаяся на истину справедливость заставляет с уважением относиться даже к самому суровому приговору. Стремление к истине имеет свои корни в справедливости: человек должен желать истины «не как холодного самодовлеющего познания, а как упорядочивающего и карающего судьи, он стремится к истине не как к эгоистическому предмету обладания для отдельного лица, но как к священному праву передвигать все грани эгоистических владений, — словом, к истине, как к вселенскому суду, а отнюдь не как к пойманной добыче и радости одноклювого охотника»².

Мысль Ницше, что стремление к справедливости является великой редкостью, нуждается в прояснении. Желание справедливости в человеческих отношениях высказывают, пожалуй, все. Во втором случае не припомнятся (за редким исключением, вроде римских императоров Нерона и Калигуллы) люди, которые говорили бы: «Это совершенно несправедливо, но я желаю, чтобы это было так». Многие стремятся к справедливости и готовы приложить определенные усилия, если она оказывается нарушенной. Есть люди, страстно жаждущие справедливости и до глубины души оскорбляющиеся каждым случаем несправедливости. Совсем мало только тех, кто видел бы в отстаивании справедливости дело всей своей жизни, был бы таким же верным и признанным ее подвижником, каким бывают подвижники истины или красоты.

¹ Ницше Ф. Полное собрание сочинений. М., 1909. Т. 2. С. 129–130.

² Там же.

То, что справедливость вербует себе меньшее число искренних подвижников, чем, скажем, милосердие или великодушие, связано со многими причинами. Главная из них указана Аристотелем: разными людьми и группами людей справедливость понимается по-разному. Или, как выражает эту мысль французский философ XVIII в. Ж. Ламетри: нет ничего абсолютно справедливого, и нет ничего абсолютно несправедливого, в действительности ни справедливость, ни порок, ни величие, ни преступления не абсолютны. Признайте чистосердечно, что справедливым будет тот, кто, так сказать, измеряет справедливость весом общественного интереса; в свою очередь, философы согласятся с вами, что всякий поступок относительно справедлив или несправедлив.

Имеет ли понятие справедливости правовой смысл? Очевидно, да. Об этом говорит уже изменение представлений о справедливости с изменением цивилизаций и постоянным изменением тех правовых систем, которыми они руководствуются в своей жизни.

Истолкования справедливости

Смысл, вкладываемый человеком в понятие справедливости, только кажется ему чем-то само собой разумеющимся. На самом же деле он меняется не только от эпохи к эпохе, но и от одной социальной группы к другой. Справедливость греков и римлян находила справедливым рабство; справедливость буржуа времен Великой французской революции требовала устранения феодализма, объявленного несправедливым. Все это находило, разумеется, отражение в системах права.

Наиболее раннее и простое понимание справедливости, сформировавшееся еще в первобытном обществе, — это понимание ее как воздаяния. «Слепая страсть в следовании своей партии, своему господину, просто своему делу, — пишет Й. Хёйзинга о Средних веках, — была отчасти формой выражения твердого, как камень, и незыблемого, как скала, чувства справедливости, свойственного человеку Средневековья, формой выражения его непоколебимой уверенности в том, что всякое деяние требует конечного воздаяния. Это чувство справедливости все еще на три четверти оставалось языческим. И оно требовало отмщения»¹. Воздающая справедливость («Око за око, зуб за зуб») сохранилась до сих пор, прежде всего в сознании замкнутых социальных групп, борющихся за свою монолитность и чистоту. Церковь пыталась смягчить обычаи, проповедуя мир, кротость и всепрощение.

Воздаяние и его соответствие поступку, пишет Г. Гегель, есть священный принцип всякой справедливости, основа любого государственного устройства. Иисус же требует полного отказа от права, возвышения тем самым над всей сферой справедливости или несправедливости посред-

¹ Хёйзинга Й. Осень Средневековья. М., 1985. С. 24.

ством любви, в которой вместе с правом исчезает и чувство неравенства, и возможность этого чувства, требующего установления равенства, т. е. исчезает ненависть к врагам.

Учение церкви, что проступок требует не кары, а искупления, что ударившему в левую щеку надо подставить правую, заметного успеха не имело. Когда перед государством вставала настоятельная необходимость применения суровых наказаний, случалось, что самые искренние верующие умоляли власти о самых жестоких мерах и испытывали глубокое внутреннее удовлетворение актами правосудия. Если согласиться с Гегелем, что справедливость как воздаяние забудется только с исчезновением государства и стоящего у него на службе права, то придется сказать, что это случится очень нескоро, если вообще когда-либо произойдет.

Более высокой формой является распределительная справедливость, говорящая о мере равенства (и, соответственно, неравенства) в жизненном положении разных социальных групп. Справедливость как равенство имеет, конечно, конкретно-исторический характер: в разные эпохи люди сравниваются (и оказываются равными или же неравными) по разным основаниям. В феодальном обществе люди были равны лишь в смысле происхождения от общего бога; феодалы строились в иерархию в зависимости от благородства их происхождения и резко противопоставлялись другим слоям общества. Несправедливым считалось лишь неоправданно жестокое обращение с подданными. В капиталистическом обществе равенство людей является уже более широким и включает, в частности, равенство перед законом и «равенство возможностей».

Изменение представлений о справедливости от эпохи к эпохе выдвигает важный вопрос: существует ли общее понятие справедливости, применимое во все времена и ко всем социальным группам? На этот вопрос можно ответить утвердительно, только допустив, что определение справедливости должно включать какие-то переменные факторы, меняющие свое значение от периода к периоду и от одной группы к другой.

Такая *формальная, или абстрактная, справедливость* может быть определена просто: каждый человек, относящийся к какой-то группе, должен трактоваться как равный любому другому представителю этой группы.

Если бы, к примеру, речь шла о дворянах, рассматриваемых только в этом качестве, то несправедливо было бы отдавать предпочтение одному дворянину перед другим. Если речь идет о пассажирах общественного транспорта без учета каких-либо дальнейших их различий, то каждого из них справедливо трактовать как равного любому другому.

Понятно, что это именно формальное, то есть лишенное конкретного содержания, истолкование справедливости. Оно не дает никакого критерия, по которому люди могут или должны соединяться в группы и, значит, трактоваться одинаково. Скажем, те же пассажиры во всем

равны лишь до тех пор, пока они берутся только в качестве пассажиров. Но их «одинаковость» исчезает, как только принимается во внимание, что среди них есть люди разного возраста, инвалиды и здоровые, женщины и мужчины, взрослые и дети и т. д.

В сущности, «формальное» определение справедливости является перефразировкой старого изречения: «Каждому — по его заслугам».

По каким основаниям мы чаще всего объединяем людей в группы, намереваясь относиться одинаково («справедливо») к каждому, кто входит в группу? Даже на этот вопрос ответить непросто. Рассмотрим кратко некоторые из возможных оснований.

«Каждому — одинаково». С этой точки зрения, все рассматриваемые люди должны считаться одинаковыми, независимо от того, молодые они или старые, прославленные или безвестные, белые или черные и т. д. Так уравнивает, пожалуй, только смерть, превращающая в ничто и возраст, и известность, и цвет кожи и т. п.

Но даже она не приносит полного «уравнивания». Об умерших принято, к примеру, говорить или хорошее, или ничего. Но и в этом аспекте они не всегда равны: о некоторых из них даже спустя десятилетия после их смерти высказываются очень скверно.

«Каждому по его заслугам». Справедливость, опирающаяся на этот принцип, не требует полного равенства, но в чем состоит мера заслуг, если эта мера должна быть приложимой к рабочему и писателю, актеру и политику, домохозяйке и нобелевскому лауреату?

«Каждому по труду». При всей важности этого принципа в жизни общества нужно признать, что последовательное его проведение связано со многими трудностями. Как сопоставить труд рабочего и инженера, официанта и писателя, художника-реалиста и художника-авангардиста?

«Каждому по его нужде». Здесь принимаются во внимание уже не заслуги или затраченный труд, а степень удовлетворения самых настоятельных нужд, самых неотложных потребностей. Справедливо прежде посочувствовать тому, у кого жидок суп, а не тому, у кого мелок жемчуг; из двух тонущих справедливее спасти первым того, кто плохо плавает, а не того, кто имеет больше наград.

«Каждому по его статусу». Это явно аристократическая формула справедливости, делящая людей на категории и требующая особого подхода к каждой из них. Как говорили в Древнем Риме: «Что позволено Юпитеру, то не позволено быку». В античности по-разному трактовались свободный человек и раб, коренной житель и иностранец. Нельзя, однако, сказать, что эта формула полностью принадлежит прошлому.

Очевидно, что существуют и другие принципы, ориентируясь на которые, мы обычно судим о справедливости. Понятно также, что принцип «каждому по труду», хотя и играет ведущую роль в рассуждениях о социальной справедливости, не является единственным. Во внимание принимается то, что все люди — как примерные труженики, так и без-

дельники — в определенном смысле равны, и было бы несправедливо относиться к ним по-разному (например, в случае болезни или стихийного бедствия), и то, что у разных людей разные прошлые заслуги; и то, что острая нужда, настигшая человека, может заставить забыть о его трудовой биографии; и то, что статус человека, его «социальная роль», даже когда она играет им из рук вон плохо, сказывается на тех благах, которыми он имеет право пользоваться, и т. д. Очевидно, что все формулировки принципа справедливости имеют не только идеологическое, экономическое и т. д. содержание, но и правовое содержание. В некоторых странах большинство из них являются законами права.

Уже простое перечисление разнородных, а иногда и просто несовместимых принципов, на основе которых выносятся суждения о справедливости, показывает, что решение вопроса о должном воздаянии лишь в редких случаях оказывается простым и способно удовлетворить всех. Если взять наугад двух спорящих, можно почти с уверенностью сказать, что если даже они разделяют общее представление о справедливости, они апеллируют к разным его конкретизациям. Один, допустим, требует вознаграждения по заслугам, а другой — по острой нужде, или один ссылается на статус, а другой — на равенство всех людей и т. д. Каждый из спорящих по-своему прав, но их позиции несовместимы. В таких ситуациях взаимные уступки и достижение взаимоприемлемого компромиссного решения оказываются, в сущности, единственным выходом.

Любовь к справедливости, к истине и т. п., являясь во многом выражением групповых чувств и интересов, по преимуществу объединяет людей, в отличие от эротической любви, тесно связывающей двоих, но одновременно отъединяющей их от всех других.

Ницше видит корни стремления к истине в справедливости. Это верно, однако, лишь отчасти. Истина притягивает, как правило, не сама по себе (чаще всего она слишком абстрактна и холодна для этого), а как средство, нивелирующее субъективные склонности и пристрастия, умеряющее эгоизм и уравнивающее людей и тем самым приближающее к справедливости. Но нередко также случаи, когда сама справедливость оказывается лишь средством установления и упрочения истины. В дискуссии, в суде и во многих других ситуациях столкновения интересов равенство состоящих сторон, справедливая оценка выдвигаемых ими доводов является необходимой гарантией поиска истины. Установление справедливости предполагает уважительное отношение к истине, но, в свою очередь, поиск истины становится малоэффективным при отсутствии какой-то меры справедливости. Цель и средство ее достижения здесь, как и во многих других случаях, могут меняться местами. Это не означает, конечно, что человек, стремящийся к справедливости, непременно любит также истину, или наоборот.

В любви к справедливости соединяются социальное и личностное, рассудочное и эмоциональное, с явным преимуществом, однако, со-

циального и рассудочного. Человек, любящий своих детей, сохраняет свое чувство, даже когда попадает в совсем иную среду и сам становится во многом другим; никакие доводы разума обычно не способны убедить отца, а тем более мать, что следует отказаться от своего чувства любви и привязанности к детям. Иначе — в случае любви к справедливости. Новая среда может навязать человеку совсем иное представление о справедливости, чем то, которого он придерживался ранее; человека, отстаивающего свое понимание справедливости, можно попытаться переубедить, вскрывая противоречивость его рассуждений или приводя новые факты.

И наконец, любовь к справедливости представляет собой, очевидно, сложное, комплексное чувство. В ней своеобразно переплетаются любовь к себе и любовь к близким, любовь к человеку и любовь к родине, любовь к добру и любовь к истине и т. д. Любой вид любви, так же как всякая привязанность, склонность или привычка, может сыграть свою роль в оживлении стремления к справедливости или послужить тем основанием, в опоре на которое выносится суждение о справедливости. Тем не менее в стремлении к справедливости есть собственное, независимое содержание, не позволяющее свести ее ни к какому другому стремлению, включая тягу к истине, красоте или добру.

Подводя итог, можно сказать, что справедливость — важнейшая философская и общественная проблема, имеющая особое значение для теории государства и права. Справедливость — это и критерий оценки всех политических и государственно-правовых явлений, хотя, разумеется, не единственный.

4. Политическое и этическое измерения власти

Иногда власть определяется как желание людей жить вместе, присущее той или иной исторической общности людей: их группе, нации, региону и т. п. и не сводимое к межличностным отношениям (Х. Арендт и др.). Политическая власть при этом оказывается только средством: она придает зданию власти перспективу длительности и стабильности, открывает горизонт общественного мира, понимаемого как спокойствие и порядок.

Такое истолкование власти обычно называется «этическим». Оно упрощает феномен власти, лишая его, в сущности, политического измерения и делая «политическое» всего лишь средством для достижения «этического».

На самом деле власть — это парадоксальное соотношение между вертикальным и иерархическим измерением *господства* и горизонтальным и поддерживаемым всеми членами общности измерением желания *жить вместе*. Ставший ныне ясным двойственный характер власти, являющейся одновременно и политическим, и этическим явлением, означает, что в современном мире власть не должна отрываться от морали.

В свое время Гегель, занимавший сверхэтическую позицию, утверждал, что действия государств, как и деятельность «великих людей», не поддаются моральным оценкам: история — не сфера морализирования. Принципом исторического развития является национальный дух. Он воплощается в государстве, которое и является нацией, действительно нравственной жизнью. Каждое государство является естественным врагом всех иных государств и должно утверждать свое существование посредством войны. К государству неприменимы никакие моральные ограничения, его оправданием является только исторический успех. Война, особенно война молодых наций против старых, вполне допустима. Три вещи наиболее ценны: война, судьба и слава. Конфликты государств разрешаются только в военном столкновении. Мир — это окостенение. Отношения между государствами не являются ни моральными, ни даже правовыми, ибо высший закон государства — его собственный интерес. Если государство неморально, то и великие люди, выражающие то, что оно хочет, и понимающие то, что нужно, также стоят вне морали.

Гегель не просто разрывал, таким образом, противоречивое единство этического и политического во власти, но вообще отбрасывал этическое измерение власти, а ее политическое измерение резко зауживал и сводил к государственной власти.

В этой связи можно вспомнить, что еще Аристотель в начале «Никомаховой этики» вводил политическую связь как средство реализации преимущественно этических целей, т. е. ставил этическое измерение власти над политическим ее измерением.

Как говорит П. Рикёр, оценивая современность, непременно следует иметь в виду три момента. Прежде всего мы оказались перед лицом нового выбора — не между капитализмом и социализмом, а между несколькими капитализмами. Далее, мы должны сопоставлять общество, основанное на рыночных отношениях, с другими типами обществ, не базирующимися на рыночных отношениях. Иными словами, речь идет не о том, чтобы бороться с рыночным капитализмом, а попытаться отыскать то, что выходит за пределы рыночных отношений. Здесь мы оказываемся лицом к лицу с этическими проблемами, не подпадающими под отношения купли-продажи: воспитание, здоровье, гражданственность. Европа, в которой идет борьба между разными типами капитализма, является центром этого опыта. Наконец, третий аспект, который надо иметь в виду, заключается в том, что культурная Европа намного отстает от Европы политической, и особенно от Европы экономической. Мы должны перечеркнуть нашу память и сделать прощение основной и основополагающей политической категорией. Именно духовная работа должна прийти на смену оскорбленной памяти. По убеждению Рикёра, сегодняшняя политика обязана говорить на языке морали.

5. Анализ правовых норм

Нормативное, или *деонтическое* (от греч. *deon* — долг), *высказывание* — это высказывание, устанавливающее какую-то норму поведения. Нормативными являются, в частности, высказывания: «Никто не может нести ответственность дважды за одно и то же преступление» (УК РФ. Ст. 6), «Никто не может быть произвольно лишен жизни», «Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет» (УК РФ. Ст. 161) и т. п.

Языковые формулировки нормативных высказываний многообразны и разнородны. Иногда такие высказывания имеют форму повелительного (императивного) предложения («Прекратите шуметь!» и т. п.). Чаще нормативное высказывание представляется повествовательным предложением с особыми нормативными понятиями: «обязательно», «разрешено», «запрещено», «(нормативно) безразлично». Вместо указанных понятий могут употребляться также другие слова и обороты: «должен», «может», «не должен», «позволено», «рекомендуется», «возбраняется» и т. п. В языковом представлении нормативного высказывания решающую роль играет контекст, в котором выражается норма. Можно говорить об обычных, или стандартных, формулировках нормативных высказываний. Но вряд ли можно сказать, что существует грамматическое предложение, в принципе не способное выражать такое высказывание. Попытка определить нормативное высказывание на чисто грамматических основаниях не приводит к успеху.

Более удачными представляются попытки уточнить понятие нормативного высказывания (и, соответственно, понятие нормы) путем противопоставления нормативных высказываний описательным, а также анализа внутренней структуры норм и исследования многообразных разновидностей норм.

Хотя нормы являются важным элементом социальной жизни, никакой ясной и универсальной классификации, охватывающей нормы всех видов, не существует. Область норм крайне широка, она простирается от законов государства до правил игр, логики и математики. Между нормами и тем, что к ним не относится, ясная граница отсутствует. Это говорит о том, что надежды на создание естественной классификации норм, подобной, скажем, классификации растений или химических элементов, являются неоправданными.

Структура норм

Логика норм, или деонтическая логика, исходит из представления, что все нормы, независимо от их конкретного содержания, имеют одну и ту же структуру.

Каждая норма включает следующие *части*, или *компоненты*:

— *содержание* — действие, являющееся объектом нормативной регуляции;

— *характер* — норма обязывает, разрешает или запрещает это действие;

— *условия приложения* — обстоятельства, в которых должно или не должно выполняться действие;

— *субъект* — лицо или группа лиц, которым адресована норма.

Не все эти части находят явное выражение в нормативном утверждении. Однако без любой из них нет нормы.

Многие нормы имеют в качестве особой части также авторитет. Авторитет — это индивид или орган власти, правомочный требовать, разрешать или запрещать.

Юридические нормы всегда имеют определенный авторитет. Моральные нормы также предполагают некоторый авторитет и меняются вместе с изменением своего авторитета. Вместе с тем авторитет, стоящий за моральными нормами, является менее определенным, чем авторитет юридических норм. Еще более расплывчаты авторитеты, стоящие за нормами («правилами») грамматики, разнообразных игр и т. п. Естественно предполагать, что за нормами логики и математики нет никакого авторитета. «Авторитет природы», иногда упоминаемый в связи с такими нормами, — не более чем метафора.

Нормы могут принадлежать разным авторитетам, один из которых может оценивать некоторое состояние как обязательное, а другой — как безразличное или даже запрещенное. Нормы «Обязательно сделать А» и «Запрещено делать А», принадлежащие разным авторитетам, не противоречат друг другу. Описания же «Истинно, что А» и «Ложно, что А» противоречат друг другу, даже если они утверждаются разными лицами. Основания разных норм, их субъекты и авторитеты, как правило, не могут быть отождествлены.

В этом плане нормы существенным образом отличаются от описаний. Описания, как принято говорить, *интерсубъективны*: их истинность не зависит от того, кем они высказаны, кому адресованы и с какой точки зрения описывается отображаемая в них ситуация. Нормы не являются *интерсубъективными* в данном смысле.

Можно отметить, что анализ структуры норм, даваемый нормативной логикой, совпадает в своей основе с теми представлениями о строении норм, которые давно уже устоялись в теории права.

В юридической интерпретации всякая норма включает *диспозицию*, *гипотезу* и *санкцию*. Диспозиция — структурный элемент нормы права, который раскрывает содержание поведения субъекта права, имеющее юридически значимый характер. Гипотеза — структурный элемент нормы, указывающий на условия ее действия. Диспозиция представляет собой ядро юридической нормы, поскольку указывает на форму пове-

дения субъекта права, непосредственно обуславливающую юридические последствия. Если диспозиция содержит требования к правомерному поведению или запрет на противоправное деяние, то гипотеза является предпосылкой применения властного предписания.

Например, условиями и гипотезой нормы права, касающейся отказа судьи принять заявление по гражданскому делу, является несоблюдение истцом установленного законом порядка предварительного внесудебного разбирательства; неподсудность дела данному суду; подача заявления недееспособным лицом и т. д. Санкция — структурная часть нормы права, указывающая на возможные меры воздействия на нарушителя данной нормы.

Помимо диспозиции, гипотезы и санкции, в правовой норме подразумеваются указание ее субъекта, авторитета и определенная характеристика, показывающая, в какой форме предписано субъекту выполнять зафиксированное в диспозиции действие. С точки зрения такой характеристики правовые нормы делятся на правобязывающие, правозапрещающие и правопредоставляющие.

Различие между логическим и юридическим анализами составных элементов правовой нормы связано, таким образом, с трактовкой санкции. С точки зрения логики норм, санкция — составная часть характера нормы, т. е. обязанности, разрешения или запрещения, выражаемых ею.

Выделять ли санкцию в качестве особой части норм или не делать этого, во многом зависит от выраженности и значимости этой части в структуре нормы. В случае, допустим, норм морали, грамматики, ритуала и т. п. санкция является неотчетливой, и ее можно считать аналитической составляющей характера нормы. Применительно к правовым нормам санкцию естественно считать составным элементом нормы.

Многообразие норм

Хотя нормы являются важным элементом социальной жизни, никакой ясной и универсальной классификации, охватывающей нормы всех видов, не существует. Область норм крайне широка, она простирается от законов государства до правил игр, логики и математики. Между нормами и тем, что к ним не относится, ясная граница отсутствует. Это говорит о том, что надежды на создание естественной классификации норм, подобной, скажем, классификации растений или химических элементов, являются неоправданными.

Область норм поражает своей широтой и внутренним разнообразием. Однако нормы всех видов имеют одну и ту же структуру.

Самым общим образом многообразные нормы можно разделить на следующие группы:

— правила, включающие правила игры, грамматики, логики и математики, обычая и ритуала и т. п.;

— предписания, охватывающие законы государства, статьи уголовных и иных кодексов, команды, приказы, распоряжения и т. п.;

— технические, или целевые, нормы, говорящие о том, что должно быть сделано для достижения определенной цели (например, «Чтобы в доме не было душно, следует проветривать его»).

Эти группы норм можно назвать *основными*. Существуют также разнообразнейшие нормы, занимающие как бы промежуточное значение между главными их видами. Особый интерес среди не являющихся основными групп норм имеют:

— традиции и обычаи («Следует уважать старших», «На Новый год принято наряжать елку» и т. п.);

— моральные принципы («Заботиться о близких», «Не будь завистлив» и т. п.);

— правила идеала («Судья должен быть беспристрастным», «Честность — лучшая политика» и т. п.).

Логика норм исходит из представления, что все нормы, независимо от их конкретного содержания, имеют одну и ту же структуру. Всякая норма имеет, в частности, авторитет.

Важно, что нормы могут принадлежать разным авторитетам, один из которых может оценивать некоторое состояние как обязательное, а другой — как безразличное или даже запрещенное. Нормы «Обязательно сделать А» и «Запрещено делать А», принадлежащие разным авторитетам, не противоречат друг другу. Описания же «Истинно, что А» и «Ложно, что А» противоречат друг другу, даже если они утверждаются разными лицами. Основания разных норм, их субъекты и авторитеты, как правило, не могут быть отождествлены.

6. Нормы и оценки

Обычно нормы и оценки рассматриваются независимо друг от друга. Попытки установить связь норм и оценок редки, причем заранее предполагается, что вопрос об этой связи весьма сложен. Чаще всего утверждается, что оценки как-то «лежат в основе» норм или каким-то образом «влекнут» нормы. Попытки выявить точный механизм этой связи приводят к громоздким и содержательно неясным конструкциям.

В действительности эта связь проста, о ней уже шла речь. Нормы представляют собой частный случай ценностного отношения между мыслью и действительностью.

Как таковые *нормы являются частным случаем оценок*. Именно тем случаем, который представляется нормативному авторитету настолько важным, что он находит нужным установить определенное наказание за приведение действительности в соответствие со своей оценкой.

Норма — это социально навязанная и социально закреплённая оценка. Средством, с помощью которого оценка превращается в норму, является *санкция*, или «наказание» в широком смысле слова, налагаемое обществом на тех, кто отступает от установленных им предписаний.

Наказание многолико и разнородно, начиная с лишения жизни и заканчивая абстрактным «осуждением истории». Соответственно, граница области норм не является четкой. В частности, правовые нормы — это жестко закрепленные социальные оценки со строго фиксированной санкцией. Методологические правила — оценки, отказ от которых грозит возникновением каких-то, не оговоренных заранее затруднений в исследовательской деятельности. Правила игры — оценки со своеобразной санкцией: человек, пренебрегающий ими, выбывает из игры («играет в другую игру»). Грамматические нормы — оценки с расплывчатой санкцией, во многом сходной с санкцией за нарушение правил игры, и т. д. Разнообразие видов возможной человеческой деятельности — от преобразования природы и общества до игры в крестики-нолики — лежит в основе разнообразия тех наказаний, которыми сопровождается нарушение нормы, и разнородности поля самих норм.

Идею, что нормы — это частный случай оценок, можно передать по-разному. В частности, она может быть выражена с помощью следующего определения:

Обязательно действие A — (по определению) действие A является позитивно ценным, и хорошо, что воздержание от данного действия влечет за собой наказание.

Этим определением норма разлагается на две оценки: позитивную оценку предписываемого нормой действия и позитивную оценку наказания за невыполнение этого действия (воздержание от него).

Например, норма «Обязательно платить налоги» означает «Уплата налогов является позитивно ценной и хорошо, что неуплата налогов влечет за собою наказание». Обязанность помогать ближнему означает, что помощь ближнему позитивно ценна и хорошо, что отказ в такой помощи тем или иным образом наказывается.

Нормы как оценки, стандартизированные с помощью санкций, являются частным и достаточно узким классом оценок. Во-первых, нормы касаются человеческих действий или вещей, тесно связанных с действием, в то время как оценки могут относиться к любым объектам. Во-вторых, нормы направлены в будущее, оценки же могут касаться как прошлого и настоящего, так и того, что вообще существует вне времени.

Отличие норм от других оценок связано, таким образом, с санкцией. Оно имеет в конечном счете социальную природу.

Различие между нормами и оценками не предполагает, разумеется, что они не связаны между собой. Напротив, их связи многообразны и тесны, хотя и не носят — за одним исключением — характера логического вывода.

Это единственное исключение является очевидным: из нормы, предписывающей некоторое действие, логически следуют позитивная оценка предписываемого действия и позитивная оценка наказания на невыполнение этого действия.

Например, из нормы, предписывающей быть честным, логически вытекает позитивная оценка честности теми, кто выдвигает данную норму, и позитивная оценка ими наказания за ее невыполнение; из нормы, требующей своевременной уплаты налогов, вытекает, что своевременная уплата налогов позитивно ценна и позитивно ценно, что невыполнение данной нормы влечет за собой наказание.

7. Нормы и описания

Описательное (дескриптивное) высказывание говорит о том, что имеет место. Нормативное высказывание выражает норму и говорит о том, что должно, может или не должно быть.

Различие между «есть» и «должен» является принципиальным: то, что есть, имеет место в реальности; то, что должно быть, может как существовать, так и не существовать. Однако граница между «есть» и «должен» далеко не всегда является отчетливой.

За оппозицией «описание — норма» стоит в конечном счете оппозиция «истина — ценность», и первые элементы этих оппозиций не могут быть ясно поняты без прояснения вторых их элементов.

Главная функция описательного, или дескриптивного, высказывания состоит в описании действительности. Если описание, даваемое высказыванием, соответствует реальному положению дел, высказывание считается истинным, если не соответствует — ложным. Только описательные высказывания могут быть истинными или ложными; все иные высказывания, не претендующие на описание реальности, стоят вне категории истины.

Понятие описательного высказывания может быть в должной мере прояснено лишь на основе противопоставления его оценочному, и в частности нормативному, высказыванию. Попытка определить описание вне оппозиции «описание — оценка» подобна намерению охарактеризовать «вареное» без упоминания о «сыром» или определить «гладкое», не ссылаясь на «шероховатое». Аналогично обстоит дело с теми определениями нормативного высказывания, которые не противопоставляют норме, — описанием.

Описание и норма являются выражениями двух противоположных отношений мысли к действительности: истинностного и ценностного. В случае первого отправным пунктом в сопоставлении высказывания с объектом служит объект, а высказывание выступает как его описание и характеризуется в истинностных терминах. В случае второго исходным является высказывание, выступающее как стандарт или проект, которому должен соответствовать объект.

К примеру, сопоставляются строящийся город и его план. Если за исходное принимается сам город, то несоответствие плана городу должно характеризоваться как ложность плана, а соответствие — как его истин-

ность. Если же за исходное принимается план, то город рассматривается как его реализация, и расхождение между планом и городом оценивается как недостаток города, а соответствие его плану — как его достоинство. План, соответствующий городу, является истинным; город, отвечающий плану, является таким, каким он должен быть.

Оценки и нормы являются необходимыми элементами социальных, а во многом и гуманитарных теорий. Более того, определенные оценки лежат в самой основе социального и гуманитарного теоретического **знания**.

Социальная теория анализирует общество в свете возможностей улучшения условий существования человека. Намечая историческую перспективу для общества в целом или для его отдельных групп, социальная теория обязана подвергнуть критике другие возможные пути. Этого нельзя достигнуть без оценочных и нормативных суждений.

Социальная теория должна, опираясь на эмпирические данные, показать объективную значимость тех оценочных суждений, которые исследователь вынужден принять в качестве обоснованных до начала своего конкретного анализа.

Выдвигавшееся неопозитивистами требование исключать любые оценки (и соответственно, нормы) из языка социальных наук неосуществимо и проистекает из стремления перестроить эти науки по образцу естественных наук. Нереалистичной является и более слабая рекомендация отчетливо отделять в социальных дискуссиях нормы и оценки от чисто описательных утверждений. Многие утверждения носят двойственный, описательно-оценочный характер и функционируют в одних контекстах как описания, а в других — как оценки или нормы. В социальных и гуманитарных теориях нередко невозможно провести ясную границу между описаниями и нормами или оценками и воспользоваться советом четко отделять описательные суждения от нормативных и оценочных суждений.

Как раз этот совет составляет существо распространенной и кажущейся вполне приемлемой идеи шведского экономиста Г. Мюрдаля. Согласно этой идее, если оценки и нормы невозможно, как это обычно бывает, устранить из экономической или иной теории, то их следует ясно отграничить от чисто описательных высказываний. В сущности, «постулат Мюрдаля» является ослабленной версией неопозитивистского требования устранения всех оценок и норм из науки.

Человеческая деятельность невозможна без норм и оценок. Науки, изучающие человека и общество и имеющие своей конечной целью рационализацию и оптимизацию человеческой деятельности, всегда устанавливают неявные или даже явные нормы и оценки и опираются на определенные ценности. Проблема не в устранении норм и оценок, которое в данных науках в принципе недостижимо, а в обосновании объективности выдвигаемых нормативных и оценочных положений.

8. Двойственная природа правовых норм

Язык права — особый язык. Своеобразие юридического рассуждения связано прежде всего с тем, что в нем используются правовые нормы и связанные с ними оценки.

Юридические нормы и принципы в большинстве своем относятся к *двойственным, описательно-оценочным выражениям*. Они содержат описание сферы правовых отношений жизни и опосредствованно тех сторон жизни общества, одним из проявлений которых является право. Эти же принципы предписывают определенные формы поведения, требуют реализации известных ценностей и идеалов.

Описательно-нормативные суждения употребляются не только в праве, но и в других рассуждениях, связанных с человеческой деятельностью.

Наглядным примером двойственных высказываний являются определения толковых словарей. Задача словаря — дать достаточно полную картину стихийно сложившегося употребления слов, описать те значения, которые придаются им в обычном языке. Но составители словарей ставят перед собой и другую цель — нормировать и упорядочить обычное употребление слов, привести его в определенную систему. Словарь не только описывает, как реально используются слова, но и указывает, как они должны правильно употребляться. Описание он соединяет с нормой, требованием.

Еще одним примером двойственных выражений могут служить правила грамматики. Они описывают, как функционирует язык, и вместе с тем предписывают, как правильно его употреблять. Если в определениях толковых словарей ярче выражена их дескриптивная (описательная) роль, то в правилах грамматики доминирует их предскриптивная (предписательная) функция.

Нормы права являются, образно говоря, частью «грамматики социального поведения человека». Неудивительно, что эти нормы имеют, как и правила обычной грамматики, двойственный, дескриптивно-предскриптивный характер и что в них явно доминирует предскриптивная составляющая. Правовая норма опирается на длительный опыт изучения поведения человека и на данные об эффективности правового его регулирования. В этом плане норма права косвенно описывает социальную жизнь. Однако описывает, чтобы установить новую ее регламентацию. Можно сказать, что правовые нормы описывают, но лишь затем, чтобы предписывать, и предписывают с намерением последующей эмпирической проверки эффективности новых предписаний. Точно так же обстоит дело, в частности, с принципами морали.

Проблема истинности правовых норм

Нередко противоречивое единство описания и предписания разрывается, и юридическим нормам и принципам дается либо дескриптивная,

либо прескриптивная интерпретация. Споры по поводу истинности данных норм и принципов ведутся с давних пор и сейчас не потеряли своей остроты.

Сторонники одного крайнего подхода считают юридические нормы и принципы описаниями, или прежде всего описаниями, и убеждены, что понятия истины и лжи применимы к ним точно в том же или в несколько модифицированном смысле, что и к остальным описаниям. Нередко выдвигается дополнительный аргумент: если бы юридические нормы и принципы не были связаны с истиной, то ни одну правовую систему нельзя было бы обосновать и все такие системы оказались бы равноправными. Эта ссылка на угрозу релятивизма и субъективизма в праве очевидным образом связана с убеждением, что объективность, обоснованность и тем самым научность необходимо предполагают истинность, а утверждения, не являющиеся истинными или ложными, не могут быть ни объективными, ни обоснованными, ни научными. Это убеждение — характерная черта устаревшего стиля теоретизирования, ушедшего в прошлое еще два века назад.

Сторонники другого, опять-таки крайнего, подхода подчеркивают регулятивную, проектирующую функцию юридических норм и принципов. Главным считается не дескриптивное, а прескриптивное их содержание, что исключает применимость к этим нормам и принципам понятия истины. Нередко при этом, чтобы избежать релятивизма и иметь возможность сопоставлять и оценивать разные правовые системы, взамен истины вводится некоторое нное понятие. Его роль — быть как бы «заменителем» истины в сфере права и показывать, что хотя понятие истины не применимо в праве, последнее тем не менее как-то связано с действительностью, и в нем возможны некоторые относительно твердые основания. В качестве таких «суррогатов» истины предлагались понятия: «эффективность», «значимость», «целесообразность» и т. п.

Ни один из этих подходов к проблеме истинности юридических норм и принципов нельзя назвать обоснованным. Каждый из них представляет собой попытку разорвать то противоречивое дескриптивно-прескриптивное единство, каким является юридический принцип (норма), и противопоставить одну его сторону другой.

Первый подход предполагает, что в терминах истины может быть охарактеризована любая форма отображения действительности человеком, а там, где нет истины, нет вообще обоснованности, и все является зыбким и неопределенным. С этой точки зрения добро и красота — всего лишь завуалированные формы истины. Очевидно, что такое расширительное толкование истины лишает ясного смысла не только те понятия, которые она призвана заместить, но и ее саму.

При втором подходе уже сама многочисленность предлагаемых «суррогатов» истины, их неясность, необходимость для каждой формы отображения действительности, отличной от чистого описания, изо-

бретать свой особый «заменитель» истины говорят о том, что на этом пути не приходится ожидать успеха.

Проблема обоснования юридических норм и принципов связана в первую очередь с раскрытием их двойственного, дескриптивно-прескриптивного характера. Юридические нормы и принципы напоминают двуликое существо, повернутое к действительности своим регулятивным, оценочным ликом, а к ценностям — своим «действительностным», истинностным ликом. Эти нормы и принципы оценивают действительность с точки зрения ее соответствия ценности, идеалу, образцу и одновременно ставят вопрос об укорененности этого идеала в действительности.

Таким образом, проблема не в том, чтобы в области юриспруденции заменить должное истинным, и не в том, чтобы заместить должное чем-то, что напоминало бы истину и связывало бы, подобно ей, право с действительностью. Задача — в выявлении взаимосвязи и взаимного дополнения истины и долга, в выявлении их взаимоотношений с другими юридическими категориями.

Если под «обычным», или «естественным», значением утверждения понимается его описательное значение, то ясно, что юридические нормы и принципы, строго говоря, не имеют такого значения. Они описывают, но лишь для того, чтобы эффективно предписывать, и предписывают, чтобы адекватно описывать.

Функции описания и предписания диаметрально противоположны. Однако вряд ли оправдано на этом основании приписывать какую-то особую «неестественность» значению юридических норм и принципов. Как уже было сказано, дескриптивно-прескриптивный характер имеют не только они, но и многие другие языковые выражения, включая и самые обычные определения, правила грамматики и др.

Тем не менее существует известная потенциальная опасность, связанная с двойственностью юридических норм и принципов. Она обнаруживает себя, когда эти нормы и принципы истолковываются либо как чистые описания, либо как чистые предписания.

Социальная теория — и в частности, теория права — анализирует общество в свете возможностей улучшения условий существования человека. Описывая альтернативы дальнейшего развития тех или иных сфер социальной жизни или намечая историческую перспективу для общества в целом, теория обязана подвергнуть критике другие возможные пути. Этого нельзя достигнуть без нормативных и оценочных суждений.

Глава 13

ФИЛОСОФИЯ НАУК ОБ ИСКУССТВЕ¹

1. Определение искусства

Рассмотрим в этой главе три из тех наук, которые занимаются исследованием искусства и относятся к «нормативным наукам» или существенно тяготеют к ним. Речь пойдет о *философии искусства, искусствоведении и эстетике*. Предварительно попытаемся, однако, ответить на вопрос: «Что такое искусство?»

На этот вопрос давались десятки и сотни разных ответов. Нет необходимости детально рассматривать какие-то конкретные определения искусства: как станет ясно из дальнейшего, ни одно из них не является и в принципе не может быть удовлетворительным.

Понятие искусства — центральное в философии искусства — не допускает вербального определения. Строго говоря, оно не допускает реального определения, которое однозначно описывало бы, что представляет собой искусство, и при этом являлось бы истинным. Все рассматриваемые далее определения искусства носят по преимуществу *номинальный характер*: они содержат очевидный элемент предписания и говорят о том, что *должно* пониматься под искусством. Выражаясь иначе, они указывают, что следует называть «настоящим» или «подлинным» искусством, каким должно быть искусство, а не о том, что на самом деле является искусством.

Важно отметить, что нет неизменного феномена, который можно было бы назвать «искусством» и выявление сущности которого являлось бы одной из основных задач философии искусства. Поиски «сущности» искусства, произведения искусства, прекрасного, трагического и т. д. были характерны для традиционной философии искусства. Современная философия искусства избавилась от эссенциализма, точно так же, как философская антропология отбросила идею поиска неизменной, данной раз и на века «сущности человека», а социальная философия оставила какую-либо надежду на раскрытие во все времена одной и той же «сущности социального».

В каждую историческую эпоху «подлинное искусство» скорее чувствуется, чем определяется. Дальнейшее обсуждение предлагавшихся определений искусства является всего лишь средством, позволяющим составить об искусстве некоторое предварительное, пусть и не вполне отчетливое, представление.

Не претендуя на однозначное определение искусства, самым общим и приблизительным образом его можно предварительно охарактеризо-

¹ Эта глава рассчитана на аспирантов творческих вузов. Более подробно философия искусства рассматривается в работах: Никитина И. П. Философия искусства. М., 2008; Никитина И. П. Эстетика. М., 2008; Никитина И. П. Эстетика. М., 2014.

вать как *концентрированное, допускающее передачу другим выражение эстетического видения мира человеком*.

Об эстетическом видении говорится далее, сейчас же можно отметить, что оно представляет собой меняющееся от эпохи к эпохе и от цивилизации к цивилизации видение мира в ракурсе прекрасного и безобразного, эпатазирующего и заурядного, возвышенного, низменного и обыденного и т. д.

Искусство — итог деятельности особого сообщества людей, или *сообщества художников*, первыми оценивающих работы своих коллег, следящими за соблюдением принятых канонов или, напротив, требующими поиска совершенно новых художественных форм и т. д. Искусство предполагает также определенную *аудиторию*, или *зрителя* в широком смысле этого слова. Даже в случае так называемого «искусства для искусства» произведения создаются художниками не для самих себя, а для зрителя, и только последний решает в конечном счете, какие из этих произведений относятся к искусству, а какие представляют собой ремесленнические поделки.

Искусство всегда предполагает определенный *эстетический опыт* — реальную чувственную встречу зрителя с произведением. Иногда такой встречей является *созерцание*, т. е. зрительное восприятие. Но чувственная встреча может представлять собой и слушание, например прослушивание музыки. Слушатель тоже является «зрителем» в широком смысле слова, т. е. тем, кто чувственно воспринимает произведение искусства. Можно заметить, что в повседневном опыте слушание и видение взаимно дополняют друг друга. В видимых нами фигурах танца более наглядно проявляется ритмика музыки, сопровождающей танец. Чувственная встреча с произведением искусства может осуществляться не только путем зрения и слушания, но и посредством осязания, обоняния, вкуса. Пять органов чувств человека — это пять способов его чувственной встречи с произведением искусства. Часто они очень тесно переплетаются между собой. Как говорил один художник, чтобы ближе познакомиться с картиной, ее нужно не только увидеть, но и пощупать, понюхать и даже лизнуть. Когда говорят о «созерцании зрителем произведения искусства», имеется в виду все это — плюс еще слушание.

Иногда под искусством понимается только совокупность произведений искусства, то есть принятых зрителем результатов деятельности сообщества художников. Характерная особенность этих творений ума и рук человека — в том, что они обращены в первую очередь не к разуму, а к чувству, не к знаку или понятию, а к образу.

Неясность и неточность понятия искусства

Значение определений искусства не следует переоценивать. Никаких однозначных, сколько-нибудь жестких критериев отделения искусства от неискусства и произведения искусства от того, что не является им, не существует.

Употребление и понимание понятия предполагает знание его смысла, или содержания, и отчетливое представление о классе тех объектов, к которым оно относится. Понятие, отсылающее к размытому, нечетко представляемому множеству вещей или ко множеству, граница которого не определена, является неточным. Понятие с неясным смыслом, размытым и неопределенным содержанием обычно называется содержательно неясным, или просто неясным.

Например, понятие «музыкальный концерт» является относительно точным: обычно мы уверенно распознаем, является прослушанное нами исполнение музыки концертом или нет. Вместе с тем содержание этого понятия не вполне ясно. Если исполняется только современная, атональная музыка, некоторые слушатели могут сказать, что это был не концерт, а какая-то какофония.

Многие общие понятия и естественного языка, и языка философии являются одновременно и неясными, и неточными. Их содержание расплывчато, сверх того, они отсылают к нечетко очерченному классу объектов. Таковы, в частности, понятия «бытие», «становление», «рациональность», «детерминизм», «причинность», «интуиция» и др.

Неясными и одновременно неточными являются и многие научные понятия. Одним из источников споров, постоянно идущих в биологии, особенно в учении об эволюции живых существ, является неясность таких ключевых понятий этого учения, как «вид», «борьба за существование», «эволюция», «приспособление организма к окружающей среде» и т. д. Не особенно ясны многие центральные понятия психологии: «мышление», «восприятие», «темперамент», «личность» и т. д.

Нет ничего странного в том, что понятие искусства является одновременно неясным и неточным. Было предпринято много попыток выявить те особенности искусства (или, как иногда говорят, «настоящего искусства»), которые позволили бы отграничить последнее от многообразных подделок под искусство. Но полной определенности и отчетливости понятию «искусство» так и не удалось придать. Более того, есть все основания думать, что это понятие вообще не допускает вербального определения, так что наивно требовать, чтобы философия искусства начиналась с определения понятия искусства.

Важно также учитывать, что понятия, лежащие в основании отдельных философских теорий, по необходимости остаются содержательно неясными до тех пор, пока эти теории способны развиваться. Полное прояснение таких понятий означало бы, в сущности, что перед теорией уже не стоит никаких вопросов. Если бы, скажем, философская антропология дала безупречное определение человека, исчезла бы необходимость в существовании самого этого раздела философии.

Это относится и к понятию искусства. Как само искусство, так и философское его познание является, можно предполагать, бесконечным предприятием. И до тех пор, пока оно будет продолжаться, понятие искусства неминуемо должно остаться не вполне ясным и точным.

Понятие искусства можно отнести к тем понятиям, которые Л. Витгенштейн называл «семейными». Видя порознь членов некоторой семьи, мы можем не догадываться об их родственных отношениях; но как только они собираются вместе, сравнивая их друг с другом, мы сразу же замечаем, что они похожи. Тот, кто сталкивается поочередно с искусством Возрождения, классицизма, абстракционизма, кубизма, дадаизма, поп-арта и т. д., вряд ли увидит их внутреннее родство. И только если эти течения в искусстве будут собраны вместе, так сказать, под одной музейной крышей, станет ясной их схожесть друг с другом. Абстракционизм совершенно не похож на дадаизм, но у дадаизма есть нечто, сходное с футуризмом, а у футуризма — с абстракционизмом.

Понятие искусства подобно таким «семейным понятиям», как «язык», «игра», «пейзаж» и т. д. Мы говорим, в частности, не только об играх людей, но и об играх животных и даже об игре стихийных сил природы. Если брать лишь игры человека, то игрой будут и футбол, и шахматы, и действия актера на сцене, и беспорядочная детская беготня, и выполнение стандартных обязанностей, предполагаемых такими социальными ролями, как «роль брата», «роль отца» и т. п., и действия, призванные кому-то что-то внушить, и т. д. В случае многих ситуаций невозможно решить, делается что-то «всерьез» или же это просто «игра». В частности, само искусство может рассматриваться как определенного рода игра. Понятие игры является не только размытым, но и неопределенным по своему содержанию. Всякая ли игра должна иметь правила? Во всякой ли игре, помимо выигравших, есть также проигравшие? Даже на эти важные вопросы не так просто ответить.

Неясность и неточность понятия искусства не являются, таким образом, чем-то из ряда вон выходящим. Эти черты свойственны многим понятиям как повседневного, так и научного языка.

Огюст Ренуар как-то заметил, что настоящее искусство должно быть необъяснимым и неповторимым. В этом искусство подобно таким, внешне простым человеческим чувствам, как любовь, симпатия, дружба и т. д.

Те черты искусства, которые упоминаются обычно, — это лишь то, что понятию в нем, или, лучше сказать, то, что лежит перед глазами.

Но в искусстве, несомненно, есть и что-то непонятное, таинственное, невыразимое и даже мистическое. И возможно, как раз эти, ускользающие от вербальных объяснений стороны искусства и являются главными в нем.

2. Основные проблемы философии искусства

Философия искусства является философским исследованием искусства, рассматриваемым в процессе его развития.

Философия искусства носит эмпирический характер в том смысле, что она опирается на опыт искусства и на опыт его восприятия. Вместе с тем она черпает данные для обобщения не только из истории искусства, но из других наук об искусстве: искусствознания, социологии искусства, психологии искусства, истории и теории культуры и т. д.

Эти эмпирические и теоретические данные всегда нуждаются в интерпретации, которая возможна лишь в рамках определенной философской концепции искусства. Они не только всегда теоретически нагружены, но и, сверх того, чрезвычайно подвижны и неустойчивы. Факты искусства представляют собой явления человеческой культуры, и, как все социальные явления, они подобны каплям воды на раскаленной сковородке: находясь в постоянном движении, они в любой момент их рассмотрения могут предстать совершенно иными, а то и просто исчезнуть.

Включение эстетики и тесно связанной с нею философии искусства в число описательно-оценочных наук, подобных этике, теории права и т. п., влечет за собой определенные выводы, которые не всегда истолковываются правильно.

Прежде всего философия искусства не является точной наукой, подобной математике, физике или биологии, и никогда не станет ею. В философии искусства достижима только такая точность, какая позволяет природой исследуемого ею предмета — искусства. Неразумно, в частности, надеяться, что философия искусства, складывавшаяся на протяжении всей своей истории из многих конкурирующих направлений, однажды станет чем-то единым, что, скажем, феноменологическая или марксистская философия искусства окончательно вытеснит все другие философские истолкования искусства. Наивно надеяться также на ясные определения центральных категорий философии искусства, включая понятия «искусство», «произведение искусства», «прекрасное», «возвышенное», «эпатирующее», «комическое» и т. д.

Нередко изложение философии искусства ведется так, как если бы никаких исключаящих друг друга течений в ней не существовало. Это не должно, однако, вводить в заблуждение. Многие авторы, стремясь к объективности, пытаются не обнаруживать своего тяготения к какому-то конкретному направлению в философии искусства, создать видимость «равной удаленности» от всех существующих направлений и найти, так сказать, «золотую середину» между ними. Это вполне допустимая, но временная позиция.

Такая позиция не должна создавать впечатления, что в философии искусства можно стоять над всеми существующими ее направлениями

и изгнать некую «объективную», совершенно не зависящую от этих направлений концепцию. Философия на всех этапах ее развития слагалась из многих разнородных и исключаящих друг друга теорий и течений. В философии искусства, являющейся приложением философии к искусству, ситуация является аналогичной: она всегда слагалась и будет слагаться из конкурирующих, несовместимых друг с другом направлений и концепций. Уже одно это исключает возможность открытия приемлемых для всех представлений об искусстве, произведении искусства, художественном образе, художественном вкусе, модернизме, постмодернизме и т. д.

Основные проблемы современной философии искусства

Отвлекаясь на время от того, что философия искусства представляет собой множество различных направлений и школ, по-разному трактующих едва ли не все ключевые вопросы, касающиеся искусства, можно попытаться перечислить некоторые из основных, вызывающих наиболее острые споры, тем современной философии искусства:

— определение понятия искусства, отграничение искусства от других способов понятийного и образного представления мира (идеология, философия, религия, наука и т. д.) и от того, что ошибочно принимается или принималось за искусство; установление связи философии искусства с эстетикой и искусствознанием;

— выявление смысла искусства, его предназначения или цели. Долгое время искусству придавался объективный, не зависящий ни от воли людей, ни от их деятельности смысл. Другой альтернативой является идея, что искусство имеет только субъективный, определяемый самими людьми смысл, и то, будут ли достигнуты цели, которые искусство ставит перед собой, зависит не от каких-то внешних факторов, а от разумности и настойчивости в реализации этих целей;

— выявление и анализ тех категорий, которые лежат в основе искусства как специфической области человеческой деятельности, включающей как создание произведений искусства, так и их восприятие аудиторией. Исследование задач, или функций, искусства и его значения для человеческой жизни и деятельности. Описание механизма связи искусства с культурой своего времени, выявление динамики детерминации искусства культурой. Исследование тех идеалов, или ценностей, которыми руководствуется в своей деятельности художник, создающий произведение искусства. Анализ самого феномена эстетического восприятия, или видения, мира и связь такого видения с другими специфическими особенностями природы человека;

— периодизация истории искусства, деление ее на основные этапы, выделение особых, отличающихся внутренним единством стилей в рамках каждого из таких этапов и т. д. Выявление динамики развития отдельных видов искусства, доминирования того или иного вида в кон-

кретный исторический период. Критическое описание существующих, в том числе и предлагавшихся когда-то, философских концепций природы искусства и его развития;

— анализ особенностей современного искусства, его связей с современной культурой, общих тенденций его развития и основных этапов его эволюции. Исследование связей между традиционной и современной философией искусства. Изучение роли искусства в обществе и прежде всего в современном мире.

Философия искусства стремится рассматривать чисто художественные и социальные аспекты искусства в их единстве и взаимосвязи.

Поскольку философия искусства, как и философия вообще, складывается из разнообразных, конкурирующих между собой концепций и направлений, ни одно определение философии искусства не может быть исчерпывающим. Она не является подобием естественных наук, так как люди, видящие мир в эстетическом измерении, обладают способностью мыслить, ставить перед собою определенные цели и наделять смыслом окружающий их мир. Помимо причинного объяснения эстетических явлений, философия искусства должна предоставлять также возможность понимания этих явлений, основывающегося на учете тех ценностей, которыми руководствуются люди. Она должна объяснить также то, почему в разные периоды времени и в разных обществах прекрасным, безобразным, трагическим и т. п. считаются разные, иногда совершенно несхожие объекты.

Приведенный перечень задач философии искусства не является, конечно, исчерпывающим. Но он хорошо показывает, что философия искусства занимается теми вопросами, которые не способна исследовать сколько-нибудь полно и последовательно никакая другая научная дисциплина, занимающаяся исследованием искусства.

3. Искусствознание и эстетика

Искусствознание изучает происхождение и тенденции развития искусства, особенности и содержание видового его расчленения, природу художественного творчества и т. д. Психология искусства занимается проблемами психологического, в том числе и социально-психологического, функционирования искусства, свойствами и состояниями личности, обуславливающими создание и восприятие ею художественных ценностей. Социология искусства исследует искусство как социальный институт, подобный институтам государства, морали, религии и т. д., но отличающийся существенной спецификой и оказывающий воздействие на все стороны социальной жизни.

Философия искусства и искусствознание различаются степенью своей общности и, соответственно, характером своей связи с эмпирической реальностью. Искусствознание, даже чисто теоретическое, ближе

к художественному опыту и всегда должно указывать пути эмпирической проверки своих теорий. Философия искусства более абстрактна, ее концепции отправляются не столько от конкретных произведений искусства, сколько от совокупного, слабо расчлененного опыта восприятия искусства. Большая абстрактность и, можно сказать, большая спекулятивность философии искусства обеспечивают ей более широкий кругозор. Вместе с тем эта широта кругозора таит в себе многие опасности, и как раз ею объясняется, почему философия искусства нередко оказывается схематичной и умозрительной.

Искусствознание сдержанно относится к сколько-нибудь отдаленным прогнозам развития искусства. Широта кругозора философии искусства позволяет ей, продолжая в будущее основные линии современного развития, намечать ту точку их схода, которая создает более широкую, чем у искусствознания, перспективу развития современного искусства.

В искусствознании нередко по инерции говорят о неких «закономерностях» или даже «законах», которые проявляются в развитии искусства. Философия искусства давно уже не претендует на установление каких-либо законов или закономерностей, касающихся искусства, его динамики, смены стилей и т. п. Современная философия искусства исходит, как правило, из идеи, что история искусства представляет собой смену единичных и уникальных явлений, что в ней нет прямого повторения одного и того же, и поэтому в ней нет *общих, универсальных законов*, подобных законам механики или экономической науки. Это не исключает, конечно, того, что в искусстве нет *устойчивых тенденций*. Их выявление и анализ — одна из главных задач как философии искусства, так и искусствознания.

Искусствознание и философия искусства различаются типами объективности, выдвигаемыми ими в качестве своих методологических идеалов. Можно сказать, что искусствознание менее свободно от оценочных суждений об искусстве и в этом смысле более субъективно, чем философия искусства.

Исследование искусства по образцу природы невозможно уже потому, что представители и искусствознания, и философии искусства сами живут в том настоящем, искусством которого они пропитаны, и не могут подняться над традициями и стилями искусства своего времени, над своим «настоящим». Рассмотрение реальности искусства осуществимо лишь в том виде, в каком она предстает, пройдя сквозь фильтр оценочных, остающихся по преимуществу неявными, суждений. В искусствознании, стоящем ближе к эмпирически данному искусству и не претендующему на широкие обобщения, оценочные суждения, в общем-то, легче отделить, чем в философии искусства, от чисто описательных суждений. Искусствознание складывается из множества конфликтующих между собой направлений, между которыми идут постоянные споры. Несовпадение мнений в искусствознании более обычно, чем в философии искусства.

Эстетика

Понятие *художественного* является преломлением в сфере искусства более общего понятия *эстетического*. Художественное представляет собой единство эстетического созерцания мира и художественного таланта, реализованного в произведении искусства.

Эстетическое шире прекрасного, поскольку включает также эпатирующее, возвышенное, обыденное, трагическое, фарсовое и т. д. Соответственно, прекрасное — не то же самое, что и художественное. Как говорил А. Ф. Лосев, «когда мы мыслим художественное, мы всегда имеем в виду *искусство*, произведение *искусства*, то есть осуществленное творчество. Художественное есть осуществление эстетического, причем в нем может быть не только эстетическое»¹.

Прежде чем рассматривать специфические особенности преломления эстетического в области искусства, необходимо предварительно остановиться на самой общей категории эстетического.

Понятие эстетического видения мира («эстетического опыта», «эстетической ценности», «эстетической ситуации», или просто *эстетического*) является одной из центральных, причем интегральных, категорий как современной эстетики, так и современной философии искусства. Анализ этого понятия дает возможность выявить своеобразие эстетического подхода человека к миру, показать широту задач искусства, установить связь философии искусства с философской антропологией, социологией и психологией искусства.

Эстетическое видение мира — одна из характерных особенностей человека, связанная с другими специфическими его чертами и составляющая одно из неотъемлемых качеств природы человека.

Человек определялся как политическое существо, как экономическое существо, как социальное существо, способное жить и разворачивать свои потенции только в обществе. Но его с таким же правом можно определить и как эстетическое животное, как существо, видящее мир сквозь призму прекрасного и безобразного, абсурдного и последовательного, возвышенного и трагического и т. д.

Ф. Рабле первым, по-видимому, охарактеризовал человека как смеющееся животное. Уже в XX в. А. Бергсон отличительную черту человека усматривал — хотя и не без иронии — в способности смеяться и, в особенности, в способности смешить других. Определение человека как смеющегося животного — один из подступов к определению его как эстетического животного.

Психолог А. Маслоу среди ценностей, которыми руководствуется и в которых нуждается человек, выделяет особые «бытийные ценности» — те предельные ценности, или потребности, которые являются

¹ Лосев А. Ф. Диалектика художественной формы // Он же. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995. С. 37.

подлинными и не могут быть сведены к чему-то более высокому. Имеется, полагает Маслоу, около четырнадцати таких ценностей: истина, красота, добро древних, совершенство, простота, всесторонность и др. Их можно назвать «метапотребностями», и их подавление порождает определенный тип патологий, до сих пор хорошо не описанных, которые могут быть названы «метапатологиями». Это заболевания души, которые происходят, например, от постоянного проживания среди лжецов и потери доверия к людям. В некотором вполне определенном и эмпирическом смысле человеку необходимо жить в красоте, а не в уродстве, точно так же, как ему необходима пища для голодного желудка или отдых для усталого тела. Можно утверждать, что на самом деле эти бытийные потребности являются смыслом жизни для большинства людей, хотя многие даже не подозревают, что они имеют эти метапотребности. Частью работы психологов в качестве консультантов должно быть доведение до сознания людей того, что они имеют эти свои основные метапотребности, подобно тому, как традиционный психоаналитик доводит до сознания своих пациентов факт наличия у них базальных инстинктивных потребностей¹.

В духе традиционной эстетики Маслоу говорит о потребности человека в красоте, хотя эту потребность следовало бы понимать более широко и говорить о потребности человека в эстетическом, включающем столкновение красоты с безобразным, трагического с трагикомическим и комическим, последовательного и рационального с хаотичным и иррациональным, образного с понятийным, игрового с серьезным, канонического с новаторским, возвышенного с низменным, формального с содержательным и т. д. Эстетическое — результат свободной игры духовных сил в процессе неутилитарного созерцания объекта или в ходе творческого акта, завершающегося созданием произведения искусства.

Важнейшим принципом эстетического видения мира И. Кант считал «целесообразность без цели». Такого рода целесообразность кажется внутренне противоречивой, и она вызывала и продолжает вызывать многие возражения. Самому Канту «целенаправленная деятельность, не имеющая цели» представлялась, однако, высшей формой целесообразности.

«Целесообразность без цели» является, можно сказать, вырожденным случаем целесообразной деятельности. Тем не менее такой целесообразности можно придать рациональный смысл. Для этого достаточно понимать под нею способность эстетических объектов, и в особенности произведений искусства, активно стимулировать душевную деятельность человека, упорядочивать с помощью фантазии, или воображения, его опыт и доставлять тем самым человеку чистое, не имеющее какой-либо непосредственной пользы (цели) удовольствие. Эстетическое как

¹ См.: Маслоу А. Самоактуализация // Психология личности М., 1982. С. 111.

свободное, гармоничное движение духовных, разумно-чувственных сил, не способно найти адекватного выражения в понятиях. «Суждение называется эстетическим именно потому, — говорил Кант, — что определяющее основание его есть не понятие, а чувство (внутреннее чувство) упомянутой гармонии в игре душевных сил, коль скоро ее можно ощущать»¹.

Особенности эстетического видения

Эстетическое видение, как и проистекающее из него искусство, *социально* по своей природе. Более того, эстетическое видение является одним из высших проявлений социальности человека. Вне общества нет прекрасного и безобразного, высокого и пошлого и т. д., изменения, происходящие в обществе, неизбежно влекут за собой изменения характерного для него эстетического видения мира.

Всякое эстетическое видение имеет дело с *конкретными, данными в чувстве вещами*. Чисто абстрактного, воспринимаемого только умом, в эстетическом измерении мира не существует. «Мыслимое, — категорично утверждает Г. Гегель, — не может быть любимым»². Подобно тому, как стремление к добру — это влечение к конкретным его проявлениям, к тем поступкам, в которых оно находит свое выражение, так и привязанность к прекрасному представляет собой влечение к вещам, которые несут в себе красоту, но не привязанность к «красоте вообще». Нельзя любить «прекрасное вообще», «искусство вообще», как нельзя любить «человека вообще», можно наслаждаться только отдельным, индивидуальным произведением искусства во всей его конкретности.

Потребность в эстетическом видении является одной из *ведущих потребностей* человека и одним из важных способов укоренения индивида в обществе. Человек лишился природных корней, перестал жить животной жизнью. Ему нужны человеческие корни, столь же глубокие и прочные, как инстинкты животного. И одним из таких корней являются эстетическая составляющая мира человека и отображающее ее искусство.

Эстетическое видение — это всегда *новое видение*: с его появлением и знакомый, казалось бы, предмет, и все его окружение начинают восприниматься совершенно иначе, чем раньше. Если воспользоваться сравнением В. Бенямина, можно сказать, что это выглядит так, как если бы человек в один момент был перенесен на другую планету, где многие объекты ему незнакомы, а известные видны в ином свете.

Эстетическое видение — это прежде всего *видение в ауре*, в модусе очарования. Оно придает объекту эстетического интереса особый способ существования, при котором возникает ощущение уникальности этого

¹ Кант И. Сочинения. Т. 5. М., 1966. С. 302.

² Гегель. Философия религии: в 2 т. Т. 1. С. 142.

объекта, его подлинности и незаменимости. С этим во многом связано обычное в случае произведений искусства требование их подлинности: копия скульптуры или картины, выполненная, быть может, выдающимся художником, не имеет такой ценности, как подлинник. «Даже в самой совершенной репродукции, — пишет В. Беньямин, — отсутствует *один момент*: здесь и сейчас произведения искусства — его уникальное бытие в том месте, в котором оно находится. На этой уникальности и ни на чем другом держалась история, в которую произведение было вовлечено в свое бытование. Сюда включаются как изменения, которые с течением времени претерпевала его физическая структура, так и смена имущественных отношений, в которые оно оказалось вовлеченным»¹. Следы физических изменений можно обнаружить только с помощью химического или физического анализа, который не может быть применен к репродукции; что касается следов второго рода, то они являются предметом традиции, в изучении которой принимается во внимание место нахождения оригинала. «Здесь и сейчас оригинала определяет понятие его подлинности... *Все, что связано с подлинностью, недоступно технической — и, разумеется, не только технической репродукции*»². С чувством подлинности нередко сопряжена иллюзия, что эстетический объект уже давно был известен, что он уже был наш. «Невольное воспоминание» более ранних встреч с эстетически заинтересовавшим нас объектом внушает мысль о некой предопределенности: зритель и его объект встречаются как ранее знакомые.

Эстетическое видение, создающее ореол вокруг созерцаемого объекта, сообщает ему какого-то рода святость и внушает благоговение. О том, насколько сильным может быть благоговение, говорит, к примеру, то, что в Средние века даже самые уродливые изображения Богоматери находили себе почитателей, и даже более многочисленных, чем хорошие изображения.

Самым бесполезным было бы говорить тому, кто признает некоторое произведение искусства или иной эстетический объект великолепным, что это не так. Существо эстетической привязанности заключается как раз в неспособности увидеть, что ее объект не обладает теми достоинствами, которые в нем усматриваются. Явление это известно и одновременно необъяснимо, на нем, в сущности, основывается всякая любовь.

Ореол, вне которого не видится предмет эстетического чувства, — самое непонятное в нем. Но если бы ореол отсутствовал, все эстетические предпочтения достались бы немногим избранным произведениям, так что какие-либо изменения этих предпочтений оказались бы невозможными.

¹ Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. М., 1996. С. 20.

² Там же.

Эстетическая привязанность — не ослепление, а именно иное видение. Вряд ли верно, что оно идеализирует или что оно абстрагируется от негативных черт своего объекта. Эстетически предпочитаемый объект не есть нечто идеальное или очищенное с помощью абстракции, это всего лишь по-особому рассматриваемый объект. И для конкретного, неповторимого индивида, быть может, такое его видение и является единственно верным. Во всяком случае, только оно позволяет в некоторых случаях «узреть красоту даже в безобразном» (Л. П. Карсавин).

Характерной особенностью эстетического видения является его телесность. Эстетическое созерцание инкарнировано, оно телесно, или «отелеснено», детерминировано телесной обремененностью человека, специфическими способностями человеческого тела видеть, слышать, ощущать. То, что воспринимается и как воспринимается, зависит от строения человеческого тела и его конкретных функциональных особенностей, способностей восприятия в пространстве и времени. Устроено по-разному, значит, воспринимает мир по-разному, и только телесное устройство человека дает ему возможность созерцать мир в эстетическом ракурсе.

Функция эстетического познания мира никогда не сводится к работе чистого, абстрактного интеллекта. Интеллект не существует вне тела, вне физического организма, взятого в его естественном функционировании и движении и в окружении других материальных тел. Фактор телесной обремененности субъекта эстетического восприятия сделался объектом эстетических исследований только недавно. Особое значение ему придает феноменологическая эстетика, подчеркивающая, что внешняя перцепция и перцепция нашего собственного тела меняются вместе, потому что они являются двумя сторонами одного и того же акта. Эстетическое видение не является чисто познавательной функцией в ее готовой данности, в полном развернутом виде. В каждое конкретное время это видение является итогом как общего эволюционного развития человека (процесс филогенеза), так и результатом постепенного его формирования в процессе индивидуального развития (процесс онтогенеза).

Эстетическое видение не только телесно нагружено, но и является также *теоретически нагруженным*. То, что видит человек, во многом определяется имеющимися у него теоретическими представлениями. В процессе эстетического созерцания тело и душа, мозг и сознание находятся в отношении циклической, взаимной детерминации.

Важной особенностью эстетического видения является его *ситуационность*, встроенность его во внешнее ситуативное физическое и социокультурное окружение.

Эстетическое видение *инактивировано*, оно осуществляется в действии и через действие. Эстетическая активность в мире создает и саму окружающую по отношению к субъекту среду — в смысле отбора, «вырезания» им из мира именно того, что соответствует его эстетическим установкам.

Нет сомнения, что эстетическое видение является во многом эмергентным. Эстетические предпочтения появляются спонтанно, непредсказуемо и относительно недетерминированно. Именно в силу этого невозможно предсказать, какое именно из многообразных направлений в искусстве определенного периода окажется доминирующим в недалеком будущем, а творчество каких, казалось бы, не менее талантливых художников никогда не найдет отклика.

Процесс эстетического восприятия индивида протекает во взаимной связи его с другими людьми, в частности с теми, кто создает произведения искусства, и имеет характер обоюдного и синхронного становления. Эта особенность эстетического видения позволяет говорить об интерсубъективности искусства. Граница между «я» и «другим» не очерчена сколько-нибудь точно, с полной определенностью: быть собой, проявлять свое «я» и создавать «другого» — это события, сопутствующие друг другу. Художник создает своего зрителя, но одновременно зритель стимулирует и в известном смысле направляет как художника, так и других зрителей.

И наконец, эстетическое видение мира *динамично* и строится в процессе самоорганизации, самостоятельной выработки нового и, как представляется индивиду или группе, более адекватного восприятия эстетических объектов.

Эстетика и философия искусства

Эстетика как раздел философии самоопределилась сравнительно недавно, хотя собственно эстетическое сознание, эстетический опыт, эстетическая деятельность, далеко не всегда осознаваемые как таковые, присущи культуре изначально, а история эстетической мысли уходит своими корнями в глубокую древность. Зачатки эстетики обнаруживаются уже в древних мифологических текстах.

Термин «эстетика» впервые встречается у немецкого философа А. Баумгартена в его книге «Aesthetica» (1750–1758) для обозначения «науки о чувственном знании», которая в качестве «низшей теории познания» должна дополнять целостную теорию познания, говорящую как о чувственном, так и о рациональном (логическом) познании. Если логические суждения покоятся на ясных отчетливых представлениях, то чувственные, или эстетические, опираются на смутные основания. Первые — это суждения разума; вторые — суждения вкуса. Эстетические суждения предшествуют логическим: их предмет — прекрасное, а предмет логических суждений — истина. Поэтому к эстетике, по Баумгартену, относится и вся философия искусства, предметом которого он тоже считает прекрасное. В этом же смысле И. Кант называл эстетику наукой о «правилах чувственности вообще». От Баумгартена идет и употребление термина «эстетика» для обозначения философии художественного творчества.

Коротко *эстетику* можно определить как описательно-оценочную науку об эстетическом измерении человеческого бытия. Эстетика говорит о своеобразном, не совпадающем ни с каким другим *эстетическом отношении* человека к миру, о специфическом *эстетическом видении* мира, об эстетических аспектах жизни индивида, об эстетических взаимосвязях людей в обществе и о значении эстетического в укреплении и развитии социального взаимодействия.

Чтобы определение эстетики не содержало скрытого круга, «эстетическое отношение» (или «эстетическое видение») должно быть охарактеризовано без ссылки на науку, изучающую такого рода отношение. Это вполне возможно, поскольку эстетическое как таковое существует независимо от того, имеется ли научная дисциплина, пытающаяся выявить его своеобразие, или такой науки нет.

Ошибочность понимания эстетики как науки о прекрасном

Долгое время эстетика развивалась преимущественно как философия прекрасного. Однако в настоящее время определение эстетики как науки о прекрасном представляется, очевидно, устаревшим. Прекрасное — только разновидность эстетического, наряду с такими его модификациями, как возвышенное, низменное, комическое, ирония, юмор, бурлеск, гротеск и т. д.

«Предмет эстетики, — говорит Л. Витгенштейн, — очень обширный и, насколько я вижу, понят совершенно неверно»¹. Употребление такого слова, как «красивый», — если посмотреть на лингвистическую форму предложений, где оно встречается, — может быть неверно понято гораздо легче, чем употребление других слов. «Красивый» по синтаксической форме является прилагательным, отсюда может появиться желание сказать: «То, что красиво, имеет некое качество красоты». В реальной жизни, когда мы выносим эстетические суждения, такие прилагательные, как «красивый», «изящный» и т. д., почти не играют никакой роли. Применяются ли, например, эстетические прилагательные в музыкальной критике? Обычно говорят: «Посмотрите, какая нестройная эта модуляция»; или: «Этот пассаж бессвязный»; в литературной критике: «Его образность очень точная». Используемые здесь слова гораздо ближе к таким, как «правильно», «верно», употребляемым в обыденной речи, чем к таким, как «красиво», «прекрасно»². Витгенштейн правильно обращает внимание на то, что уже традиционная эстетика явно переоценивала значение категории прекрасного для эстетического суждения.

«Мне хотелось бы поговорить о том, что можно понимать под эстетикой как наукой, — еще раз возвращается к теме определения предмета

¹ Витгенштейн Л. Лекции, разговоры об эстетике, психологии и религиозной вере // Современная западно-европейская и американская эстетика. М., 2002. С. 37.

² Там же. С. 39

эстетики Витгенштейн. — Вы могли бы подумать, что эстетика — это наука, говорящая о том, что является красивым... Я думаю, что в таком случае она должна включать также и положения о том, какой сорт кофе наиболее приятен на вкус»¹. В общем случае можно сказать, что существует некая сфера *выказывания удовольствия*, когда человек пробует вкусную пищу или вдыхает ароматный запах. Кроме того, есть область искусства, совершенно отличная от вышеназванной, хотя когда человек слушает музыку, у него на лице появляется такое же выражение, как и при дегустировании вкусной пищи, хотя здесь есть и различие: над тем, что человек очень любит в музыке, он может даже плакать, а от удовольствия от вкусной пищи он вряд ли станет ронять слезы. «Загадки эстетики — это загадки о том, какой эффект производят на нас произведения искусства»².

Эстетические суждения и оценки, по Витгенштейну, являются особого рода игрой, или, как он скажет позднее, «практикой», в контексте языковых игр, присущих той или иной культуре. Искусство — это тоже художественная игра, непосредственно связанная с эстетической игрой. Сама культура представляет собой игру («практику»), а именно «большую игру». Как раз она содержит в себе мотивировки для разнообразных художественных игр и суждений о них — игр на языке эстетических терминов. Чтобы понять смысл этих терминов и тех высказываний, которые их содержат, нужно принимать во внимание те действия — мимику, жесты и другие движения человеческого тела, — которыми сопровождаются эстетические высказывания. Первоначально прилагательные «милый», «изящный» и т. п. использовались как восклицания. Можно сказать «Какой милый», но можно просто воскликнуть «Ах!» и улыбнуться или погладить живот. «В границах первобытных языков, — полагает Витгенштейн, — проблемы с тем, что означают такие слова, как «красивый» или «хороший», или что им соответствует в реальности, не возникает»³.

В этих замечаниях Витгенштейна по поводу природы эстетического интересны несколько моментов. Эстетическое имеет социальную природу и определяется «большой игрой» — культурой. Оно связано с удовольствием, причем последнее является не каким-то специфическим удовольствием, говорящим о таинственной, почти мистической связи человека со всей вселенной («Универсумом» с большой буквы), а обычным удовольствием, родственным тому, которое доставляется человеку вкусной пищей или приятным запахом. В старой эстетике много говорилось о «высших» и «низших» типах удовольствия, причем эстетическое удовольствие относилось к самым высоким

¹ Витгенштейн Л. Указ. соч. С. 40

² Там же. С. 40–42

³ Там же. С. 39

типам. Но никакого сколько-нибудь ясного различия между видами удовольствия так и не удалось провести. Витгенштейн скептически относится к идее построения внятной иерархии удовольствий. Он прямо говорит о неотличимости эстетического удовольствия от других типов удовольствия, исключая, возможно, только силу, или напряженность, удовольствия.

Сфера эстетического и, соответственно, предмет эстетики в новейшее время необычайно расширились. Термин «эстетика» употребляется теперь и в ином смысле — для обозначения эстетической составляющей культуры и ее эстетических компонентов. В этом смысле говорят об эстетике поведения, той или иной деятельности, спорта, церковного обряда, воинского ритуала, какого-либо объекта и т. п.

Предмет эстетики является относительно четко определенным, и это связано в первую очередь с выделением эстетики в самостоятельную область знания по отношению к философии и искусствознанию, в русле которых она традиционно развивалась. Как наука эстетика, несомненно, носит философский характер, но она имеет свою специфику. Поскольку эстетические ценности создаются преимущественно в рамках искусства, эстетика может рассматриваться прежде всего как наука о своеобразии искусства и художественного творчества. Искусство оказывает решающее влияние на развитие эстетики. Со своей стороны эстетика имеет значение общей теоретической основы по отношению ко всем частным искусствоведческим наукам (литературоведение, теория изобразительных искусств, театроведение, музыковедение и т. д.). Занимаясь изучением общих проблем искусства, эстетика дает этим частным теориям необходимые для их построения методологические принципы, исследует связи и отношения между отдельными искусствоведческими дисциплинами, анализирует применяемые в них конкретные методы исследования.

В круг основных проблем, исследуемых эстетикой, входят эстетические чувства и взгляды, художественный вкус, идеал и другие составляющие эстетического сознания. Важнейшей задачей эстетики является разработка категориального аппарата. В числе основных категорий эстетики: эстетическое, прекрасное, безобразное, возвышенное, низменное, трагическое, комическое, ироническое, мимезис, катарсис, художественный образ, символ, симулякр, канон, художественный стиль, искусство, игра, эпатаж и т. д. Никакого исчерпывающего перечня эстетических категорий не существует, с изменением сферы эстетического меняются и те общие понятия, которые необходимы для ее анализа.

Эстетика не учит какой-то конкретной деятельности. Она не учит, в частности, правильному восприятию искусства или красоты мира — это задача эстетического воспитания, призванного развивать эстетический вкус, эстетическое чувство. Исследуя свой предмет — эстетическое

измерение человеческого существования, эстетика показывает место, роль и значимость эстетического опыта в жизни человека и общества. Косвенно она указывает и тот путь, на котором человек может хотя бы временно выходить из сферы глобальной социально-утилитарной зависимости, детерминированной конкретными жизненными условиями, и ощущать свою причастность к иной, кажущейся более высокой реальности, к духовным сферам бытия, переживать состояние личной свободы, гармонии и абсолютной полноты жизни.

Эстетический опыт как совокупность неутилитарных отношений человека с действительностью присущ человеку с глубокой древности. Он получил свое выражение в эстетической практике первобытного, или архаического, человека — в первых попытках создания тех феноменов, которые мы сегодня относим к сфере искусства или художественного. В первобытной пластике и настенных росписях в неолитических пещерах древние люди стремились выразить свой духовно-практический опыт. Их экскурсии в сферу эстетического чаще всего были неразделимы с религиозным сакральным опытом. Различие между религиозным и эстетическим плохо осознавалось древним человеком. Как отмечает В. Беньямин, животные, рисовавшиеся первобытным человеком на стенах пещер, служили прежде всего культовым, ритуальным целям, и их изображения предназначались в первую очередь для созерцания духов, а уже затем — людей. Вместе с тем эстетическое активно переживалось, возбуждая эмоциональную сферу психики архаического человека.

В дальнейшем эстетический опыт и эстетическое сознание, совершенствовавшиеся вместе с духовно-эмоциональным развитием человека, наиболее полно стали воплощаться в искусстве, в культовых практиках и в повседневной жизни. Уже в Древней Индии, Древнем Китае и Древней Греции появляются специальные трактаты по искусству и философские тексты, в которых предпринимаются попытки теоретически осмыслить как искусство, так и эстетическое вообще. Концепция возникновения космоса (красоты, упорядоченности) из хаоса, попытки описания красоты, гармонии, порядка, ритма, подражания (мимесис у древних греков) в искусстве фактически стали первым этапом прояснения эстетического сознания и первыми шагами к созданию особой науки об эстетическом видении мира — эстетики.

Наиболее важные понятия традиционной эстетики сложились в Древней Греции. К ним относятся такие понятия, как красота, прекрасное, возвышенное, трагедия, комедия, катарсис, гармония, порядок, искусство, ритм, поэтика, риторика, музыка, калокагатия, канон, мимесис, символ, образ, знак, свет, цвет и др. Более поздняя эстетика изменила, однако, смысл многих из этих понятий. В современной эстетике, начавшей складываться в XIX в., большинство из них было радикально переосмыслено.

Своеобразие философии искусства

Исторически в центре эстетики всегда стояли две главные проблемы: вопрос о природе эстетического, которое чаще всего осмысливалось в терминах красоты, прекрасного, возвышенного, и вопрос о своеобразии искусства, понимавшегося в древности в более широком смысле, чем новоевропейская категория искусства (с XVIII в. искусство — это *beauxarts*, изящные искусства). Понимание эстетики как философии искусства и прекрасного — традиционное клише старой, или, как ее иногда называют, классической, эстетики.

Это понимание, восходящее еще к античности, является, однако, ошибочным. Понятия эстетики и философии искусства не совпадают по своему содержанию, как, скажем, совпадают понятия «бессмыслица» и «абракадабра». Философия искусства не является также составной частью эстетики, в отличие от, допустим, «психологии зрения», являющейся частью «психологии восприятия». Философия искусства и эстетика — не вид и род, а пересекающиеся понятия, как «искусствовед» и «филателист».

В эстетике имеются темы, не входящие в философию искусства: эстетический опыт, эстетическое сознание, социокультурная детерминация эстетического видения мира, место и функции эстетического в жизни и культуре и т. д. С другой стороны, философия искусства исследует проблемы, не имеющие прямого отношения к эстетике. Среди таких проблем: определение или хотя бы прояснение того, что имеется в виду под искусством и под произведением искусства; выявление изменчивости искусства; анализ искусства как феномена культуры и зависимости его понимания от исторических эпох и цивилизаций; изучение связей искусства с другими сферами культуры; прояснение двойственного, описательно-оценочного характера философского исследования искусства; описание функций искусства, меняющейся от эпохи к эпохе и от цивилизации к цивилизации его роли в жизни индивида и общества; выявление и прояснение категорий искусства и их связей с более общими категориями эстетики; разработка принципов анализа эволюции искусства; разбиение истории искусства на основные ее этапы; описание сменяющих друг друга стилей искусства и объяснение причин умирания одних стилей и возникновения других; анализ современного искусства и его роли в культуре современного общества и т. д. Многие из этих проблем затрагиваются также эстетикой, но их исследование не входит в прямые задачи эстетики. Скорее, обсуждая эти проблемы, она выносит не самостоятельные суждения, а черпает основания для них из философии искусства. В европейской цивилизации искусство — один из центральных объектов эстетики как науки; термин «искусство» — одна из главных категорий эстетики.

4. Два этапа в развитии философии искусства и эстетики

История философии искусства, как и история эстетики, отчетливо разделяется на два основных этапа. Первый из них, именуемый обычно *традиционной философией искусства*, начался еще в античности и продолжался примерно до середины XIX в. Второй этап, называемый *современной* (иногда неклассической, или неонклассической) *философией искусства*, охватывает последние полтора столетия.

Современная философия искусства не имеет, как и в прошлом, никакой общепринятой парадигмы (образцовой, общепринятой теории) и представляет собой множество несовместимых друг с другом и конкурирующих между собой концепций. В их числе марксистская, неомарксистская, позитивистская, феноменологическая, экзистенциалистская, прагматистская, неотомистская и другие философии искусства. Существующие направления в философии искусства различаются своими пониманиями искусства и его истории, теми общими понятиями, которые используются при анализе искусства, истолкованиями функций искусства, разбиениями истории искусства на основные ее этапы, выделением основных линий прошлого развития искусства и представлениями о тенденциях будущего его развития. Когда заходит речь о философии искусства, всегда необходимо уточнять, какая из многочисленных ее версий имеется в виду. Но то, что философия искусства существует в форме множества разнородных, не сводимых даже в расплывчатое единство теорий и, надо думать, всегда будет существовать в такой форме, не снижает ценности философского осмысления искусства и его истории.

Традиционная философия искусства, у истоков которой стояли Платон и Аристотель, развивалась очень медленно, и обсуждаемые в ней проблемы зачастую не отличались от проблем, поставленных еще ее основателями. Современная теория искусства явилась попыткой осмыслить ту революцию в искусстве, которая постепенно вызревала на протяжении всего XIX в. и совершенно недвусмысленно выразила себя уже в самом начале XX в. возникновением абстракционизма, кубизма, футуризма и т. д. Новая философия искусства на первых порах резко противопоставляла себя традиционной философии искусства. Постепенно стало, однако, понятно, что преемственность существует не только в развитии искусства, но и в его философском осмыслении и что одна из задач новой философии искусства заключается в уточнении и систематизации основных категорий и идей традиционной философии искусства и в определении их места в более общей и более фундаментальной философии искусства. Со временем основное содержание традиционной философии искусства должно войти в состав современной философии искусства, так что традиционные философские представления об искусстве окажутся одним из фрагментов современных философских представлений о нем.

Вместе с тем, как показывает развитие философии искусства в прошлом веке, процесс переосмысления традиционных философских представлений об искусстве идет пока что медленно и является внутренне противоречивым. До сих пор, в частности, распространенной является идея, что будто бы параллельно существуют и будут неограниченно долго существовать две совершенно разные, в сущности не совместимые друг с другом, философии искусства — традиционная и современная.

Истоки этой идеи — в сложности процесса усвоения современной философией искусства категорий и концепций традиционной философии искусства. Этот процесс действительно все еще далек от завершения. Но сама по себе идея двух параллельных, не завышающих друг от друга философий искусства представляется, по меньшей мере, странной. Столь же странным было бы утверждение, что сейчас под видом единой науки физики развиваются две разные научные дисциплины — классическая (ньютоновская) физика и неклассическая, или современная, физика, включающая квантовую механику и общую теорию относительности. Или мнения, что в настоящее время на равных правах существуют две биологии, две разные химии или две экономические науки — скажем, одна, разработанная когда-то Марксом, и другая — современная экономическая наука, и т. п.

Об одной и той же предметной области, рассматриваемой с некоторой единой точки зрения, может существовать только одна научная дисциплина. В период научной революции она может включать разные, конкурирующие между собою концепции, однако ни об одной из них нельзя сказать, что она является особой наукой.

Эстетика является наукой об эстетических аспектах, или эстетическом измерении, человеческого существования. Эстетическое меняется со временем, но не настолько, чтобы однажды возникли и параллельно существовали две совершенно разные науки об эстетическом, две разные эстетики.

Эстетическое находит свое наиболее концентрированное выражение в искусстве. Искусство и его философские истолкования постоянно изменяются, но нет оснований предполагать, что в настоящее время существуют две параллельные философии искусства, причем такие, что одна из них говорит о старом искусстве, а другая — исключительно о современном искусстве.

Различия старой и новой философий искусства

Между двумя последовательными этапами в развитии философии искусства — традиционной и современной философиями искусства — существуют серьезные различия. Они связаны как с радикальными изменениями в искусстве, имевшими место в последние полтора века, так и с изменением самой философии и, соответственно, принципов философского анализа искусства. Отличие современной философии

искусства от традиционной остается пока что почти неисследованным, что во многом обусловлено тем, что современная философия искусства находится еще в процессе своего становления.

Тем не менее уже сейчас можно указать несколько принципиально важных моментов, в которых различаются старая и новая философии искусства.

Прежде всего в новой философии искусства утвердилось гораздо более широкое понимание искусства как области человеческой культуры. Искусство является не просто средством воплощения красоты, особо эффективным способом установления чувственно-разумных отношений с миром, позволяющим индивиду и обществу совершенствовать себя. Утвердилось и более широкое представление о задачах, или функциях, искусства. С помощью искусства человек улавливает выражение чувств и мыслей других людей и выражает собственные чувства; познает мир в форме художественных образов, символов и т. д.; учится эстетически оценивать реальность; побуждает к определенной, представляющейся ему позитивно ценной деятельности.

Переход от традиционной к современной философии искусства сделал очевидным изменение той системы категорий, или системы координат, в рамках которых философия искусства рассуждает об искусстве.

Категории традиционной философии искусства: искусство, произведение искусства, законы (или закономерности) развития искусства, художник, мимесис (подражание), художественный вкус, художественный образ, прекрасное, возвышенное, трагическое, комическое, безобразное, низменное, шедевр, эстетическое созерцание, катарсис, виды искусства, художественные жанры, композиция и др. В этой системе категорий существовала определенная и устойчивая иерархия.

Современная философия искусства включила все эти категории, существенно переосмыслив, однако, их содержание. Она принципиально изменила старую иерархию категорий и ввела целую серию новых категорий, без которых, как выяснилось, не является возможным достаточно полный анализ не только современного искусства, но и искусства предшествующих эпох. В числе новых категорий можно упомянуть: побуждение как функция искусства, противоположная подражанию, художественный стиль, тенденция в развитии искусства, художественное пространство, художественное время, игра, абсурд, лабиринт, повседневность, символ, симулякр, деконструкция и др.

Радикально изменились сама иерархия категорий философии искусства. Традиционная философия искусства считала основной задачей искусства формирование и развитие способностей человека творчески преобразовать окружающий мир и самого себя по законам красоты. Прекрасное выступало как центральная категория искусства и его философии. Современное искусство показало, однако, что прекрасное —

не единственная и не главная цель искусства. В связи с этим на первый план выдвинулась более широкая категория эстетического.

Современная философия искусства исходит из мысли, что история искусства представляет собой последовательность индивидуальных и неповторимых событий. В ней нет никаких общих законов, определяющих ее ход и предопределяющих будущее. Каким окажется будущее, во многом зависит от деятельности самого человека, от его ума и воли. В философии искусства невозможны какие-либо предсказания, опирающиеся на научные законы («законы искусства»), хотя в ней возможны предсказания, основывающиеся на знании причинных связей и устойчивых тенденций в развитии искусства. Будущее является открытым не только для индивидов, но и для отдельных обществ и для человечества в целом. Вместе с тем будущее в известной мере определяется каузальными связями, имеющимися между существующими явлениями и уже успевшими сложиться и проявить себя тенденциями развития. Предсказание развития искусства в будущем является сложным, во многом такое предсказание ненадежно, но тем не менее оно возможно.

Традиционная философия искусства утверждала, что искусство призвано представить мир в модусе красоты. Однако более важная задача искусства — расширение и углубление многообразной жизни человеческой души. Красота — не единственное измерение человеческого существования и не единственная ценность, реализуемая искусством. Задача искусства шире и сложнее — делать душевную жизнь человека более динамичной и разнообразной, и только в частности — давать ему образцы прекрасного. Кроме того, искусство выполняет также определенные социальные задачи. Старая философия искусства не придавала им никакого значения, рассматривая искусство по преимуществу в личностном плане — плане влияния его на индивида, но не на социальные отношения.

Традиционная эстетика видела главное предназначение искусства в том, чтобы доставлять человеку удовольствие. Иногда говорилось об особом эстетическом удовольствии. Искусство создает красоту, красота — источник удовольствия, ради этого специфического удовольствия, доставляемого созерцанием красоты, и существует искусство.

Тема связи красоты и удовольствия проходит через всю историю старой эстетики. Не вдаваясь в детали, можно отметить следующее.

Созерцание далеко не всякого произведения искусства порождает в душе человека удовольствие, особенно в случае современного искусства, зачастую пытающегося шокировать человека, выбить его из привычной колеи, поднять дыбом волосы на его голове.

В пьесе Э. Ионеско «Лысая певица» герои говорят о болгарском бакалейщике Розенфельде и докторе Маккензи-Кинге. Первый из них — «большой специалист по йогурту. Окончил институт йогурта в Андрианополе. Завтра же надо будет купить у него большой горшок болгарского

фольклорного йогурта. Такие вещи редко встретишь у нас в окрестностях Лондона. Йогурт прекрасно действует на желудок, почки, аппендицит и апофеоз. Это мне доктор Маккензи Кинг сказал, который лечит детей наших соседей, у Джонсов. Он хороший врач. Ему можно верить. Он никогда не пропишет средства, которое бы на себе не испытал. Прежде чем оперировать Паркера, он сперва сам лег на операцию печени, хотя был абсолютно здоров. — Так почему же доктор выкарабкался, а Паркер умер? — Потому что операция доктора прошла удачно, а операция Паркера неудачно. — Значит, Маккензи плохой врач. Операция должна была пройти удачно в обоих случаях либо в обоих случаях дать летальный исход. — Почему? — Добросовестный врач умирает вместе с больным, если оба они не выздоравливают. Капитан корабля вместе с кораблем гибнет в волнах. Если тонет корабль, он не может остаться живым.

Какая красота может содержаться в этом абсурдном разговоре? Зритель или читатель пьесы, несомненно, получает удовольствие. Но не от соприкосновения с прекрасным, а от ощущения банальности повседневности, эклектичности обычного мышления, нередкой и совершенно не нужной его заумности, и в особенности от пронизывающего пьесу чувства, что абсурд — одно из неперенных измерений человеческой жизни, и это нужно принимать как что-то, само собою разумеющееся.

Поэма Т. С. Элиота «Бесплодная земля» не является ни в малейшей мере развлекательной. В ней нет ни выдающихся или хотя бы интересных героев, нет сатны или захватывающего описания грехов, нет пропаганды, призыва подняться и что-то совершить. Поэма не содержит ни приговоров, ни предложений. В ней описывается зло, в котором обвинять некого и нечего, зло, которое не излечить, даже если разрушить дотла существующую социальную систему, настолько подорвавшую цивилизацию, что политическое средства приблизительно так же полезны, как припарки при заболевании раком. Р. Дж. Коллингвуд, считавший Элиота поэтом, обладающим пророческим даром, говорил, что в «Бесплодной земле» Элиот показывает, «чем поэзия может быть», так как «художник должен пророчествовать не в том смысле, что он может предсказывать грядущие события, а в том смысле, что он может раскрыть своей аудитории, рискуя навлечь на себя ее неудовольствие, секреты их собственных сердец»¹.

Какое удовольствие доставляет, скажем, картина И. Репина «Бурлаки на Волге»? Группа уставших, одетых в лохмотья людей тянет на лямках небольшое судно, на палубе которого гуляют довольные собою, беззаботные, хорошо одетые люди. Единственное, что здесь способно доставить если не удовольствие, то хотя бы удовлетворение, — так это

внимание к эпизоду безжалостной эксплуатации человека и уровень художественного воплощения чувств, пережитых художником.

На картине Р. Бэкона «Портрет Джорджа Дайера на велосипеде» на розово-фиолетовом фоне представлен молодой человек, мчащийся на велосипеде. Лицо этого человека затемнено, но удается угадать, что он очень доволен. В центре головы намечен вырез, через который смотрит внимательный, несколько настороженный глаз. Фигура человека размыта, на месте переднего колеса велосипеда катятся сразу три зеленоватых обода, заднее колесо одно, но оно как будто сломано. Внизу валяется какая-то неопределенная жестянка с ручкой. Бэкон прекрасно передает радость жизни, удовольствие несколько легкомысленного молодого человека от езды на велосипеде. Почему, однако, зритель тоже должен получать удовольствие от созерцания этой картины?

Искусство столь же богато, как и сама жизнь, ткань которой оно пропитывает и делает ее эластичной. Его функции многообразны, и основные из них можно выделить только примерным образом: когнитивная, экспрессивная (выражение чувств), оценочная (или оценочно-нормативная) и оректическая (возбуждение и внушение определенных чувств). Кроме того, искусство является важным средством воспитания человека. Оно позволяет ему также отвлечься от реальности, уйти в мир вымысла и иллюзии и хотя бы какое-то время «жить чужой жизнью», жизнью героев романов, кинофильмов и т. п. Разнородность всех этих функций, а иногда и прямая их несовместимость — причина того, что далеко не каждое произведение искусства реализует их с одинаковым успехом. Но как раз широта задач искусства и его способность изменяться с изменением жизни, постоянно оставаясь столь же гибким и готовым к будущим переменам, как и она сама, не дают ему закоснеть в жестких разграничениях и абстрактных противопоставлениях прекрасного — безобразному, отображаемого — воображаемому и т. п.

В традиционной философии искусства главное внимание уделялось *созерцательным*, или *пассивным*, функциям искусства — когнитивной и экспрессивной. Современная философия искусства, как и современная философия в целом, подчеркивает прежде всего *активные функции искусства* — возбуждение чувств, переоценку реальности, побуждение к действию.

Эстетическое — это не столько красота, сколько столкновение и противопоставление прекрасного и безобразного, эпатирующего и оставляющего равнодушным, возвышенного и повседневного, трагического и фарсового, серьезного и игрового, рассудочного и чувственного, последовательного и абсурдного и т. д. Искусство, воплощающее эстетическое видение мира в наиболее прозрачной и чистой форме, если и сосредоточивается на прекрасном, то, скорее, не на прекрасном, существующем в реальности, а на прекрасном изображении всего того, что интересно человеку и что расширяет его опыт, будь то отвратительное, скучное, банальное и т. п.

Традиционная философия искусства мало интересовалась вопросом о развитии искусства, не пыталась выделить и проанализировать основные периоды этого развития, избегала сопоставления искусства разных эпох и стилей. В современной философии искусства понятие эволюции искусства стало одним из центральных.

Одновременно новая философия искусства установила более тесные связи с другими науками об искусстве — социологией искусства, психологией искусства, искусствоведением и др., а также с другими разделами философии, и в первую очередь — с социальной философией и философской антропологией.

Это явилось одним из результатов постепенного утверждения в философии искусства принципа социокультурной детерминации искусства, обусловленности не только его содержания, но и его формальных приемов культурой общества, цивилизации, исторической эпохи. Восприятие искусства как одного из феноменов культуры дало возможность сопоставления искусства с другими областями культуры и сравнительного, конкретно-исторического его исследования. Таковы, в частности, развиваемое Г. Г. Гадамером сравнение искусства с игрой, сопоставление искусства с наукой, понимаемой не как совокупность чистых результатов, а как протяженная во времени человеческая деятельность, подчиняющаяся определенным канонам и преследующая известные ценности, и др.

Современная философия искусства рассуждает в координатах иных эстетических категорий, чем традиционная философия искусства. Кроме того, новая философия искусства, будучи составной частью современной культуры, опирается в своем теоретическом мышлении на совершенно другие категории, чем предшествующая культура. Утвердившееся, начиная с середины XIX в., новое эстетическое видение мира — всего лишь незначительный фрагмент нового видения мира современной культурой. Изменение системы эстетических категорий — только следствие более глубокого преобразования категориального аппарата современной культуры, или, иначе говоря, утверждения современного «духа времени», современного способа видения мира. Более подробно об этих проблемах говорится в заключительной главе книги. Сейчас же можно отметить, что принципиальная новизна вырастающего из глубин современной культуры нового видения мира связана с тем, что это — видение мира не в ракурсе бытия, то есть постоянного повторения одного и того же, а в аспекте становления, постоянного обновления, связанного, в частности, с деятельностью человека. Формирование нового духа времени имело далеко идущие последствия во всей культуре, включая философию, искусство, эстетику, философию искусства и т. д.

Завершая анализ соотношения традиционной и современной философии искусства, необходимо еще раз отметить, что нет двух параллельно существующих философий искусства, одна из которых при-

менима только к традиционному искусству, а другая — исключительно к современному искусству. Подобно тому, как современное искусство является не обрывом постепенности в развитии искусства, а продолжением и естественным развитием тех тенденций, которые начали складываться еще в старом искусстве, так и современная философия искусства является не только радикальным пересмотром, но и продолжением и развитием тех линий, которые существовали в рамках традиционной философии искусства. Сложность установления связей одновременно разрыва и преемственности между старой и новой философией искусства во многом обусловлена тем, что контуры новой философии искусства еще не вполне ясны, а ее основные понятия остаются во многом неясными и спорными.

5. Описательно-оценочный характер философии искусства, эстетики и искусствознания

Некоторые науки являются чисто описательными, например физика, химия, космология, история, лингвистика и др. Эти науки формулируют утверждения, являющиеся истинными или ложными, и избегают введения в свое изложение стоящих вне «царства истины» оценок и норм.

Нормы являются частным случаем оценок. Норма — это оценка с санкцией, обязывающая норма — позитивная оценка предписываемого действия плюс позитивная оценка того, что за невыполнением обязательного действия последует наказание. В связи с этим в случае описательных наук можно не упоминать специально того, что они не формулируют каких-либо норм, а просто говорить, что они стремятся только описывать и избегают оценок.

Другие науки предполагают оценки и не могут обходиться без них даже в учебниках, резюмирующих достижения этих наук. Абсолютные оценки предполагают, в частности, индивидуальная и социальная психология и антропология; без сравнительных оценок невозможны экономическая наука, социология, политология и др. Во всех этих дисциплинах оценки обычно употребляются неявно: они стоят за изложением, которое без них рассыпается, но не формулируются в качестве утверждений, являющихся элементами проводимых рассуждений. Если описательные науки говорят исключительно о том, что *есть*, то науки, предполагающие оценки, косвенно говорят также о том, что *должно быть*.

Особенностью философии искусства, эстетики и искусствознания является то, что почти все сколько-нибудь важные ее принципы и заключения представляют собой *двойственные, описательно-оценочные утверждения*. Это позволяет говорить об оценочном (или оценочно-нормативном) характере этих наук об искусстве.

Чистые описания и чистые оценки являются двумя крайними полюсами употребления языка. Между ними располагается широкое поле разнородных двойственных, описательно-оценочных утверждений.

Вопрос о том, является ли какое-то утверждение философии искусства описанием, оценкой или же оно парадоксальным образом соединяет описание и оценку, обычно невозможно решить вне контекста употребления этого высказывания. Изолированные примеры описаний и оценок не ставят под сомнение этот общий принцип, так как в этих примерах всегда подразумеваются типичные контексты употребления конкретных предложений.

Подразделение всех утверждений философии искусства на описательные, оценочные и двойственные во многом зависит от истории этой науки. Оно исторически конкретно и всегда связано с определенным «настоящим». Утверждение об искусстве, когда-то звучавшее как установление «чистого факта», со временем может превратиться в типичную оценку, или наоборот.

«Шестнадцатому столетию, — пишет, например, Г. Вёльфлин, — было суждено если и не открыть, то художественно использовать мир аффектов, величественных движений человеческого духа. Сильный интерес к психическим событиям является отличительным признаком его искусства... С XVI столетием прекращается благодушное повествование. Угасает радость растворения в широте мира и в полноте вещей¹. Самому Вёльфлину, как и его современникам, этот отрывок представляется чистым описанием ведущей особенности искусства XVI в. Сейчас этот фрагмент кажется уже явной оценкой данного периода развития искусства.

Двойственные утверждения, имеющие неотчетливо выраженный дескриптивно-прескриптивный характер и стоящие ближе к описаниям, чем к оценкам (нормам), можно назвать «элементарными описательно-оценочными утверждениями», подчеркивая их распространенность и явное доминирование в них описательной функции над оценочной. Такие утверждения, являясь частью сложной системы утверждений, обычно несут на себе отблеск входящих в эту систему или служащих ее координатами ценностей.

Простой пример элементарного описательно-оценочного утверждения: «Прекрасное изображение черта, — пишет Х. Зельдмайр, — прекрасно потому, что изобразительно оно согласовано с сущностью черта. Собственно, можно было бы сформулировать острее: потому что оно изобразительно истинно. К красоте изображения необходимо относится и его соответствие объекту — соответствие собственно тому, что оно хочет сказать, и шире: тому, что оно имеет в виду»².

¹ Вёльфлин Г. Классическое искусство. СПб., 1997. С. 217.

² Зельдмайр З. Искусство и истина. М., 1999. С. 160

За этим утверждением, кажущимся, на первый взгляд, чисто описательным, на самом деле стоит вполне определенная нормативная идея: красота должна включать соответствие объекту, то есть быть связанной с истиной.

«Дьявольское изображение, — продолжает Зельдмайр, — нечто иное по сравнению с отвратительным. Если (на примере изображения черта) отвратительным изображением будет такое, «которое плохо передает отвратительность черта», то дьявольское будет то, которое «отвратительность черта передает как нечто прекрасное». Или даже так: «которое желает передать красоту черта» — то есть приписывает ему красоту (не просто отдельные признаки дьявольской красоты), обманывая, утверждает красоту черта, обольстительно одалживая ему блеск истинной красоты, у нее, в свою очередь, займы и взятый»¹. Никаких чертей, понятно, не существует. Разговор о соответствии изображения черта реальности, об отсутствии такого соответствия или даже о намеренном изображении черта красивым является пустым, если не выдвигается явная или неявная норма, что красота должна быть связана с истиной. Принятие такой нормы только в редких случаях оказывается целесообразным. Чаще всего она оценивается как явно неэффективная, не способная привести к универсальному истолкованию красоты.

Хотя ценности, стоящие за науками о социальных явлениях, являются разными в разных обществах, в каждом обществе имеются какие-то основополагающие ценности, определяющие координаты социального исследования. Эти ценности могут не быть предметом специального изучения, но они всегда существуют и задают основные направления исследования общества. Кроме того, само такое исследование порождает определенные ценности, отстаиваемые открыто или только подразумеваемые.

Оценочные понятия

К элементарным описательно-оценочным утверждениям можно отнести и утверждения с так называемыми «оценочными словами». Многие понятия как обычного языка, так и языка гуманитарных наук, включая философию искусства, искусствоведение и эстетику, имеют явную оценочную окраску.

Круг этих понятий, сопряженных с позитивной или негативной оценкой, широк и не имеет четких границ. В числе таких понятий: «красота» как противоположность отвратительному и безобразному; «гармония» и «согласие» как противоположность дисгармонии и конфликту и т. п. Введение подобных понятий редко обходится без при-
внесения неявных оценок.

¹ Зельдмайр З. Искусство и истина. М., 1999. С. 171

«В нашу эпоху стили меняются так же быстро, — писал в самом начале прошлого века Г. Вёльфлин, — как костюмы, примеряемые для маскарада. Однако эта беспочвенность стилей берет начало лишь в нашем столетии, и благодаря ей мы, собственно говоря, имеем право говорить не о стилях, а только лишь о модах»¹. Понятие «стиль» обычно сопряжено с позитивной оценкой («большие стили»), понятие «моды» — с негативной оценкой. Отнесение каких-то явлений не к стилям, а к капризной и изменчивой моде является, в сущности, неявным оценочным суждением.

Ценности входят в рассуждение не только с особыми «оценочными словами». При своем употреблении любое слово, сопряженное с каким-то устоявшимся стандартом, способно вводить неявную оценку.

Называя вещь, мы относим ее к определенной категории и тем самым обретаем ее как вещь данной, а не иной категории. В зависимости от названия, от того образца, под который она подводится, вещь может оказаться или хорошей, или плохой.

Хорошее здание, заметил как-то Б. Слиноза, — это всего лишь плохие развалины. Крайний сторонник романтизма мог бы сказать: «Древние развалины — лучшее из зданий». «Все, что кажется древним, прекрасно, все, что кажется старым, прекрасным не кажется» (Ж. Жубер). Глупое сочинение становится блестящим и остроумным, если только предположить, что глупость — сознательный прием (Жан Поль).

Называние — это подведение под некоторое понятие, под представляемый им образец вещей определенного рода и, значит, оценка. Назвать привычную вещь другим именем значит подвести ее под другой образец и, возможно, иначе ее оценить.

Таким образом, не только «оценочные», но и, казалось бы, оценочно нейтральные слова, подобные «художнику» и «произведению искусства», способны выражать ценностное отношение. Это делает грань между описательной и оценочной функциями языковых выражений особенно зыбкой и неустойчивой. Как правило, вне контекста употребления выражения невозможно установить, описывает оно, оценивает или же пытается делать и то, и другое сразу.

Еще одним типом описательно-оценочных утверждений, отстоящих дальше от полюса чистых описаний, чем элементарные описательно-оценочные утверждения, являются обычные в философии искусства утверждения о тенденциях развития искусства, отдельных направлений и школ философии искусства и т. д. Утверждения о тенденциях подытоживают изучение развития определенных явлений искусства или теоретических представлений о нем и поэтому имеют известное описательное содержание. Вместе с тем такие утверждения представляют собой перспективу будущего развития исследуемых явлений. Суждение

о перспективе предполагает выделение исследователем устойчивых ценностей, способных и в дальнейшем направлять деятельность художников или тех, кто изучает их творчество. В этом суждении говорится не о том, что есть, и даже не том, что фактически будет, а том, что должно быть, если принять во внимание определенные факторы развития искусства, в первую очередь те ценности, которые окажутся способными быть ориентирами деятельности тех, кто занимается искусством, в будущем. Все утверждения о тенденциях эволюции искусства, отдельных его направлений, теоретического его осмысления и т. д. наряду с описательным содержанием имеют также оценочное содержание.

Психологизм в философии искусства и в эстетике

Во второй половине XIX в., когда произошла научная революция в психологии и она сделалась экспериментальной и энергично развивающейся наукой, психологизм пронизал многие научные дисциплины, начиная с математики и заканчивая философией искусства. Суть его — в попытке отыскать окончательные и при том надежные основания математических, логических, эстетических и тому подобных суждений в индивидуальной психологии выносящего такие суждения субъекта. Психологизм и связанная с ним надежда подтверждать экспериментально положения тех наук, которые якобы опираются на психологию, давно отошли в прошлое в формальных науках — математике и логике.

Однако психологизм до сих пор остается достаточно распространенным в философии искусства. Само определение этой науки иногда формулируется так, что в нем используются ключевые понятия психологии, в частности психологии восприятия.

Это — не более чем дань давно умершей традиции. Философию искусства больше интересует психология, чем, скажем, математика или механика, но никаких психологических оснований философии искусства не существует, и их поиски являются безнадежным делом. «Часто говорят, — пишет Витгенштейн, — что эстетика — ветвь психологии. Идея в том, что если мы продвинемся в этой сфере, тогда всё — все тайны искусства — будет открыто в психологических опытах. Подобная идея исключительно глупа. Вопросы эстетики не имеют ничего общего с психологическими опытами. Ответы на них надо искать на совершенно иных путях... Люди все еще думают, что психология когда-нибудь объяснит все эстетические суждения. Они имеют в виду экспериментальную психологию. Это очень смешно. По-видимому, нет никакой связи между тем, чем занимается психология, и суждениями о художественном произведении... Объяснение загадки эстетического впечатления находится не на путях открытия психологической причины произнесения эстетического суждения»¹.

6. Художественная объективность

Искусство — сфера фантазии, произведение искусства является, по сути дела, вымыслом. И это остается верным, даже если таким произведением объявляет себя сам художник, навешивающий на себя бирку с названием «произведения» и его инвентарным номером.

Художественный вымысел может вызывать сильный эмоциональный отклик у зрителя («Над вымыслом слезами обольюсь...», — писал А. Пушкин), но можно ли требовать от произведения искусства соответствия его действительности? Приложима ли вообще в искусстве категория истины? Речь идет, конечно, о классическом понимании истины, согласно которому истина представляет собой соответствие того, что высказано (написано, нарисовано) человеком, тому фрагменту реальности, о котором идет речь.

Понятие истины и искусство

Философия искусства как наука подпадает под действие критерия истинности выдвигаемых положений, хотя и здесь есть проблемы, связанные с двойственным, описательно-оценочным характером этой дисциплины. Но как обстоит дело с самим искусством?

Далее обосновывается идея, что отношение произведения искусства к действительности не может характеризоваться в терминах истины и лжи, хотя оно допускает, а иногда и требует соответствия условию *объективности* — более широкому, более слабому и одновременно менее определенному, чем условие истинности.

Предмет, изображаемый произведением искусства и являющийся отражением чего-то внешнего, существующего вне произведения, никогда не является тождественным самому отображаемому предмету. Более того, отображение в принципе не должно быть совпадать с отображаемым объектом. Об этом красочно и убедительно говорит Августин. Несколькими столетиями раньше Платон вообще отказывался от искусства. Он отвергал его, упрекая его в том, что в борьбе между правдой и видимостью оно сражается не на стороне философии, а на стороне софистики. Художник не усматривает идеи, вечные прообразы правды. Вместо этого он вращается в кругу изображений и все свои силы вкладывает в то, чтобы придать этим изображениям такие формы, которые для смотрящих на них создают видимость действительного. Как и софисты, поэты и художники — это, по выражению Платона, вечные «образотворцы». Вместо того чтобы понимать бытие таким, какое оно есть, они предлагают нам только иллюзию бытия.

Если философия искусства основывается на теории подражания (мимезиса), все попытки лишить критику Платона основательности остаются тщетными.

Чтобы оправдать подражание, взамен теоретического и эстетического обоснования нередко выдвигается другое, гедонистическое по своей сути обоснование. Признается, что подражание не исчерпывает, конечно, сути, что «видимость» не может сравниться с «действительностью». Но вместо этого на первый план выдвигается ценность удовольствия, сопутствующего подражанию и становящегося тем большим, чем теснее приближение созданного художником образа к прообразу.

Н. Буало уже в первых строках «Поэтического искусства» ясно и четко выражает эту мысль, когда говорит, что понравиться может даже чудовище, поскольку удовольствие возникает не из самого предмета, а благодаря мастерству подражания.

«В картине красота обоснована дважды, даже если в том, картиной чего она есть, можно найти лишь одно обоснование, — пишет Бонавентура. — И это становится ясно из того, что картину именуют прекрасной, когда: 1) она удалась (хорошо сделана) и когда 2) то, что она имеет в виду, так же хорошо представлено. То, что и это второе есть основание красоты, выясняется из того, что это второе основание может наличествовать, помимо первого. Так, изображение черта именуют прекрасным, если хорошо изображается мерзость черта»¹. В этом определении прекрасного Бонавентуры непосредственно восходит к порядку бытия и тем самым — к истине. Прекрасное изображение черта прекрасно потому, что изобразительно оно согласуется с сущностью черта.

По поводу этих рассуждений Бонавентуры об истине в искусстве Х. Зельдмайр замечает: «Собственно, можно было бы сформулировать острее: потому что оно изобразительно истинно. К красоте изображения необходимо относится и его соответствие объекту: соответствие собственно тому, что оно хочет сказать, и шире: тому, что оно имеет в виду»².

Из двух критериев красоты, называемых Бонавентурой, модернистские художественные критики принимают только первый — хорошую сделанность, но отвергают второй, поскольку он предполагает связь художника с порядком бытия — как со стороны того, что было замыслено, так и со стороны того, что изображается в художественном произведении. Зельдмайр упрекает этих критиков в претензии на безграничное всеисилие, которого они требуют для себя и для современного художника. Однако именно «в этом втором критерии заключен подход к истине. Но модернистская критика в лучшем случае знает и признает критерий правдоподобия: прекрасно изображение тогда, когда 1) оно хорошо сделано, и когда оно 2) полностью передает то, как я, художник, что-то вижу, представляю, изображаю»³.

¹ *Bonaventura. Opera I, 544b*

² *Зельдмайр Х. Искусство и истина. М., 1999. С. 160*

³ Там же.

Идея, что подлинное искусство должно давать истину, опирается на античное представление об искусстве как о пассивном подражании действительности. обстоятельно эта идея была развита в Средние века. Религиозное мировоззрение предполагало, что существует истинное изображение бога, точно так же, как истинное изображение черта. И именно истинное изображение является прекрасным. Ложные изображения многообразны, но все они не имеют ничего общего с красотой. В отвратительном, парадоксальном, ироническом и дьявольском изображениях нет ничего прекрасного уже потому, что это — ложные изображения.

Установление неразрывной связи прекрасного с истиной ведет, как показывают рассуждения Зедльмайра, к отрицанию всего современного искусства, начиная с романтизма. Современное искусство бесконечно смешивает положительное и отрицательное, оно не видит границы между ними, не направляет от созерцания отвратительного к поискам прекрасного и т. п.

Книга Зедльмайра симптоматично называется «Искусство и истина». Основная идея этой книги: если искусство не устремляется к истине, выражающей «порядок бытия», оно лишается способности различать прекрасное и такие разновидности безобразного, как отвратительное, парадоксальное, ироническое и дьявольское.

Но что такое «порядок бытия», на идее которого основывается убеждение, что главная задача искусства — это поиск истины? В Средние века считалось, что этот «порядок» определяется богом. Человек способен в меру своих слабых сил усматривать такой «порядок» с помощью Откровения и созерцая упорядоченность всего существующего. Однако как только религиозная идеология стала ослабевать, — а это началось еще в период Возрождения, с формированием капитализма, — понятие того «порядка бытия», который призван выявлять в своих произведениях художник, становилось все более неясным. Тем самым лишалась своего основания и идея, что целью искусства является истина. В начале XIX в., в период романтизма, эта идея потеряла последние остатки своей убедительности. Уже реализм провозгласил, что если искусство и имеет какую-то цель, то этой целью является не истина, а художественная объективность.

Доминировавшая в течение долгого времени тенденция сведения объективности к истине имела под собой определенные основания. В конечном счете она опиралась на убеждение, что только истина, зависящая лишь от устройства мира и потому не имеющая градаций и степеней, являющаяся вечной и неизменной, может быть надежным основанием для знания и действия. Там, где нет истины, нет и объективности, и все является субъективным, неустойчивым и ненадежным. Все формы отражения действительности должны характеризоваться только в терминах истины. Даже в конце XIX в. позитивисты вдруг заговорили не только об «истинах науки», но и об «истинах морали» и даже об «истинах поэзии». Добро и красота оказывались в итоге частными случаями истины, ее «практическими» разновидностями.

Объективность и субъективность в искусстве

Прежде чем перейти непосредственно к обсуждению сложной проблемы художественной объективности, рассмотрим общие понятия *объективности* и *субъективности*.

В обычном смысле объективность — это независимость суждений, образов, представлений и т. п. от субъекта, его взглядов, интересов, вкусов, предпочтений и т. д. Объективность означает способность представлять объект так, как он существует сам по себе, независимо от субъекта. Под субъектом понимается как индивид, так и консолидированная группа лиц (например, научное сообщество, церковь и т. п.), общество, целостная культура, человечество. Объективность предполагает освобождение от «наблюдателя», выносящего суждение о мире и всегда исходящего из определенной «точки зрения».

Субъективность как противоположность объективности можно охарактеризовать как зависимость образов, мнений, представлений и т. п. от субъекта, его взглядов, интересов, вкусов, предпочтений и т. д. Под субъектом может пониматься не только индивид, но и группа лиц, общество, культура или цивилизация и даже человечество в целом.

Субъективность была характерна, например, для распространенной когда-то уверенности в существовании загробной жизни, в бессмертии человеческой души и т. п. Субъективным являлось и господствовавшее в недавнем прошлом в некоторых обществах убеждение в возможности построения в обозримом будущем общества, исключающего частную собственность, тяжелый, монотонный труд и неравенство людей.

Можно выделить разные уровни субъективности: зависимость от личных, индивидуальных пристрастий; зависимость от групповых пристрастий (например, зависимость от предубеждений, разделяемых в определенное время сообществом художников); зависимость от пристрастий общества в целом; зависимость от односторонности и пристрастности культуры или даже эпохи.

Абсолютная объективность недостижима ни в одной области познания и деятельности. Тем не менее идеал объективности и сейчас считается одной из наиболее фундаментальных ценностей отображения мира человеком.

В отличие от истины, являющейся вечной, объективность исторична. Мнения, представлявшиеся объективными в одно время, могут оказаться субъективными в другое.

Обычно объективное и субъективное тесно связаны друг с другом. Даже в науке, постоянно стремящейся к объективности, объективное и субъективное, знание и вера в ней существенным образом переплетены и нередко взаимно поддерживают друг друга. Знание всегда подкрепляется интеллектуальным чувством субъекта, и предположения не становятся частью науки до тех пор, пока что-то не заставит в них поверить. Субъективная вера стоит не только за отдельными утверждениями, но и за целостными концепциями или теориями.

Предпосылочным, опирающимся на неявные, размытые верования, и в этом смысле субъективным является и художественное мышление целой исторической эпохи. Совокупность этих верований определяет стиль художественного мышления эпохи, ее «художественный консенсус». Стиль художественного мышления почти не осознается той эпохой, в которую он господствует, и подвергается определенному осмыслению и критике только в последующие эпохи. Переход от стиля художественного мышления одной эпохи к стилю художественного мышления другой и, значит, от одного общего типа объективности к другому, является стихийно-историческим процессом, занимающим довольно длительный период.

Описательные и оценочные выражения (идеи, образы, представления и т. п.) отличаются по характеру своей объективности. Объективность описательных выражений — это степень приближения их к истине. Объективность оценочных выражений связана с их *эффективностью*, указывающей, в какой мере оценочное выражение способствует успеху человеческой деятельности.

Оценочные выражения не имеют истинностного значения; они способны быть лишь эффективными или неэффективными. Эффективность же, в отличие от истины, всегда субъективна, хотя ее субъективность может быть разной — от индивидуального пристрастия или каприза до субъективности целой культуры.

Тема объективности художественных образов является пока почти что не исследованной. В каком смысле могут быть объективными произведения искусства?

Обычно то или иное положение делается более объективным благодаря приводимой в его поддержку аргументации. Она подкрепляет поддерживаемое положение, устраняет личностные, субъективные моменты, связанные с ним. Однако в художественном произведении ничего не нужно специально обосновывать и тем более доказывать. Напротив, надо отрешиться от желания строить цепочки рассуждений и выявлять следствия принятых посылок. «Сила разума в том, — говорит Б. Паскаль, — что он признает существование множества явлений, ему непостижимых; он слаб, если не способен этого понять». Здесь под «разумом» имеется в виду аргументирующий, обосновывающий разум, находящий наиболее совершенное воплощение в науке.

Эстетик Ж. Жубер замечает об Аристотеле: «Он был не прав в своем стремлении сделать все в своих книгах научным, то есть доказуемым, аргументированным, неопровержимым, он не учел, что существуют истины, доступные одному лишь воображению, и что, быть может, именно эти истины — самые прекрасные»¹. И если это верно в отноше-

¹ Жубер Ж. Литературная критика // Эстетика французского романизма М., 1988 С. 327

нии Аристотеля, занимавшегося прежде всего логикой и философией, то тем более не правы те, кто, «поверяя алгеброй гармонию», хотят перестроить по строгому научному образцу, заимствуемому, как правило, из естественных наук, эстетику, философию искусства, этику, художественную критику и т. д.

Хотя обоснование способно объективировать поддерживаемое положение, отсутствие аргументов в пользу какого-то убеждения не означает, однако, его полной субъективности. Об этом выразительно свидетельствует искусство.

Сущность художественного произведения, пишет К. Г. Юнг, состоит не в его обремененности чисто личностными особенностями. Чем больше оно ими обременено, тем меньше речь может идти об искусстве. Сущность в том, что произведение говорит от имени духа человечества, сердца человечества и обращается к ним. Чисто личное — это для искусства ограниченность, даже порок. «Искусство», которое исключительно или хотя бы в основном личностно, заслуживает того, чтобы его рассматривали как невроз. Школа З. Фрейда выдвинула мнение, что каждый художник обладает инфантильно автоэротически ограниченной личностью. Однако это положение может иметь силу применительно к художнику как личности, но не применимо к нему как творцу. Ибо творец в высочайшей степени объективен, сверхличен, пожалуй, даже бесчеловечен или сверхчеловечен, поскольку в своем качестве художника он есть свой труд, а не человек¹.

Ярко проявляющаяся в искусстве зависимость человека от той эпохи, в которую он живет, может рассматриваться как одно из проявлений субъективности. Само «настоящее», в которое погружен каждый человек, диктует своеобразную субъективность в истолковании им как прошлого, так и будущего. Никто не может выйти из истории и из своего «времени». Прошлое всегда рассматривается с определенной, а потому односторонней позиции.

Искусство всегда существует в рамках определенной культуры и является в конечном счете ее порождением. Однако всякая культура субъективна. Слабая проницаемость и объяснимость культур друг для друга, на которой настаивали О. Шпенглер, М. Хайдеггер, Л. Витгенштейн и др., является следствием субъективности каждой отдельной культуры. Зависимость искусства от общества, культуры и эпохи можно назвать, используя выражение Э. Гуссерля, «непсихологически понятой субъективностью». Такого рода зависимость означает, что каждая система художественных представлений является в известной мере субъективной и что полная объективность представляет собой только идеал, требующий для своего достижения выхода из истории. Универсальность субъективности не означает,

однако, отказа от требования максимально возможной объективности, особенно в тех областях, где последняя представляется основополагающей ценностью.

Преодоление субъективности в искусстве предполагает в первую очередь, что художник абстрагируется от всех, только ему одному присущих и потому заведомо субъективных верований, предпочтений и предрассудков. Он должен также стремиться критически подойти к тем ценностям, которые характерны для его сообщества и общества в целом. Художнику следует подняться и над «методами мышления наблюдателя» (К. Леви-Стросс), с тем чтобы достигнуть образа, приемлемого не только для честного и объективного зрителя, но и для всех возможных зрителей.

Искусство выполняет многие разнородные функции. Среди них не только когнитивная, но и экспрессивная, оценочная, внушающая. Оценки и примыкающие к ним внушения чувств никогда не бывают полностью объективными. Именно это имеет в виду М. Хайдеггер, когда говорит в «Письме о гуманизме», что «оценка всегда субъективизирует».

Поскольку искусство всегда оценивает, оно отстоит еще дальше от идеала объективности, чем, скажем, эстетика и философия искусства. Вместе с тем без субъективации, всегда сопровождающей процесс художественного и иного творчества, и тем самым отхода от объективности невозможна деятельность человека по преобразованию мира.

Субъективность всякого оценивания иногда истолковывается односторонне, вплоть до требования исключать оценки из искусства. Это требование является, конечно, утопичным. Речь может идти только об уменьшении субъективности оценок в той мере, в какой это возможно, и исключении необоснованных, заведомо личностных оценок.

«Всякое оценивание, — пишет М. Хайдеггер, — даже когда оценка позитивна, есть субъективация. Оно предоставляет сущему не быть, а, на правах объекта оценивания, всего лишь считаться. Когда бога, в конце концов, объявляют «высшей ценностью», то это — принижение божественного существа. Мышление в ценностях здесь и во всем остальном — высшее святотатство, какое только возможно по отношению к бытию»¹. Хайдеггер призывает «мыслить против ценностей», с тем чтобы, сопротивляясь субъективации сущего до простого объекта, открыть для мысли просвет бытийной истины: «...Из-за оценки чего-либо как ценности оцениваемое начинает существовать просто как предмет человеческой оценки. Но то, чем нечто является в своем бытии, не исчерпывается предметностью, тем более тогда, когда предметность имеет характер ценности»².

¹ Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Человек и его ценности Ч 1. М., 1988 С. 47

² Там же.

Этот призыв не может не претендовать на установление универсальной, охватывающей все стороны человеческого существования иерархии ценностей, так что попытки избегать по мере возможности оценок того, что лежит в самой основе социальной жизни, в известной мере оправданы. Глубинные основы социального существования в каждый конкретный период истории воспринимаются и переживаются человеком, живущим в это время, как непосредственная данность, т. е. как нечто объективное. Попытка вторгнуться в эти основы с рефлексией и оценкой лишает их непосредственности и субъективирует их, поскольку всякая оценка субъективна.

Но есть, однако, и другая сторона дела. Социальная жизнь, как и жизнь отдельного человека, представляет собой процесс непрерывных перемен, причем перемен, являющихся во многом результатом самой человеческой деятельности. Никакая деятельность, и тем более деятельность художника, не является возможной без оценок. И потому она невозможна без связанной с оценками субъективации мира и превращения сущего в тот «простой объект», который может быть преобразован человеком.

Человек не должен субъективировать все подряд, иначе «истина бытия» перестанет ощущаться им, и он окажется в зыбком мире собственной рефлексии и фантазии. Вместе с тем человек не может не действовать и, значит, не может не оценивать и не разрушать объективное. Мысли, идущей наперекор ценности, он постоянно противопоставляет мышлению в ценностях.

Проблема не в исключении одного из этих противоположно направленных движений мысли, а в их уравнивании, в таком сочетании объективации и субъективации мира, которое требуется исторически конкретными условиями человеческого существования.

Художественную объективность можно самым общим образом определить как адекватное и глубокое выражение произведением искусства духа своего времени и своей культуры.

Духовная атмосфера какого-то исторического периода является, наряду с художественным вкусом, звеном, опосредствующим влияние культуры этого периода на его искусство.

Всякое время уникально и неповторимо. И вместе с тем дух каждого конкретного исторического периода содержит в себе и то, что простирается далеко за пределы этого периода и охватывает, быть может, даже всю человеческую историю. Выражение художником духа «своего времени» может оказываться выражением не только определенных черт «своего времени» и некоторого более протяженного промежутка времени, но и выражением своеобразия целой эпохи, а то и всей человеческой истории.

Картина Веласкеса «Семья Филиппа IV (или Меннны)» (1656) хорошо передает дух своего времени. Но, помимо атмосферы своей эпохи,

Веласкес сумел выразить и нечто большее, выходящее за пределы своего, уже далекого от нас времени. Не случайно Пикассо — уже в середине XX в. — попытался на двух больших полотнах представить, как изобразил бы Веласкес инфанту Маргариту, если бы он был современным художником. На картине изображена странная сцена: Веласкес пишет огромное полотно, от которого мы видим только обратную сторону. Недалеко от художника, в центре композиции — инфанта Маргарита в возрасте пяти лет, окруженная заботами двух юных придворных дам (менин). Здесь же рядом — карлица и карлик, трогающий ногой собаку. Среди присутствующих — женщина и некий господин. В глубине, по ту сторону открытой двери — гофмаршал. Реальные персонажи в ирреальной атмосфере, среди света и пыли. Что хочет изобразить художник? Ответ, казалось бы, очевиден: две фигуры, отраженные в зеркале за его спиной, то есть короля и королеву. Но зеркало может, в свою очередь, отражать еще какую-то картину. Чем объясняются удивленные взгляды персонажей? Может быть, появлением самих королевских особ. Но тогда художник пишет не их, а всю сцену, которую видит зритель. Загадки, интриги, тонкие и запутанные игры — Веласкес оставляет возможность для бесчисленных интерпретаций своей картины. Но стиль ее самый современный, состоящий из пятен света и цвета.

В конце XVIII в. в Англии происходит неожиданный расцвет хорошей живописи, главными жанрами которой явились портрет и пейзаж. Англичане вновь открывают Веласкеса, которого они называют «художником из художников». Гойя, воспринявший влияние англичан и родственный им по своей живописной манере, ставит Веласкеса рядом с Рембрандтом. Слава создателя «Менин» неуклонно возрастает. Во второй половине XIX в. французские импрессионисты, также испытавшие влияние англичан, подняли эту славу до ее зенита. Но в 20-е гг. прошлого века импрессионизм приходит в упадок, и вместе с ним — слава Веласкеса.

В чем причина этих колебаний в оценке творчества Веласкеса и прежде всего самого выдающегося его произведения, «Менин»? Самым общим образом на этот вопрос ответить достаточно просто: она в том, что, выражая дух своего времени, Веласкес одновременно передал в своих картинах, и в особенности в «Менинах», и то, что выходило далеко за пределы его эпохи.

Более конкретный ответ оказывается, однако, весьма сложным. Несомненно, Веласкес был выдающимся мастером, но это не объясняет его необычайной славы. Х. Ортега-и-Гассет видит непреходящее значение его творчества в том, что оно являлось наиболее ярким выражением характерного для той эпохи и остающегося актуальным и сейчас восстания против красоты. «Новое поколение, — пишет Ортега, — пресытилось Красотой и взбунтовалось против нее. Оно хочет изображать вещи не такими, какими они «должны быть», но такими, каковы они

суть»¹. В Европе пробуждается большая жадность к прозе, к наслаждению реальностью. Век Веласкеса окажется веком серьезности. Это одновременно и век Декарта, родившегося на три года раньше Веласкеса, век великих математиков, век физики и политики, исходящей из объективной реальности. Люди этого времени предпочитают драматическое столкновение с действительностью. Но действительность всегда безобразна. Веласкес и делается изумительным живописцем безобразного. Это будет означать не только изменение стиля живописи, как бывало в прошлом, но и изменение миссии искусства. Отныне оно станет заботиться о спасении тленной и бренной действительности, несущей в себе зародыши смерти и собственного исчезновения. Живопись откажется восхищать зрителя «идеальными» образами и призовет его к сочувствию, представляя ему реальную жизнь как то, что хотя и обречено, достойно жалости.

Объяснение Ортеги интересно, но оно обращено в первую очередь к истории живописи. В живописи Веласкеса есть что-то, что повлияло и продолжает влиять не только на само искусство, но и на саму жизнь.

Понятие духа времени представляется весьма неопределенным, если речь идет о каких-то считанных десятилетиях. Но достаточно сопоставить разные исторические эпохи, чтобы почувствовать, насколько они различны по своему духу и по выражению его в искусстве. Средневековое искусство невозможно спутать с искусством Нового времени, а последнее — с современным искусством. Искусство Возрождения совершенно не похоже ни на классицизм, ни на барокко, ни тем более на романтизм и реализм. Экспрессионизм в живописи пронизан уже совершенно иным дыханием и опирается на совсем другое мироощущение, чем предшествовавший ему импрессионизм.

Художественная объективность и идея подражания

Традиционная философия искусства основательно скомпрометировала понятие художественной объективности, связав его напрямую с идеей *подражания* искусства действительности.

Р. Барт называет такого рода связь «принципом аналогии» и говорит о литературной критике, придерживающейся этого принципа, что ее деятельность состоит главным образом в поисках «источников». Анализируемое произведение всякий раз соотносится с чем-то иным, стоящим за литературой. Это может быть другое, более раннее произведение, то или иное обстоятельство биографии автора, либо «страсть», которую писатель реально испытал в жизни и «выражает» в своем творчестве. Важным при этом является не столько то, с чем соотносится произведение, сколько сама природа соотношения. Во всякой «объектив-

¹ Ортега-и-Гассет Х. Введение к Веласкесу // Он же. Эстетика. Философия культуры. М., 1991. С. 503.

ной» критике она одна и та же — соотношение всегда носит характер аналогии. Это предполагает уверенность, что писать — значит лишь воспроизводить, копировать, чем-то вдохновляться и т. п. Имеющиеся между моделью и произведением различия всякий раз относятся за счет «гения»¹. Но, замечает Барт, с не меньшим успехом можно утверждать и другое — что литературное творчество начинается именно там, где оно подвергает деформации свой предмет. Поэтическое воображение по сути своей не формирует, а деформирует образы. Из психологии хорошо известно, что явления отрицания реально пережитого никак не менее, если не более, важны, чем явления адекватного его отражения. Желание, страсть, неудовлетворенность вполне могут порождать диаметрально противоположные им психические представления. Реальный движущий мотив может в результате инверсии обернуться опровергающей его ложной мотивировкой. Таким фантазмом, компенсирующим отвергаемую действительность, может служить и литературное произведение: Орест, влюбленный в Гермиону, — это может быть сам Расин, который втайне испытывал отвращение к близкой ему женщине. Соотношение творчества и действительности вовсе не обязательно состоит в сходстве. Пути подражания всегда извилисты. Его можно определить в терминах гегельянства, психоанализа или экзистенциализма, но в любом случае под действием художественного воображения изображаемый предмет постоянно искривляется, подвергается влиянию сил, делающих его притягательным, компенсирующим реальные невзгоды, смешным, агрессивным и т. д.

В литературной критике считаются едва ли не сам собою разумеющийся ряд правил анализа литературного произведения, и первое место среди этих правил занимает требование объективности. «Что же такое объективность применительно к литературной критике? Оказывается, это свойство *внеположенности*, столь драгоценное потому, что оно должно поставить предел экстравагантности критика, свойство, относительно которого мы должны были бы без труда договориться, коль скоро оно не зависит от изменчивых состояний нашей мысли...»². Тем не менее это свойство не перестает получать самые разнообразные определения: позавчера под ним подразумевали разум, природу, вкус и т. п.; вчера — биографию автора, «законы жанра», историю; сегодня — достоверные факты языка, законы психологической связности, требования структуры жанра. Но все эти «очевидности» на самом деле являются всего лишь продуктами определенного выбора. Они представляют собой интерпретации, основанные на предварительном выборе определенной психологической или структурной модели. Но модель — всего лишь некоторый код. В силу этого объективность критика должна зависеть

¹ См.: Барт Р. Избранные работы. М., 1989. С. 264–265.

² Там же. С. 325.

не от факта избрания им того или иного кода, а от степени строгости, с которой он применяет избранную модель к произведению.

Барт скептически относится к использованию понятия объективности в искусстве и в художественной критике. Его анализ обычного понимания художественной объективности является убедительным, однако он относится не столько к самому общему понятию объективности, сколько к определенным конкретным и явно неудачным истолкованиям этого понятия. Художественная объективность не должна связываться с идеей подражания искусства действительности. Если научная объективность может интерпретироваться как степень приближения научного знания к истине, то художественная объективность не является шагом к истине. Произведение искусства — это всегда фантазия и вымысел, именно поэтому понятие истины не применимо в искусстве. Понимание объективности как абстрактной «внеположенности» никогда не удастся разъяснить с помощью каких-то частных понятий. Разум, природа, художественный вкус, биография автора или история, законы жанра или принципы психологической связности — все эти и им подобные понятия мало что дают для понимания объективности произведения искусства.

Художественно объективным является то, что — независимо от намерений художника — выражает дух своего времени. Как таковое объективное пробивается сквозь фантазии, причуды и случайные капризы художника. Попытка определить объективность на основе каких-то более узких и потому кажущихся более ясными понятий, чем «дух времени», не способна привести к успеху.

Хороший анализ художественной объективности дает К. Г. Юнг на материале романа Дж. Джойса «Улисс».

Юнг замечает, что этот роман, вызывающий у читателя скуку и заставляющий дважды уснуть при чтении первой же сотни страниц, оказал исключительное влияние на современников и выдержал десять изданий уже в первые годы после его появления. «Улисс» — это «такой же продукт больного воображения, как и все современное искусство»¹. По мнению Юнга, он является в полнейшем смысле «кубистским», поскольку растворяет образ действительности в необозримо сложной картине, основной тон которой — меланхолия абстрактной предметности. Кубизм — вовсе не болезнь, а направление современного искусства, пусть даже он и отражает действительность через гротескно представленные предметы или через не менее гротескную абстрактность. Современные художники прекрасно выражают современную тенденцию — распадение цельной личности на отдельные фрагменты. «...В их творчестве эта тенденция представляет собой *симптомы времени*... Главное здесь принадлежит вообще не каким-то индивидуальным импульсам самим по себе, а именно коллективным устремлениям, которые имеют своим

¹ Юнг К. Г. Феномен духа в искусстве и науке. М., 1992. С. 166.

непосредственным источником, разумеется, не столько сознание того или отдельного человека, сколько — в гораздо большей степени — коллективное бессознательное психического бытия нашего времени»¹. Поскольку дело заключается в коллективных проявлениях психики, это означает, что она будет идентично воздействовать на различные области, как на живопись, так и на литературу, как на скульптуру, так и на архитектуру. Показательно, что Ван Гог, один из духовных отцов современного искусства, был по-настоящему душевнобольным.

Используемое Юнгом представление о «коллективном бессознательном» психического бытия определенного промежутка времени можно считать наиболее глубоким и скрытым компонентом духа этого времени.

Одна из особенностей художественной объективности заключается в том, что не исключает односторонности и разрушения принятых в обществе ценностей. «Хотя автор «Улисса» представляется почти по-научному объективным, а иногда прибегает к «научному» лексикону, его произведение отличается тем не менее по-настоящему ненаучной односторонностью; «Улисс» — это одно лишь отрицание. Отрицание это, правда, творческое. «Улисс» — это *творческое разрушение*, не геро-стратовское актерство, а серьезное действие, направленное на то, чтобы тыкать своего современника носом в действительность, как она тоже есть, причем делать это не со злонамеренным умыслом, а с безгрешной наивностью художника, следующего объективности»².

Выражение духа «своего времени» не только не препятствует, но даже предполагает выражение некоторых гораздо более общих образцов и ценностей. Если судить по воздействию «Улисса» на современников, говорит Юнг, то оказывается, что его ограниченность воплощает в себе более или менее универсальные черты. Роман показал, что в нашем обществе существует целое сообщество модернистов. Книга, несомненно, открывает им нечто такое, чего они раньше, может быть, не знали и даже не чувствовали. Они не впадают от нее в адскую скуку, а, наоборот, растут вместе с ней, чувствуют себя обновленными, продвинувшимися в познании, обращенными на путь истины или готовыми начать все с начала. Юнг усматривает универсальность «Улисса» в том, что в нем воспроизводится дух Средневековья, которое, оказывается, далеко еще не умерло: «Я убежден, что в жизни нашей никак не кончится глубокое Средневековье. И ничего здесь не попишешь. Потому-то и оказались нужны такие пророки отрицательности, как Джойс (Фрейд), чтобы поведать современникам, которые никак не перестанут жить по меркам Средневековья, что «та» реальность по-прежнему с ними»³.

¹ Юнг К. Г. Указ. соч. С. 175.

² Там же. С. 179.

³ Там же. С. 182.

Вряд ли Юнг прав, полагая, что в «Улиссе» воспроизводится атмосфера средневековой жизни и показывается, что жизнь обычного современного человека по-прежнему сохраняет те основные черты, которые были характерны для давно ушедших в прошлое Средних веков. Роман является выражением духа своего времени — первых десятилетий прошлого века — и имеет к средним векам только косвенное отношение. Джойс описывает современного человека и говорит о таких его чертах, как атрофия чувств, апатичность, сентиментальность, являющаяся внешним проявлением жестокости. Бесчувственность культуры индустриального общества, ее механистичность, выход на историческую арену широких масс и связанное с этим ощущение индивидами этой культуры своей беспомощности — об этом, как кажется, говорит между строк роман Джойса. Некоторые из этих черт были присущи средневековой культуре и средневековому человеку, подавленному тяготами жизни и чувствующему себя беспомощным в мире, полностью зависимом от непредсказуемой воли бога. Но в «Улиссе» Средние века вообще не упоминаются, и сводить смысл романа к демонстрации лишь того, что жизнь современного человека во многом напоминает жизнь средневекового человека и что Средневековые цепко держат нас в своих объятиях, было бы неправомерно.

Вряд ли художник может ставить перед собой задачу как можно более полно выразить атмосферу своего времени. Юнг подчеркивает, что в этом плане художники подобны пророкам, делающим свои пророчества по наитию. Пророки всегда несимпатичны, и манеры у них плохие. Но они попадают иногда не в бровь, а в глаз. «Пророки бывают, конечно, большие и маленькие, и история решит, к каким из них принадлежит Джойс. Художник, как и полагается подлинному пророку, выговаривает тайны духа своей эпохи как бы произвольно, а иногда и просто бессознательно, как сомнамбула. Он мнит, что сам сочиняет свои речи, тогда как на самом-то деле им руководит дух эпохи, и по его слову все сбывается»¹.

«Улисс» является модернистским романом. Неудивительно поэтому, что в нем содержатся те же положительные творческие ценности и смысл, что и в модернизме в целом, с которым он соединен узами духовного родства. Кажется, только недоброжелатель способен приписать «Улиссу» хоть какую-то склонность к обобщениям или образному единству. Если бы удалось доказать присутствие в нем столь несовременных вещей, оказалось бы, что он серьезно отстает от утверждаемых им же канонов красоты. Все, что в этом романе вызывает недовольство, только доказывает его достоинство, так как это недовольство — лишь свидетельство неприязни к модернизму со стороны

не-модернизма. Модернизм объективен, поскольку, выражая дух своего времени, сумел создать искусство, повернутое к публике спиной, или, что то же самое, выставить на всеобщее обозрение оборотную сторону искусства. А оно ни громко, ни тихо не свидетельствует никакого почтения к публике и, в общем-то, в полный голос повествует о том, что это значит, когда искусство не нуждается в сопереживании. В основе модернизма лежат почти повсеместные сдвиги в жизни современного человека, которые, по-видимому, означают его полное отречение от всего старого мира.

Заключая обсуждение художественной объективности, можно сказать, что современное искусство сделало это понятие несколько размытым. Иногда кажется, что обилие школ и направлений этого искусства вообще не позволяет вести речь об объективности произведений искусства. Представляется, что это поверхностный взгляд на художественную объективность. Она, как и всегда, остается выражением духа своего времени и одновременно пророчеством, касающимся будущего. Но в современном, чрезвычайно разнородном, весьма динамичном искусстве, кажущемся иногда сферой чистого произвола, а иногда игрой, подобной спортивным играм, проблема объективности выглядит гораздо более сложной. Но вместе с тем она является и более актуальной.

7. Связь подражания и побуждения в искусстве

Общие *регулятивные положения искусства*, называемые иногда *принципами искусства*, представляют собой наиболее общие положения, вытекающие из опыта искусства, связывающие между собою отдельные категории искусства и определяющие, наряду с категориями, своеобразие художественного творчества.

Принципы искусства можно было бы также назвать идеалами искусства. Можно было бы говорить о «нормах искусства», если бы эти принципы не нарушались так часто. Согласие с ними является, скорее, пожеланием, чем неукоснительной нормой. Вместе с тем соответствие принципам, или идеалам, искусства является необходимым условием достижения того, что может быть названо «настоящим искусством».

Можно упомянуть следующие принципы искусства:

- пожелание соответствия произведения художественному вкусу;
- пожелание соответствия сложившемуся художественному стилю;
- требование художественной объективности произведения искусства, выражения им духа своего времени;
- принцип поиска глубины художественного пространства произведения искусства.

В подробном обсуждении нуждаются:

- принцип связи подражания и побуждения в произведении искусства;

- требование образности художественного языка, предполагающее категорию художественного образа, симулякра и символа;
- принцип взаимозависимости содержания и формы в произведении искусства.

Подражание и побуждение

Понятия *подражания* (мимесиса) и *побуждения* являются центральными категориями как художественного мышления и искусства, так и эстетики и философия искусства. Именно эти понятия задают тот горизонт, в рамках которого обнаруживают себя прекрасное и ужасное, трагическое и возвышенное, ироническое и пошлое и т. п.¹

Произведение искусства выполняет одну или несколько из следующих четырех основных функций: когнитивную, или описательную, эмотивную, оценочную, или прескриптивную, и орективную, или внушающую. Произведение может описывать какие-то объекты и тем самым давать определенное знание о них, и оно способно также выражать чувства художника, связанные с данными объектами. Выражение чувств является в своей глубинной сущности их описанием: оно претендует если не на истинность, то, по меньшей мере, на интерсубъективность или даже объективность. Описание и выражение чувств ранее были названы пассивными функциями искусства: их реализация говорит о том, что есть или имеет место быть. Произведение может также оценивать представляемые художником объекты, и оно способно внушать его аудитории определенные чувства. Оценка и внушение были отнесены к активным функциям искусства: они говорят не о том, что имеет место, а о том, что должно быть. Оценка понимается здесь в самом широком смысле: она включает нормы, декларации, обещания и т. п. Внушение чувств обращено к аудитории и достигается многообразными средствами, включая прямо или косвенно выраженные призывы, заклинания, мольбы, молитвы, просьбы, зачаровывание словесными или иными образами и т. п.

Выполнение произведением искусства пассивных функций, говорящих о том, что имеет место в реальности, представляет собой решение общей задачи подражания искусству реальности. Аристотель, сформулировавший принцип «искусство подражает природе», имел в виду прежде всего пассивные функции искусства. Реализация искусством активных функций, требующих воплощения идей, целей, планов, чувств и т. п., является решением общей задачи побуждения человека к определенного рода деятельности по преобразованию реальности или к предварительной подготовке к такого рода деятельности.

¹ Понятие подражания формировалось в эстетике и философии искусства постепенно. В явном виде оно было введено в работы: Никитина И. П. Эстетика. М., 2008; Никитина И. П. Философия искусства. М., 2008.

Таким образом, подражание, или мимесис, — это понятие, охватывающее пассивные функции искусства, побуждение — понятие, выражающее в конденсированном виде активные функции искусства. До сих пор в эстетике и философии искусства прямо обсуждалась только категория подражания. Понятие «побуждение» является новым¹. Однако косвенные ссылки на побуждение как на еще одну, дополняющую подражание задачу искусства, встречаются еще у Аристотеля, а позднее и у других авторов. Вместе с тем понятие побуждение не трактовалось как одна из центральных категорий эстетики и находилось в глубокой тени понятия подражания. Побуждение — это подталкивание, вызов, провокация, призыв и т. п. Это все то, что связано с напоминанием искусством аудитории, что она состоит не из одних пассивных субъектов, отображающих, подобно зеркалу, то, что представляется на ее суд художником, включая то, что происходит в душе последнего. Побуждение рассчитывает на то, что аудитория состоит из активных субъектов, способных откликаться на произведения искусства определенными собственными чувствами, не обязательно совпадающими с чувствами, выражаемыми художником, и в конечном счете своими ценностями или даже опирающимися на эти ценности действиями.

Различие между подражанием и побуждением как основными задачами искусства является в конечном счете отражением различия между *созерцанием и действием*, между *отражением мира* и его *преобразованием*.

Понятие побуждения долгое время не выходило на передний план по той причине, что человек истолковывался по преимуществу как пассивное существо, главной задачей которого является адекватное отражение окружающего его мира. И только со второй половины XIX в. философия постепенно начинает воспринимать человека не как пассивного созерцателя и мыслителя, а как прежде всего практическое, действующее существо, не способное существовать вне постоянного процесса преобразования окружающего мира.

8. Активная природа искусства

Пассивные функции искусства — познавательная и выразительная (когнитивная и экспрессивная) подпадают под истолкование искусства как отражения действительности и подражания ей. Это истолкование почти безраздельно господствовало в традиционной философии искусства и настолько устоялось, что современная философия искусства пока не может так переосмыслить теорию подражания, чтобы последняя оказалась фрагментом более широкой концепции искусства. Неудивительно поэтому, что активные функции искусства, связанные не столько

¹ Категория побуждения впервые была введена в работе: Никитина Н. П. Эстетика. М., 2008. С. 301–318.

с созерцанием действительности, сколько с ее преобразованием в процессе человеческой деятельности, или практики, остаются до сих пор почти не исследованными.

Великие художники хорошо чувствовали активную природу искусства. Оно не повторяет то, что мы уже имели прежде. Подлинное искусство — это всегда открытие. Подобно тому, как ученый открывает факты и законы природы и общества, художник открывает новые формы природной и социальной реальности. Леонардо да Винчи определяет цель живописи и скульптуры как «умение видеть»: художник и скульптор — непревзойденные учителя в области видимого мира. В. Шекспир, не строивший отвлеченных эстетических теорий, в единственном отрывке, посвященном характеру и функциям драматического искусства, говорит именно о побуждающей и в особенности оценочной задаче этого искусства: «Цель (лицедейства) как прежде, так и теперь, — объясняет Гамлет, — была и есть — держать как бы зеркало перед природой: являть добродетели ее же черты, спеси — ее же облик, а всякому веку и сословию — его подобие и отпечаток»¹.

И. В. Гёте предостерегает художника от «простого подражания природе»: в лучшем случае вместо одного мопса будут два. «Подражатель лишь удваивает объект подражания без того, чтобы что-либо к нему прибавить или же повести нас дальше. Он втягивает нас в круг единичного и в высшей степени замкнутого существования, мы дивимся возможности подобной операции, мы даже испытываем известное удовольствие, но удовлетворить нас по-настоящему такое произведение не может, ибо ему недостает правды искусства, этого признака красоты»². Простое подражание — лишь преддверие искусства. В другом месте Гёте говорит, что красота, в традиционном смысле слова, вовсе не единственная цель искусства, фактически она является лишь вторичной и производной его чертой. «Не позволяй недоразумению разобщить нас, — обращается Гёте к читателю, — не позволяй, чтобы рыхлое учение о модной красивости отстранило тебя от восприятия суровой мощи, а изнеженные чувства стали способны лишь на восхищение ничего не значащей прилаженностью. Они хотят внушить нам, что изящные искусства возникли из якобы присущей людям потребности украшать окружающие предметы. Неправда!.. Искусство долго формируется, прежде чем сделаться красивым, и все равно это подлинное, великое искусство, часто более подлинное и великое, чем искусство красивое. Ведь человек по природе своей созидатель, и этот врожденный дар пробуждается в нем, коль скоро его существование обеспечено...»³.

Общая теория искусства как подражания занимала прочные позиции до середины XIX в. Во всяком случае, И. Тэн активно защищал

¹ Шекспир В. Гамлет. Акт III. Сцена 2 // Он же. Полн. собр. соч. в 8 т. Т. 6.

² Гёте И. В. Об искусстве. М., 1975. С. 250.

³ Гёте И. В. О немецком зодчестве. Сочинения: в 10 т. Т. 10. С. 13.

ее в своей «Философия искусства». Однако перемены, произошедшие в современной культуре, и прежде всего становление современной философии понятий практики и ценности, привели к мысли о необходимости введения, наряду с подражанием, еще одной задачи искусства, связанной с изменчивостью социальной жизни, а также с практической, деятельностной природой человека, с теми его ценностями, идеалами, целями и т. п., которыми он руководствуется в своей деятельности. Но влияние традиционной философии искусства оставалось еще настолько сильным, что точная характеристика этой задачи так и не была дана.

«Подобно всем другим символическим формам, — пишет Э. Кассирер, — искусство не есть всего лишь воспроизведение готовой, данной реальности. Это один из путей, ведущих к объективной точке зрения на вещи и человеческую жизнь; это не подражание реальности, а ее открытие»¹. Но искусство открывает не ту «природу», которую представляет нам наука. Произведение искусства включает в некотором смысле «акт сгущения и концентрации». «...Красота так же, как и истина, может быть описана той же самой классической формулой — «единство в многообразии». Но есть здесь и различие в акцентах. Язык и наука — сокращение реальности; искусство — интенсификация ее. Язык и наука зависят от одного и того же процесса абстрагирования; искусство же можно представить как непрерывный процесс конкретизации... Оно не исследует качества или природу вещей — оно дает нам интуицию форм вещей. Но это не означает повторения чего-то, что мы уже имели прежде: нет, это, напротив, подлинное, это — открытие»².

Отказ от истолкования искусства как простого подражания реальности Кассирер не очень удачно называет переходом к «характерному искусству», у истоков которого стояли Руссо и Гёте. Описание такого искусства не отличается, однако, ясностью. Для него, говорит Кассирер, еще недостаточно подчеркивания одной эмоциональной стороны произведения искусства. Всякое характерное или выразительное искусство — это «спонтанный поток сильных чувств». Но если принять это истолкование безоговорочно, получится всего-навсего перемена обозначений, а не решающий поворот в понимании задач искусства. Оно останется все той же деятельностью воспроизведения — только не вещей, физических объектов, а нашей внутренней жизни, наших аффектов и эмоций. Искусство действительно выразительно, но оно не может быть выразительным, не создавая формы. Даже в лирической поэзии эмоция — не единственная и не решающая черта. Великие лирические поэты способны на глубочайшие эмоции, художник, не наделенный

¹ Кассирер Э. Опыт о человеке. Введение в философию человеческой культуры // Он же. Избранное. Опыт о человеке. М., 1998. С. 608–609.

² Там же. С. 609.

сильными чувствами, никогда не может ничего создать, кроме поверхностного и легкомысленного искусства. Но из этого не следует, что функция лирической поэзии и искусства вообще может быть адекватно описана как способность художника «освободить душу от чувств». Попытка приписать произведению искусства какое-то особое эмоциональное качество в принципе не позволяет по-настоящему понять искусство. «Ведь если искусство пытается выразить не какое-то особое состояние, а сам динамический процесс нашей внутренней жизни, то всякая такая характеристика останется всего лишь внешней и поверхностной. Искусство всегда должно давать нам не столько эмоцию, сколько динамизм»¹.

Суммируя, можно сказать, что Кассирера не удовлетворяет традиционное приписывание искусству только пассивных функций — описания каких-то объектов и выражения чувств художника, связанных с этими объектами.

Однако в чем именно заключаются «акты сгущения и конкретизации», достигаемые в произведении искусства, то «открытие» и тот «динамизм», без которых такое произведение не может существовать, Кассирер не раскрывает. Кажется, однако, что в конечном счете речь идет о противопоставлении пассивным функциям искусства его активных функций и о необходимости дополнения старого понятия подражания каким-то новым понятием, суммирующим представление об этих активных функциях искусства.

О важной роли искусства в определении не только человеческого созерцания, но и человеческой деятельности говорит и Й. Хейзинга. «Искусство есть стремление, и наша свехрефлексивная эпоха требует дать имя этому стремлению»². Новые течения искусства называли себя «экспрессионизмом» и «сюрреализмом». Оба термина указывают на то, что простое воспроизведение зримой (или воображаемой) реальности больше не удовлетворяет художника. Экспрессией, то есть выражением, искусство было всегда. Если термин «экспрессионизм» рассматривать не просто как возражение импрессионизму, то из него следует, что художник хочет воспроизвести (а воспроизведение в искусстве существовало всегда) объект своего творчества в его самой глубинной сути, освободив его от всего, что несущественно или мешает восприятию. Если объектом является портрет, обеденный стол или ландшафт, экспрессионист отказывается от его воспроизведения через естественное изображение, которое могло бы показаться самым разумным способом донести до зрителя смысл объекта как таковой. «Во всяком случае, он берет на себя смелость выразить нечто большее, нечто такое, что скрывается за зримой реальностью, саму суть вещей. Он называет ее идеей

¹ Кассирер Э. Опыт о человеке. Введение в философию человеческой культуры // Он же. Избранное. Опыт о человеке. М., 1998. С. 616

² Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992. С. 343.

или жизнью вещей»¹. Искусство при этом проявляет гораздо более волюнтаристский характер, чем наука.

С особой силой активность искусства и его побуждающий характер подчеркивает Н. Гартман. Поэты, авторы древних трагедий, говорит он, возвышали своих героев до некоего идеального человеческого типа, в силу чего образы приобретали какую-то убедительность и вместе с тем становились духовно возвышенными. В этих типах сохранялось очень много красочной человечности. «Именно так это и должно быть во всяком произведении героической поэзии. Мы всегда находим эту черту, эту особенность в эпическом народном творчестве, а также и в пластике, даже в тех произведениях, которые притязают на портретное сходство... Живопись в этом отношении идет еще дальше (мадонны...)»². Это не имеет ничего общего с метафизикой формы. Идеальные формы такого рода не заимствуются из действительности, они не берутся также из какого-то предсуществующего царства идеального бытия, а образуются из чистой художественной фантазии. И здесь открывается поле продуктивного творчества, о котором пока трудно составить ясное представление. «...Художнику дано «видеть» идеи и передавать другим увиденное. Конечно, не все увиденные идеи (например, человеческий идеал) будут указывать путь современникам; но всегда существуют и такие люди, которые сыграют эту роль. И тем самым художник становится носителем идей»³. Гартман относит эту способность художника «заражать» других своими эмоциями и идеями прежде всего к поэтам. В эпохи, когда начинает формироваться более высокий нравственный облик какого-нибудь народа, прежде всего поэты, то есть творцы эпоса, оказываются теми людьми, которые выдвигают идеальный образ человека и человеческой добродетели, на который люди должны ориентироваться и по которому они действительно судят о поступках. Такие поэты являются подлинными воспитателями, формирующими духовный облик целых поколений.

9. Художественный образ

Художественный образ — это образ искусства, создаваемый художником в процессе особой творческой деятельности по специфическим правилам искусства с целью сообщения своего образа зрителю или слушателю.

Поскольку ни о каких иных образах, кроме художественных, далее речь идти не будет, можно говорить иногда просто об «образах».

Художественный образ является универсальной категорией искусства, средством и формой освоения им жизни. Такой образ представляет

¹ Хейзинга Й. Указ соч. С. 344.

² Гартман Н. Эстетика. Киев, 2004. С. 356.

³ Там же.

собой способ бытия произведения искусства, взятого со стороны его выразительности, впечатляющей силы и энергии.

В образе и образности Гегель видел специфику искусства вообще и поэтического искусства в частности. «В целом мы можем обозначить поэтическое представление как представление *образное*, поскольку оно являет нашему взору не абстрактную сущность, а конкретную ее действительность, не случайное существование, а такое явление, в котором непосредственно через само внешнее и его индивидуальность мы в нераздельном единстве с ним познаем субстанциальное, а тем самым оказывается во внутреннем мире представления в качестве одной и той же целостности как понятие предмета, так и его бытие. В этом отношении существует большое различие между тем, что дает нам образное представление и что становится нам ясным благодаря иным способам выражения»¹. В отличие от абстрактного словесного обозначения предмета или события, апеллирующего к рассудочному сознанию, специфика и преимущество образа заключаются, согласно Гегелю, в том, что образ представляет нашему внутреннему видению предмет в полноте его реальной явленности и сущностной субстанциальности. Существенным поэтому оказывается интерес художника к внешней стороне предмета под углом зрения высвеченности в ней его «сути».

Под образом может пониматься как образ, создаваемый целостным произведением искусства, так и образ, создаваемый его изолированным, относительно самостоятельным фрагментом такого произведения. В последнем случае иногда говорят об *элементарных образах*, или «микрообразах», из которых слагается образ, даваемый произведением.

Философия искусства, искусствознание, как правило, не уделяют внимания элементарным образам. Их анализ позволяет, однако, с особой наглядностью увидеть, как формируется целостный образ произведения и с чем связаны его особая выразительность и особая энергетическая сила. Такой анализ дает возможность, в частности, убедиться в том, что образ как таковой не обязан являться отражением, или подобием, чего-то внешнего, существующего независимо от него. Образ способен не только описывать или выражать чувства, но и предписывать что-то и внушать определенные чувства.

Образ, даже если он не самостоятелен, а представляет собой часть более обширного целого, вовсе не копия какого-то реального события. Такое событие способно послужить толчком для создания образа. Но сам образ всегда является результатом художественного вымысла. В нем сливаются самые разные, зачастую, казалось бы, совершенно не связанные с создаваемым художником образом его наблюдения и чувства. Даже в самом элементарном образе находят в конечном счете свое выражение вся жизнь художника.

¹ Гегель. Эстетика. Т. 3. С. 384–385.

Известно, что Н. В. Гоголь очень не жаловал чиновников. В «Мертвых душах» они изображены с особым сарказмом. Они «были, более или менее, люди просвещенные: кто читал Карамзина, кто «Московские ведомости», кто даже и совсем ничего не читал». С нескрываемой иронией Гоголь описывает и тех помещиков, с которыми приходилось встречаться Чичикову. О Собакевиче, в частности, говорится, что «он все-таки доехал гуся»; не «доел», а именно «доехал» — замены одного слова оказывается достаточно для создания образа человека, жадность которого заставляет его не отступать ни перед чем. Отдельные образы чиновников, помещиков и других важных и второстепенных персонажей «Мертвых душ» постепенно складываются в целостный образ России того времени — она предстает как страна, нуждающаяся в радикальном лечении и переустройстве. В своем романе Гоголь нигде прямо не говорит об этом, но элементарные образы постоянно подталкивают к такому выводу. Уже на уровне элементарных образов произведение искусства способно не только что-то отображать и чему-то подражать, но и на чем-то настаивать и внушать определенное отношение к описываемому событию и к тому более общему целому, частью которого оно является.

Особенности образов искусства

Особого внимания требует вопрос о своеобразии образов искусства. Прежде всего такие образы вырастают из образов чувственных, первичных, подобно тому, как из них возникает понятие. Первостепенную роль в создании образа искусства играет не рациональное мышление, как в случае понятий, а воображение, или фантазия. Образ искусства отличается от первичного образа восприятия особого рода эмоциональной насыщенностью, делающей его способным переживать воспринимающую его аудиторию, многообразные эстетические чувства, связанные с прекрасным, безобразным, абсурдным, шокирующим, эпатажирующим, вызывающим, комическим и т. д.

В образе единичное и общее неразрывно связаны друг с другом, можно сказать, слиты воедино и неразделимы. Специфической особенностью художественного обобщения Гегель считал как раз воплощение общего в единичном. «Всеобщее... должно сомкнуться в себе и предстать в отдельных индивидах как *целостность и единичность*... У Гомера, например, каждый герой представляет собой живую совокупность свойств и черт характера.... Об Ахилле можно сказать: это человек! Многосторонность благородной человеческой натуры раскрывает все свое богатство в этом одном индивиде. Так же обстоит дело и с остальными гомеровскими характерами. Одиссей, Диомед, Аякс, Агамемнон, Гектор, Андромаха, каждый из них является целым, самостоятельным миром...»¹. Истоки

идеи, что спецификой художественного является воплощение общего в единичном, обычно усматривают у Аристотеля: «...Искусство — знание общего, всякое же действие и всякое изготовление относится к единичному: ведь врачующий лечит не человека [вообще] ... а Каллия или Сократа или кого-то другого из тех, кто носит какое-то имя...»¹. Речь в этом месте «Метафизики» идет об искусстве врачевания, но обычно на этот отрывок ссылаются те, кто, подобно Гегелю, настаивает на том, что искусство представляет собой совмещение общего и единичного.

Те, кто тяготеют, подобно Гегелю, к реализму, склонны представлять связанность в образе единичного и общего как результат особых усилий, направленных на то, чтобы представить общее в форме единичного и тем самым сделать это общее более доступным. Отсюда естественно вытекает заключение, будто искусство — это воплощение некоторых общих идей в художественных образах. Вряд ли это верно, тем более что при таком понимании задач искусства оно предстает как нечто не вполне совершенное и по существу своему преходящее явление, полезное лишь до определенного времени. Оно необходимо до тех пор, пока не появляется возможность представлять общее в чистом виде, без примеси единичного и без слитности с ним. Такую возможность дает, как полагал Гегель, «истинная философия», которой он считал, разумеется, собственную философскую систему. С появлением такой философии нужда в искусстве отпадает. Не случайно Гегель постоянно повторял мысль о «смерти искусства» и даже полагал, что эта смерть, по существу, наступила уже после классического античного искусства, лучшие образцы которого так и остались непревзойденными. Очевидно, однако, что единичное интересно и само по себе, а не только в качестве средства для воплощения общего.

Номиналистическая трактовка единства единичного и общего в художественном образе не требует от искусства воплощения каких-то важных общих идей. Такая трактовка никоим образом не предполагает постепенного угасания искусства за его ненужностью. Общее и единичное слиты в образе только потому, что такова особенность человеческого мышления, постоянно «изобретающего» общее в процессе познания единичных объектов.

Художественные образы и понятия

Центральной для прояснения образа является оппозиция «художественный образ — понятие». Примерно говоря, образ — это картинка, то есть то, что является в своей основе чувственным, понятие же представляет собой чистую, не предполагающую какой-либо чувственности мысль. В живописи образ является визуальной картинкой, в музыке — звуковой, в скульптуре — визуально-кинестетической, в балете — одно-

¹ Аристотель. Сочинения. в 4 т. Т. 1. М., 1975. С. 66.

временно визуальной, звуковой и кинестетической. Художественные образы не только приемлемы в искусстве, но и необходимы в нем, поскольку само искусство имеет по преимуществу чувственный характер. Понятия — необходимое средство научного мышления, избегающего чувственного как заведомо субъективного, меняющегося от человека к человеку и от одного времени к другому. Художественное и научное мышление являются, таким образом, теми двумя полюсами, между которыми располагаются многообразные промежуточные типы мышления. Главное требование к научному мышлению, как и вообще ко всякому мышлению в понятиях, — это требование обоснованности. В науке предполагается, что обоснованность опирается в конечном счете на эмпирические основания, хотя само обоснование может быть эмпирическим, теоретическим и контекстуальным (ссылки на традицию, здравый смысл, авторитеты и т. п.). От искусства, использующего язык образов, никакое обоснование не требуется. Чем меньше художник стремится к обоснованию каких-то идей, принципов, подходов и т. п., тем более убедительным представляется то, что он предлагает своей аудитории.

Образ всегда является эмоционально насыщенным, понятие же стремится быть эмоционально нейтральным. Образ несет на себе печать индивидуальности создавшего его художника, в то время как понятие максимально обезличено. Обычно образ не требует для своего понимания предварительных познаний, понятие же может быть понято только в контексте определенного знания. Образ всегда многозначен, от понятия же обычно требуется (во всяком случае, в науке) однозначность.

Понятийное мышление стремится избегать логических противоречий, одновременного утверждения и отрицания какого-то содержания. В сфере такого мышления недопустимо, например, утверждать, что снег белый и не является белым, что следует заботиться о близких и вместе с тем это запрещено делать и т. п. Требование логической непротиворечивости распространяется и на художественное мышление, но уже в ослабленной форме. Во-первых, художник должен учитывать и выражать нередкую противоречивость чувств, мыслей и действий человека, и, во-вторых, некоторые применяемые в искусстве художественные приемы используют не только абсурд и бессмысленное, но и прямое противоречие для достижения большей художественной выразительности.

Нелогично что-то утверждать и отрицать одновременно. Но каждому понятно двустишие римского поэта Катулла:

Да! Ненавижу и вместе люблю. — Как возможно, ты спросишь?

Не объясню я. Но так чувствую, смертно томясь.

«...Все мы полны противоречий, — говорит один из героев романа С. Мозма «Луна и грош». — Каждый из нас — просто случайная мешанина несовместимых качеств. Учебник логики скажет вам, что абсурдно утверждать, будто желтый цвет имеет цилиндрическую форму, а благо-

дарность тяжелее воздуха; но в той смеси абсурдов, которая составляет человеческое «Я», желтый цвет вполне может оказаться лошастью с тележкой, а благодарность — серединой будущей недели». Этот отрывок хорошо выражает сложность, а нередко и прямую противоречивость душевной жизни человека.

Испанский писатель Ф. Кеведо так озаглавил свою сатиру: «Книга обо всем и еще о многом другом». Его не смутило то, что если книга охватывает «все», то для «многого другого» уже не остается места.

Классической фигурой стилистики, едва ли не ровесницей самой поэзии, является оксюморон — сочетание логически враждующих понятий, вместе создающих новое представление. «Пышное природы увяданье», «свеча темно горит» (А. Пушкин), «живой труп» (Л. Толстой), «ваш сын прекрасно болен» (В. Маяковский) — все это оксюмороны. В строках стихотворения А. Ахматовой «смотри, ей весело грустить, такой нарядно обгаженной» сразу два оксюморона. Один поэт сказал о Г. Р. Державине: «Он врал правду Екатерине». Без противоречия так хорошо и точно, пожалуй, не удастся сказать. Л. Толстой однажды заметил о родниковой воде: «А коли она со щепочками — то она еще чище». Чистая вода не должна содержать примесей, «чистая вода со щепочками» — внутренне противоречивый образ.

Мышление в понятиях требует исключения логических противоречий. Художественное мышление, или мышление в образах, показывает, что не следует всякий раз «поверять алгеброй гармонию» и пытаться втиснуть все многообразие противоречий, встречающихся в художественном произведении, в прокрустово ложе логики.

Между художественным и понятийным мышлениями имеется различие не только в их отношении к принципам логики, но и к правилам языка. Мышление в понятиях требует постоянного соблюдения существующих правил естественного языка, включая не только наиболее жесткие синтаксические правила, но и семантические и прагматические правила. Мышление же в образах способно в целях большей художественной выразительности нарушать — иногда совершенно осознанно — правила языка.

К примеру, поэт В. Шершеневич считал синтаксические нарушения хорошим средством преодоления застылости, омертвения языка и конструировал высказывания, подобные «Он хожу».

Гоголь обладал волшебным свойством: вставить в предложение одно слово и сделать все неузнаваемым. Стоя на грани правил языка, он писал, например, о флейтисте, «свиставшем когда-то в оркестре». Не «игравшем» и даже не «свистевшем», а именно о «свиставшем».

Хорошей иллюстрацией использования синтаксической и семантической неоднозначности правил обычного языка являются произведения Ф. Достоевского. В романе «Бесы» об одном из главных героев, Степане Трофимовиче Верховенском, говорится: «Впоследствии, кроме

гражданской скорби, он стал впадать и в шампанское»; о Юлии Михайловне: «Она принуждена была встать со своего ложа, в негодовании и папилютках».

Предложения, подобные: «Мы шли вдвоем: он в пальто, а я в университет», — нарушают какие-то правила языка или стоят на грани такого нарушения и вызывают обычно улыбку. Эту особенность отступления от правил как раз и использует Достоевский, подчеркивая несерьезность, «ненастоящность», поверхностность поступков своих героев.

В тех же «Бесах» о Липутине сказано, что он «всю семью держал в страхе божием и взаперти», о Лебядкине рассказывается, что он явился «к своей сестре и с новыми целями». В «Братьях Карамазовых» о покойной жене Федора Павловича Карамазова говорится, что она была «дама горячая, смелая, смутная».

Такие характеристики не случайны. «Каламбуры такого рода, — пишет Д. С. Лихачев, — нужны для того, чтобы обнаружить неясности и нелогичности в словах и выражениях, продемонстрировать зыбкость самой формы, в которую облекается зыбкое же содержание»¹.

Использование нарушений норм употребления языка для целей художественной выразительности вообще — у Достоевского нередкий прием. С помощью такого приема передаются и особенности поведения и речи героев, и своеобразие обстановки, и отношение рассказчика к происходящим событиям, и многое другое, что могло бы, пожалуй, ускользнуть при безусловно правильном языке.

В «Подростке» о Марье Ивановне сказано, что она «была и сама напшигована романами с детства и читала их день и ночь, несмотря на прекрасный характер. Почему, собственно, прекрасный характер мог бы помешать ей читать романы день и ночь? «Возможно, — высказывает предположение Лихачев, — что азартное чтение романов — признак душевной неуравновешенности»².

«Подросток»: «старый князь был конфискован в Царское Село», «побывать к нему», «побывать к ней». «Бесы»: «она у графа К. через Nicolas заискивала». «Братья Карамазовы»: «обаяние его на нее», «себя подозревал... перед нею».

Часто глаголы «слушать», «подслушивать», «прислушиваться» употребляются в сочетаниях, необычных для русского языка: «слушать на лестницу», «прислушиваться на лестницу» в «Бесах»; «подслушивал к нему» в «Братьях Карамазовых»; «ужасно умела слушать» в «Подростке»; «сильно слушал» в «Вечном муже».

Нарушения норм языка из «Подростка»: «мне было как-то удивительно на него», «я видел и сильно думал», «я слишком сумел бы спрятать деньги», «а все-таки меньше любил Васи́на, даже очень меньше любил».

¹ Лихачев Д. С. Литература — реальность — литература. М., 1977. С. 85

² Там же. С. 86

Эти отступления от норм русского языка стоят на грани неправильности речи, а иногда и переступают эту грань, как «двое единственных свидетелей брака» в «Бесах».

Лихачев, которому принадлежат эти наблюдения над языком Достоевского, замечает, что все это вполне вписывается в общую систему его экспрессивного языка, стремящегося к связности, цельности речевого потока, к неопределенности, размытости характеристик ситуаций и действующих лиц.

Понятийное мышление всегда стремится к ясности и точности сказанного. В художественном мышлении возможны случаи сознательной, или, как говорят, жанровой, туманности и темноты литературного текста. Литературоведы иногда называют ее «бессвязной речью». Как писал Ф. Тютчев:

Есть речи — значение темно иль ничтожно.

Но им без волненья внимать невозможно.

В общем случае туманность и темнота — неприятные, хотя зачастую неизбежные спутники общения с помощью языка. От них желательно по мере возможности избавляться. Но жанровые туманность и темнота, свойственные иногда художественному образу, имеют все права появляться в нужное время на удобной для этого сцене.

Приведенные примеры хорошо подчеркивают отличие художественного образа от простого описания. Описание интерсубъективно, не зависит ни от времени, ни от среды его употребления. Образ же всегда субъективен, и во многом за счет, казалось бы, не нужных для четкого и последовательного описания деталей. Если Л. Толстой, говоря об особой чистой родниковой воде, представляет ее со щепочками, то другой писатель дал бы совершенно иной образ такой воды. Образ субъективен еще и потому, что он выражает определенные, неповторимые чувства художника. За «щепочками» Толстого стоят особые его чувства, быть может, связанные с самым ранним детством. Как заметил режиссер Ю. Норштейн: «Художник уплотняет свою жизнь в творчестве, всю прошлую жизнь — в одном моменте».

Образ первоначально существует в голове художника, который затем, создавая его материальный аналог, позволяет зрителю воссоздать в своем воображении образ художника. Эти простые соображения определяют тип, или способ, существования произведения искусства.

По характеристике Ж. П. Сартра сущность этого способа заключается в том, что произведение искусства представляет собой нечто ирреальное¹. Пока рассматривается материальный объект, например картина, эстетический объект еще не возникает. Он появляется в тот момент, когда сознание осуществляет радикальную конверсию, предполагающую

¹ См.: Сартр Ж. П. Произведение искусства // Современная западно-европейская и американская эстетика. М., 2002. С. 18

феноменологическое «уничтожение» мира отвращающимся от него сознанием: оно его более просто не воспринимает. Сознание должно конституировать себя как воображающее, а не как практическое и тому подобное сознание. Это подобно тому, как если бы из имеющихся кубиков можно было по собственной воле увидеть пять или шесть; притом, если их видят пять, нельзя было бы утверждать, что маскируется тот аспект рисунка, где их оказалось бы шесть. Мы не в состоянии видеть одновременно пять и шесть кубиков. Интенциональный акт, который воспринимает пять кубиков, самодостаточен, он завершает и исключает акт, принимающий во внимание шесть кубиков. Это же происходит и при восприятии картины. Изображенный на ней объект ирреален, поскольку он существует только на пересечении сознаний художника и зрителя благодаря их контакту, обеспечиваемому тем материальным объектом, который именуется «картиной». Эта констатация представляется Сартру крайне важной, поскольку обычно происходит смешение реального и воображаемого в произведении искусства. Часто говорят, что у художника сначала имеется идея в образе, который он затем реализует на полотне. Такое рассуждение предполагает, что художник исходит из психического образа, который как таковой некоммуникабелен, а затем, в конце работы, он представляет публике объект, доступный созерцанию каждого. На этой основе полагают, что имеет место переход от воображаемого к реальному. Но это вовсе не так. Реальному не требуется усилий для утверждения своей реальности — картина как материальный объект представляет собой результат ударов кисти, грунтовки холста, его фактуры, наложения на краски лака. Но как раз все это не является объектом эстетических оценок. Напротив, прекрасно именно то существо, которое не может представить себя восприятию и по самой своей природе изолировано от мира. Нельзя, допустим, осветить это существо, направляя на картину луч света: освещается картина, а не само это существо.

Картина не является воплощением замысла художника, его образов, то есть идеального, в произведение искусства, представляющее собой материальный объект. Художественный образ так и остается идеальным, а представляющее его произведение — всего лишь тот материальный аналог, рассматривая который, зритель может уловить этот образ.

Художественный образ и художественное видение

Образ всегда воплощает определенную общую точку зрения создавшего его художника, конкретный способ его художественного видения. Я. Буркхардт пишет о «Неистовом Роланде» Ариосто, что наивно было бы искать в этой поэме характеры. Они изредка попадают и даже пользуются симпатией и любовью автора, но поэмы ни в коем случае не основываются на них, а от более тщательной отделки она, скорее, потеряла бы, чем выиграла. Художественная цель поэта — блистательно-живая собы-

тийность, равномерно разлитая по всему его произведению. Ради нее он освобождает себя не только от более глубокой проработки характеров, но и от строгой последовательности рассказа. Потерянные и забытые нити он связывает, где ему хочется. Его герои являются и исчезают не потому, что этого требует их сущность, но потому, что так вздумалось поэме. Следуя этой, по-видимому, иррациональной манере, Ариосто создает прекрасное, но основанное на совершенно ясных законах. Он не увязает в описаниях, а всегда дает ровно столько предметных подробностей и сведений о героях, сколько может гармонично влиться в ход действия. Еще менее он склонен к длиннотам в разговорах и монологах. Напротив, он утверждает своей поэмой величественную привилегию подлинного эпоса: претворять всю реальность в живые события. Пафос у него никогда не изливается в слова, любовные истории лишены лирической ауры¹.

Совершенно иные образы создает Данте в «Новой жизни», где проза представляет собой отчет об истории создания стихов. «Не щадя собственной души, он констатирует все оттенки ее блаженств и ее страданий и с железной волей облекает их в строжайшую художественную форму. Внимательно читая эти сонеты и канцоны и, в промежутках между ними, эти замечательные отрывки юношеского дневника, приходишь к мысли, что на протяжении всего Средневековья поэты только то и делали, что избегали самих себя; он же первым себя отыскал»².

Как говорил Гёте, «кто хочет понять поэта, должен идти в страну поэта», то есть встать на его точку зрения и согласиться с возможностью или даже необходимостью его видения событий и характеров.

Образ произведения искусства неповторим, и тем не менее он представляет собой устойчивое образование. Его истолкование неизбежно меняется со временем, но и, изменяясь, он способен существовать века.

Важной особенностью образа является то, что он всегда носит телесный, кинестетический характер. Кант определял чувственность как способность (рецептивность) души получать представления, поскольку она каким-то образом подвергается воздействию³. Но эта аффицированность не является последним фактором, лежащим в основании всякого опыта. Как показал Э. Гуссерль, она сама по себе предполагает многообразие телесных движений, кинестизий, которые могут нами осознаваться в их активности без всякой специально артикулированной рефлексии.

Эмоциональность художественного образа

Художественный образ эмоционально насыщен. Он несет на себе печать того индивида, образом которого является. Он очевиден и общедоступен. Образ всегда многозначен и допускает возможность разных

¹ См.: Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. М., 1996. С. 283–284.

² Там же. С. 271.

³ См.: Кант И. Критика чистого разума. М., 1964. С. 155.

истолкований. И наконец, образ всегда неполон: он не передает то или иное событие во всех его деталях, а намечает лишь те линии, следуя которым, зритель сумеет воспроизвести в своем сознании это событие. Создавая образ, художник отбирает то, что кажется ему наиболее существенным и выразительным, опуская все то, что, как ему представляется, является второстепенным или искажающим смысл события. Рассчитывая на участие в воссоздании образа фантазии зрителя, художник может опустить и важные черты события. Чем активнее участвует зритель в постижении образа, тем ярче его эстетическое переживание.

Об этом обстоятельстве хорошо говорит развернувшийся в XVIII в. спор вокруг скульптурной группы «Лаокоон». Гибнущий в змеиных кольцах вместе с сыновьями Лаокоон издает не безумный крик, а только приглушенный стон. По мнению И. Винкельмана, причина этого кроется в национальном характере древних греков, в их стоическом спокойствии. Возражая ему, Г. Э. Лессинг писал, что дело не в характере народа, а в особенностях изобразительного искусства. Художник передает в своем произведении не всю полноту жизненного явления, а лишь некий «плодотворный момент», настраивающий человека определенным образом. Плодотворным является то, что оставляет свободное поле для воображения. Чем больше работает мысль зрителя, тем сильнее возбуждается воображение. Показать предельную точку эффекта — значит подрезать крылья фантазии.

Неполнота образа

Нарочитая неполнота образа, недоговоренность — характерный прием, применяемый художниками. Иногда художественный образ оказывается неполным не в силу замысла самого художника, а по причине того, что тот пытается передать нечто такое, что и ему самому видится смутно и не кажется вполне понятным.

Многофункциональность образа

Художественные образы, включая элементарные образы, выполняют одну или, что бывает гораздо чаще, одновременно несколько тех основных функций, которые характерны для произведения искусства. Образ может описывать некоторую ситуацию, выражать чувства художника, (что, впрочем, также является, в сущности, описанием, но уже не внешнего, а внутреннего мира), оценивать те или иные ситуации и, наконец, внушать публике определенные чувства, заклиная ее, умолять и т. п.

Чисто описательные и чисто экспрессивные образы являются столь же редкими, как и чисто оценочные или чисто орективные образы.

Если образ выполняет одновременно несколько разных функций, одна из них обычно является ведущей. Точно так же обстоит дело и в случае произведения искусства, слагающегося из многих элементарных

образов. В стихотворении Надсона оректическая функция, функция заклинания и мольбы является, несомненно, доминирующей, а описание, выражение и оценка служат в конечном счете для того, чтобы подготовить фон, на котором внушение делается особенно наглядным и мотивированным.

10. Симулякр

Традиционное понятие художественного образа нуждается в пересмотре и реконструкции. Оно сложилось в контексте теории подражания, или мимесиса, представления об искусстве как простом отражении действительности. Если наряду с понятием подражания вводится также равноправное с ним понятие побуждения, то следует признать, что в искусстве, помимо пассивных, *подражающих образов*, существуют также активные, *побуждающие образы*.

Побуждающие, или нерепрезентативные, образы

Побуждающие образы действительно активно обсуждаются в философии искусства и искусствознании в течение нескольких последних десятилетий. Побуждающий образ, получивший не совсем удачное название симулякра (франц. — стереотип, псевдовещь, пустая форма), является одним из ключевых понятий постмодернистской эстетики. Считается, что симулякр занимает в эстетике место, принадлежавшее ранее в классических эстетических системах художественному образу. «Симулякр, — как его характеризует Н. Б. Маньковская, — образ отсутствующей действительности, правдоподобное подобие, лишенное подлинника, поверхностный, гиперреалистический объект, за которым не стоит какая-либо реальность. Это пустая форма, самореференциальный знак, артефакт, основанный лишь на собственной реальности»¹.

Важное понятие побуждающего образа в теории симулякра было истолковано не совсем удачно, в результате чего симулякр предстал не как разновидность художественного образа, а как его прямая противоположность.

Все художественные образы можно разделить на *репрезентативные* и *нерепрезентативные образы*. Образ, являющийся репрезентативным, — это образное отображение того, что *есть*, то есть отображение определенного фрагмента реальности. Такой образ является подобием, имеющим в реальном мире свой подлинник. Образ, не являющийся репрезентативным, или симулякр, представляет собой образ отсутствующей действительности, но той действительности, которая, по за-

¹ Маньковская Н. Б. «Париж со змеями» (Введение в эстетику постмодернизма). М., 1995 С. 99; см. также Маньковская Н. Б. Симулякр // Культурология XX век. Словарь. СПб., 1997 С. 423.

мыслу художника, передаваемому им зрителю, *должна быть*. Симулякр является в силу этого подобием, не имеющим в реальном мире своего подлинника, или, как иногда говорят, «неподобным подобием».

Репрезентативный, или миметический, образ подражает действительности. Он более или менее адекватно описывает определенные объекты и выражает чувства художника, связанные с ними. Такой образ, говорящий о том, что уже имеет место, ориентирован на настоящее или прошлое. Нерепрезентативный, или немиметический, образ говорит о явлении, которое еще не наступило и, возможно, никогда не наступит, но которому, по замыслу художника или его персонажей, в принципе, следовало бы иметь место. Такой образ ориентирован не на настоящее или прошлое, а на будущее. Он оценивает существующее положение дел, предлагает определенную альтернативу и создается с намерением внушить аудитории ощущение необходимости реализации этой альтернативы.

Нерепрезентативный образ, касающийся будущего состояния дел, не описывает никаких реально существующих объектов. Он представляет вниманию зрителя еще несуществующие положения дел. Если образ истолковывать по старой традиции как «подобие», то о нерепрезентативном образе действительно можно сказать, что он является «неподобным подобием», отсылает к тому, чего в реальности нет, и не имеет в силу этого прототипа.

Нерепрезентативные образы являются образами в том же смысле, что и репрезентативные образы: они представляют собой не понятия, а эмоционально насыщенные «картинки», обращенные в первую очередь не к разуму человека, а к его чувствам. Но если репрезентативный образ дает картинку того, что уже имеет место, то нерепрезентативный образ представляет картинку того, что только будет или чему необходимо, полезно, целесообразно и т. п. быть.

А. Бретон отмечал, что если в произведении искусства не просвечивает будущее, такое произведение ничего не стоит. Если признать правомерными одни лишь репрезентативные образы, то придется согласиться с тем, что искусство вообще не вправе говорить о будущем, намечать какие-то перспективы человеческой деятельности и т. п. Задачей искусства окажется лишь пассивное копирование существующего положения вещей. Побуждение же, являющееся оппозицией подражания и предполагающее оценку реальности и внушение определенных чувств и намерений, придется исключить из числа целей искусства.

Такой подход был бы, однако, выражением старого представления о человеке как о пассивном, обреченном исключительно на созерцание и констатацию независимого от него хода дел существе. Человеческая активная, преобразующая мир деятельность осталась бы за пределами искусства. Искусство представляет собой важное средство понимания прошлого и настоящего. Но первостепенный смысл искусства в том,

что оно является предвосхищением будущего. В первую очередь того будущего, которое зависит от деятельности человека.

Категория художественного образа сформировалась в эстетике сравнительно поздно. С самого начала теория образа опиралась на учение Аристотеля о мимесисе — о подражании художника жизни в ее способности производить цельные, внутренние совершенные предметы и о связанном с этим удовольствии, прежде всего — удовольствии узнавания в произведении искусства того, что ранее наблюдалось в самой жизни. Склонность Аристотеля трактовать реальность не как бытие, в котором бесконечно повторяется одно и то же, а главным образом как становление, выделение Аристотелем, наряду с подражанием, также активных функций искусства — все это было оставлено в стороне и никак не повлияло на трактовку понятия художественного образа. В традиционной философии искусства художественный образ — это исключительно репрезентативный образ. И хотя философия еще в XIX в. заговорила о человеке как о деятельностном существе, на философии искусства этот новый подход к человеку сказался только во второй половине прошлого века. Причем выразился он не вполне адекватно: традиционному понятию репрезентативного образа, способного только к подражанию и потому всегда имеющему в реальности свой прообраз, было резко противопоставлено понятие симулякра, образа, ничему не подражающего и не имеющего в силу этого какого-либо реального прототипа.

История понятия симулякра

В разработку идеи симулякра важный вклад внес Ж. Бодрийяр. В первый период своего творчества он рассматривал проблемы общества потребления и стремился раскрыть суть феномена потребления. Если раньше главными свойствами вещей были материальность, полезность и функция, говорит Бодрийяр, то в обществе потребления эти свойства отходят на задний план и уступают свое место новым свойствам, возникающим в силу того, что предметы и вещи, подобно языку, образуют систему знаков и приобретают «знаковую стоимость». Суть этого общества составляет потребление знаков, а само потребление становится процессом поглощения знаков и поглощения знаками. В обществе потребления всякий товар производится как знак, а знаки — как товары. Бодрийяр рисует мрачную картину функционирования общества потребления, которое предстает как пространство всеобщего манипулирования и отчуждения. Это — конец труда, производства и политической экономики, утрата всякой референции, почвы и фундамента. Все рушится под натиском «стоимости-знака», подчиняющего себе не только экономику, но и другие сферы человеческой деятельности — искусство, язык, интеллектуальную деятельность. Везде действует «модель симуляции», в силу чего место реальных предметов, процессов и явлений занимают разного рода знаки и «симулякры» («подобия»), которые обмениваются

между собой, забыв о существовании реального. Рождается нечто «гиперреальное», поглощающее реальное¹. Бодрийяр определяет симулякр как псевдовещь, замещающую «агонизирующую реальность» постреальностью посредством симуляции, выдающей отсутствие за присутствие, стирающей различия между реальным и воображаемым.

Идея симулякра возникает, таким образом, в контексте обсуждения негативных черт общества потребления. Одной из основных таких черт является симуляция — притворство, создание ложного представления о чем-либо с целью ввести в обман. Симулякр — средство притворства, создания неверного представления о реальном положении вещей.

Следуя идеям Бодрийяра, и сейчас говорят о симулякре как о сознательном художественном «обмане» реципиента (ироническая игра) в постмодернизме путем презентации в качестве «подражания» некоего образца, в принципе не имеющего никакого прообраза, то есть объекта подражания.

Несмотря на многие глубокие замечания, высказанные Бодрийяром в адрес общества потребления, представление им этого общества как «агонизирующей реальности» является очевидным упрощением. Это общество устойчиво, и нет никаких оснований предвещать его скорое крушение, замену его культуры некой более высокой и совершенной культурой («Культурой с большой буквы»). Связывание нерепрезентативных образов с симуляцией как одной из ведущих характеристик общества потребления не имеет под собой оснований. Бодрийяр правильно отмечает, что симулякр возникает в случае определенного кризиса реальности. Симулякр как раз и говорит о том, что должно появиться вместо этой вырождающейся реальности. Но кризис отдельных сторон (социальной) реальности — это еще не ее агония. Вся социальная жизнь состоит из непрерывных кризисов, затрагивающих те или иные ее стороны. Нет никаких оснований сравнивать, как это делает Бодрийяр, культуру XX в. с засыпающей осенней мухой, а в эстетике симулякра видеть риск деградации, истощения, «ухода со сцены» и т. п.

Симулякры появились гораздо раньше возникновения общества потребления. В сущности, они существовали в искусстве всегда. В современном искусстве их стало заметно больше. Но это связано не с нарастающим упадком общества потребления, которое пытается с помощью симуляции и симулякров продемонстрировать свою устойчивость. Размножение симулякров вызвано в первую очередь характерным для индустриального и в особенности для постиндустриального общества ускорением темпов социального развития. Ставшее явственным в последние два-три столетия ускорение хода человеческой истории привело к тому, что давно известные нерепрезентативные образы сделались в искусстве обычным делом и даже вышли на первый план.

¹ См. в этой связи: Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1995.; Baudrillard J. Simulacres et simulation. Paris, 1981.

Ж. Делёз подробно обсуждает тему симулякров в античной философии и определяет основную цель философии Платона как борьбу с симулякрами. Платон ставит перед собой задачу — «отделить сущность от явления, интеллигибельное от чувственного, идею от образа, оригинал от копии, модель от симулякра»¹. Но все эти выражения не равнозначны. Различие перемещается между двумя типами образов. Копии — вторичные обладатели (сопричастным); они — претенденты, стоящие на прочных основаниях, чьи претензии гарантированы сходством (с непричастным). Симулякры — нечто вроде ложных претендентов, чьи претензии строятся на несходстве, заключающемся в сущностном извращении или отклонении (от непричастного). Исходя из этого, Платон разделяет всю область образов-идолов на две части: с одной стороны, есть копии-иконы, с другой — симулякры-фантазмы. Для Платона суть дела состоит в том, чтобы обеспечить победу копии над симулякром, подавить его, загнать на самое дно и не давать ему выйти на поверхность. В симулякре, по Платону, присутствует некое умопомешательство, а именно неограниченное становление. «Поставить предел становлению, упорядочить его согласно Тому же Самому, загнать его в рамки сходства, — а ту часть, которая остается непокорной, затолкать как можно глубже, замуровать в пещере на дне Океана — вот цель платонизма, стремящегося обеспечить триумф икон над симулякрами»².

Если еще Платон, отстаивавший неизменное бытие и опасавшийся становления, вел непримиримую борьбу с симулякрами, нельзя сказать, что они появились только в современной культуре, причем именно как свидетельство ее глубокого кризиса.

Делёз подчеркивает, что симулякр — это вовсе не деградировавшая копия. Симулякр и копия противоположны по своей направленности: симулякр активен, не имеет прообраза и ищет своего воплощения в действительности, копия же пассивно отображает то, что уже имеет место. В симулякре «таится позитивная сила, отрицающая как оригинал и копию, так и модель и репродукции. Внутри симулякра заключены, по крайней мере, две расходящиеся серии — и ни одну из них нельзя назвать ни моделью, ни копией. Тут нельзя даже прибегнуть к модели Другого, ибо никакая модель не может устоять против головокружения симулякра. Больше нет никакой привилегированной точки зрения, нет и объекта, общего для всех точек зрения»³.

«Головокружение, вызываемое симулякром», о котором говорит Делёз, связано с тем, что симулякр ориентируется не на то, что есть в реальности и является в той или иной мере устойчивым, а на то, что только должно наступить, а пока что отсутствует. Если образ-копия

¹ Делёз Ж. Логика смысла. М.: Екатеринбург, 1998. С. 333.

² Там же. С. 335.

³ Там же. С. 341–342.

может претендовать на истинность, то для симулякра, являющегося в основе своей цениостью, такая претензия совершенно исключена. Относительно будущего, в котором эта ценность намеревается воплотиться, действительно не существует никакой привилегированной позиции или точки зрения, как нет и объекта, общего для всех точек зрения.

Симулякр и копия, подчеркивает Делёз, различны по своей природе. «Назвать симулякр копией копии, бесконечно деградировавшим иконоическим образом или бесконечно удаленным сходством значило бы упустить главное... Копия — это образ, наделенный сходством, тогда как симулякр — образ, лишенный сходства»¹.

Конкретизируя эту мысль, можно сказать, что отношение между копией и симулякром аналогично отношению между истиной и ценностью. Истина является копией реальности, но ценность — не копия этой копии, а совершенно самостоятельный образ реальности, причем образ, лишенный сходства, поскольку он говорит о том, чего еще нет и, возможно, никогда не будет.

В книге «Различие и повторение» Делёз приводит пример симулякра, присутствующий еще в катехизисе; этот пример повторяется и в книге «Логика смысла». Бог создал человека по своему образу и подобию. Согрешив, человек утратил подобие, но сохранил образ. Человек превратился в симулякр. Катехизис настаивает на демоническом характере симулякра. Он именно дьявольский образ, лишенный подобия; или, скорее, он поместил подобие снаружи, а живет различием. Симулякр все еще создает эффект подобия, но это эффект целого, полностью внешний и производимый средствами, совершенно отличными от тех, что действуют внутри модели. Построенный на несоответствии и на различии, симулякр несет несходство внутри самого себя.

Делёз выделяет четыре черты симулякра, хорошо соответствующие определению симулякра как нерепрезентативного образа, ищущего свое воплощение в будущем². Симулякр — это прежде всего образ, лишенный подобия и живущий не подобием, как иконоический, или репрезентативный, образ, а различием; симулякр только производит внешний эффект подобия. Симулякры — это становление, что пугало еще Платона, они активны, способны к настойчивой подспудной работе и созданию собственного, внутренне связанного мира. Им есть чем оспорить и понятие копии, и понятие образца. Образец в различии разрушается, в то время как копии укореняются в несходстве интериоризированных рядов; так что никогда не скажешь, где копия, а где оригинал. И наконец, возможен триумф симулякров. «Платон пытался упорядочить вечное возвращение, превращая его в результат Идей, т. е. заставляя его копировать образец. Но в бесконечном движении убывающего от копии

¹ Делёз Ж. Логика смысла. С. 335

² Делёз Ж. Различие и повторение. СПб., 1998 С. 161–162

к копии подобия мы достигаем той точки, где все сущностно меняется, сама копия превращается в симулякр, где, наконец, подобие, духовная имитация, уступает место повторению»¹.

Делёз настаивает на том, что систему симулякра необходимо описывать посредством понятий, изначально кажущихся совершенно отличными от категорий репрезентации². Характеристика этих понятий у Делёза не особенно ясна, но его вывод, касающийся роли подражания в искусстве, совершенно определен: искусство не является подражанием. «Искусство не подражает именно потому, что повторяет, повторяет все повторения, исходя из внутренней силы (подражание — копия, а искусство — симулякр, оно превращает копии в симулякры). Даже наиболее механистическое, повседневное, привычное, стереотипное повторение находит свое место в произведении искусства, так как всегда смещено по отношению к другим повторениям, если уметь извлечь из них различие. Ведь нет другой эстетической проблемы, кроме включения искусства в повседневную жизнь»³. В каждый вид искусства встроены свои техники повторения. Их критическая революционная сила может достичь высшего уровня, чтобы увести нас от унылых повторений привычки к глубинным повторениям памяти, затем — к высшим повторениям смерти, ставящей на карту нашу свободу. Три разными примерами повторений могут служить повторения в современной музыке (таково углубление лейтмотива в «Войцехе» Берга); способ доведения копии, копии копии и т. д. в живописном поп-арте до высшей точки переворачивания, превращения в симулякр (таковы замечательные серии «рядов» Уорхолла, сочетающие все повторения — привычки, памяти и смерти); романский способ, при котором из сырых механических привычных повторений можно извлечь небольшие изменения, в свою очередь, движущие повторениями памяти ради высшего повторения, когда жизнь и смерть поставлены на карту.

Примеры симулякров

К типичным нерепрезентативным образам можно отнести, полагает К. Г. Юнг, «Улисса» Джойса. Что касается разрушения ранее принимавшихся критериев выражения красоты и смысла, то здесь «Улисс» занимает выдающееся место. «Он оскорбляет утвердившиеся привычки чувствовать, он совершает насилие над тем, что принято ожидать от книги по части ее смысла и содержания, он издевается над любыми попытками свести воедино возникающие при чтении мысли. Кажется, только недоброжелатель может приписать «Улиссу» хоть какую-то склонность к обобщениям или образному единству, так как если бы удалось дока-

¹ Делёз Ж. Различие и повторение. С. 162

² Там же. С. 334.

³ Там же. С. 351.

зять в нем присутствие столь несовременных вещей, то в этом случае оказалось бы, что он серьезно отстает от утверждаемых им же канонов красоты»¹. Эта оценка Юнгом романа Джойса относится к самому началу 30-х гг. В то время роман являлся очевидным нерепрезентативным образом, вызвавшим ожесточенные споры. Но уже спустя короткий промежуток времени очевидный симулякр, каким первоначально являлся роман, превратился (не без воздействия самого романа) в обычный репрезентативный образ.

В романе Ф. Достоевского «Бесы» (глава «У наших») рассказывается о том, как в провинциальном городке собирается группа людей с намерением обсудить перспективы возможного переустройства общества на началах добра и справедливости. Один из присутствующих, Шигалев, предлагает так радикально переделать существующее общество, что оно превратится в «земной рай»: «Я запутался в собственных данных, и мое заключение в прямом противоречии с первоначальной идеей, из которой я выхожу. Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом. Прибавлю, однако ж, что, кроме моего разрешения общественной формулы, не может быть никакого». Один из «наших», симпатизирующий Шигалеву и представляющий его «отчасти фанатиком человеколюбия», так передает его замысел: необходимо, «в виде конечного разрешения вопроса, — разделение человечества на две неравные части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать. Меры, предлагаемые автором для отнятия у девяти десятых человечества воли и переделки его в стадо, посредством перевоспитания целых поколений, — весьма замечательны, основаны на естественных данных и логичны». Помимо идей Шигалева, не вызвавших энтузиазма присутствующих, проскальзывает также мысль, «что как мир ни лечи, все не вылечишь, а срезав радикально сто миллионов голов и тем облегчив себя, можно вернее перескочить через канавку». В другом месте романа главный его герой, Петр Верховенский, снижает планку: «перескочить через канавку» вполне удастся, срезав всего три-четыре миллиона голов.

Впервые роман был опубликован в 1871–1872 гг. В это время в России не было еще людей, намеревающихся усовершенствовать существующее общество, пожертвовав тремя-четырьмя и тем более сотней миллионов голов; не было и тех, кто, подобно Шигалеву, считал бы необходимым превратить девять десятых общества в полуживотное стадо посредством перевоспитания целых поколений. Образы большинства героев этого романа Достоевского не являются копиями того, что существовало

реально. Это — нерепрезентативные образы, или симулякры, говорящие не о настоящем, а о будущем и предрекающие, что люди, похожие на героев Достоевского, непременно появятся, притом появятся спустя считанные десятилетия. И действительно, уже в начале XX в. такие люди появились и принялись готовить грандиозную социальную революцию. Они не утруждали себя подсчетами того, сколькими миллионами голов придется пожертвовать, а просто боролись за освобождение от частной собственности и проистекающей из нее эксплуатации человека человеком. Но результаты их деятельности вполне совпадают с теми цифрами возможных жертв, которые назывались «нашими». Со временем настал черед и воплощения в жизнь идеи превращения подавляющего большинства общества в стадо, в котором нет личностей, но зато все чувствуют себя как бы в раю.

Симулякры, созданные Достоевский и не описывавшие ничего существующего, сделались — через совсем краткое по историческим меркам время — обычными репрезентативными образами.

Чисто репрезентативный образ и открытый симулякр, без примеси описания реального положения вещей, являются двумя противоположными полюсами художественной образности. Между ними лежит широкая промежуточная область образов, соединяющих в себе репрезентативность и нерепрезентативность, пассивность и активность, описание и оценку.

Ситуация здесь аналогична рассматривавшимся ранее отношениям между истиной и ценностью. Помимо утверждений, образов и представлений, выражающих истину, и утверждений, образов и представлений, устанавливающих ценности, существуют многообразные двойственные, описательно-оценочные утверждения, образы и представления.

11. Художественный символ

Невозможно переоценить роль художественных символов в искусстве. И тем не менее, хотя важность символов подчеркивалась уже античной эстетикой и философией искусства, остается целый ряд сложных проблем, связанных с пониманием таких символов. Здесь можно остановиться только на наиболее важных из них.

Символ является в известном смысле ключом к пониманию природы человека. Не случайно Э. Кассирер предлагал определять человека как *символизирующее животное*. «Великие мыслители, которые определяли человека как *animal rationale*, не были эмпириками, они и не пытались дать эмпирическую картину человеческой природы. Таким определением они скорее выражали основной моральный императив. Разум — очень неадекватный термин для всеохватывающего обозначения форм человеческой культурной жизни во всем ее богатстве и разнообразии. Но все эти формы суть символические формы. Вместо того чтобы опре-

делять человека как *animalrationae*, мы должны, следовательно, определить его как *animalsymbolicum*. Именно так мы сможем обозначить его специфическое отличие, а тем самым и понять новый путь, открытый человеку, — путь цивилизации»¹.

Определение человека как символизирующего существа, а символического мышления и поведения — как характерных, неотъемлемых черт человеческой жизни и культуры является отправным пунктом в изучении любых символов, включая и художественные.

Природа символа

В общем случае *символ* — это идея, образ или предмет, имеющий собственное содержание и одновременно представляющий в обобщенной, неразвернутой форме некоторое иное содержание. Художественные символы, используемые в художественном мышлении, являются частным случаем символов.

Ярким примером художественного образа, несущего очевидное символическое содержание, является Беатриче из «Божественной комедии» Данте. Беатриче — не только действующее лицо, но и одновременно символ чистой женственности. Вместе с тем «чистая женственность» — это опять-таки символ, хотя и более интеллектуализированный. Смысл его становится более понятным, если вспомнить, что Данте находил возможным уподобить Беатриче теологии. По средневековым представлениям, теология представляет собой вершину человеческой мудрости, но одновременно это и размышление о том, подлинное знание чего недоступно человеку. Здесь хорошо видно, что разъяснение смысла символа неизбежно ведет к новым символам, которые не только не способны исчерпать всю его глубину, но и сами требуют разъяснения.

Иногда символ помещают между художественным образом² и аллегорией, в других случаях — между моделью, имеющей прямое сходство с моделируемым объектом, и (чистым) знаком, у которого собственное содержание ничтожно. Художественный символ как универсальная эстетическая категория может быть раскрыт только через сопоставление его с категориями художественного образа, с одной стороны, и знака и аллегории — с другой.

Символы используются человеком в своей деятельности и имеют в силу этого определенную цель. Они всегда служат обнаружению чего-то неявного, не лежащего на поверхности, непредсказуемого. Если цель исчезает, то исчезает и символ как элемент социальной жизни, и остается только знак, используемый для простого обозначения объекта. Человеческое мышление, начиная с художественного и заканчивая научным, всегда символично.

¹ Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М., 1998. С. 472

² См.: Аверинцев С. С. Символ // Большая советская энциклопедия. М., 1970

Художественный символ, как и всякий символ, всегда имеет внешнее и внутреннее содержание. С точки зрения внешнего содержания, он представляет собой чувственно данный объект: вещь, событие, жест, рисунок, высказывание и т. п. Внутреннее содержание символа — это множество связанных с ним значений, или смыслов. «Символ имеет место там, — пишет П. Рикёр, — где язык создает сложно организованные знаки и где смысл, не довольствуясь указанием на предмет, одновременно указывает и на другой смысл, способный раскрыться только внутри и посредством первого смысла»¹.

Разных смыслов у символа могут быть десятки, причем они определенным образом связаны друг с другом и уходят в глубину, «образуют перспективу». Смыслы художественного символа сами могут быть художественными символами. Никакое описание не способно передать всю полноту смыслов богатого ими символа. Разъяснение смысла художественного символа неизбежно ведет к новым символам, которые, в свою очередь, требуют разъяснения.

¹ Ricoeur P. De l'interprétation, essai sur Freud Paris, 1965 P. 25

Глава 14

НАУКА И ОБЩЕСТВО

1. Средства и цели

Науки об обществе обладают определенным своеобразием в сравнении с науками о природе, или естественными науками. Социальные факты не так устойчивы и однозначны, как естественно-научные: первые подобны каплям воды на раскаленном железе. Социальные теории всегда страдают известной умозрительностью, что делает их объяснения и предсказания довольно неопределенными. Кроме того, теории, касающиеся человеческой истории, не устанавливают, как уже говорилось, каких-либо законов. Это придает историческим объяснениям и предсказаниям настолько большую неопределенность, что иногда говорят: история учит только тому, что она ничему не учит.

Вместе с тем в своей глубинной основе науки об обществе и науки о природе едины: они отправляются от фактов и пытаются сконструировать теории, позволяющие понимать, объяснять и предсказывать изучаемые явления. Науки об обществе, если они стремятся к объективному знанию, руководствуются тем же научным методом, которого придерживаются науки о природе.

В конце XIX — начале XX в. распространенной была идея, что наука, при всем ее могуществе, связана очень жестким ограничением: она способна давать только знание тех *средств*, которые необходимы для достижения поставленных целей, но не знание самих *целей*.

Вопрос о том, откуда появляются те цели, которые ставят перед собою человек и общество, и почему именно эти цели не могут быть подвергнуты научному исследованию, оставался неясным. Обычно на него отвечали в духе позитивизма и неопозитивизма: цели — это ценности, а наука ценностями не занимается, поскольку конечная задача научного исследования — истина. Иными словами, идея, что наука изучает только средства для достижения некоторых целей, но не способна ничего сказать о самих целях, напрямую связывалась с типичным для позитивизма и неопозитивизма требованием исключать ценности из языка науки.

Рассмотрение конкретных научных теорий, касающихся развития человеческого общества и самого человека, показывает, что социальная теория, пытающаяся говорить лишь о средствах для достижения целей, появляющихся неизвестно откуда, попросту невозможна. Суть социального исследования в том, чтобы уловить те тенденции развития общества, которые представляются позитивно ценными, и указать средства, необходимые для успешной реализации таких тенденций. Что касается негативных тенденций развития общества, социальная теория должна выявить их и предложить конкретные способы их преодоления.

Цели развития общества действительно являются ценностями, они представляют собой, как говорил Ф. Ницше, пунктиры человеческой воли. Основопологающие социальные цели не изобретаются социальными науками. Самые важные из таких целей вызревают в толще самой социальной жизни. Задача социальных наук состоит в том, чтобы выявить и прояснить их, а уже после этого попытаться найти способы их достижения. Социальная наука, если она претендует на какую-то значимость в социальной жизни, должна говорить, таким образом, не только о средствах для достижения неизвестно кем поставленных целей, но и о самих целях.

2. Четыре типа социальных теорий

Существует необозримое множество теорий социального развития. На первый взгляд кажется, что в этом безбрежном море социального теоретизирования нет никаких ориентиров. На самом деле это не так. Рамки социального теоретизирования определяются в конечном счете не столько талантом и фантазией людей, изучающих социальные явления, сколько самой природой современного общества. Отправляясь от нее, можно наметить контуры общей классификации современных социальных теорий и составить своего рода «карту», или схему, современного социального теоретизирования.

Пусть *радикализм* означает требование решительного, коренного преобразования общества, не особенно считаясь со старыми социальными институтами и индивидуальными свободами. В основе радикализма лежит обычно полная неудовлетворенность предшествующей историей, существующим обществом, ныне живущим человеком. Радикализм предполагает стремление разрушить до основания старое общество и создать новое, гораздо более совершенное общество, совершенного человека и, возможно, более совершенную природную среду, достойную нового общества и нового человека. *Реформизм*, являющийся противоположностью радикализма, будет означать, соответственно, постепенное, поэтапное преобразование общества, не ставящее перед собой глобальных целей и учитывающее ценность уже существующих социальных институтов и традиций, воплощающих прошлый опыт. Реформизм обычно скептически относится к идеям создания некоего идеального общества и совершенного человека, призывая ценить то, что уже есть, несмотря на все его несовершенство. В политике радикально настроенные люди или движения обычно называются «левыми» и противопоставляются «правым», или консервативно настроенным реформистам.

Под *коллективными ценностями* будем понимать то, что считается позитивно ценным какими-то социальными коллективами или обществом в целом. К *индивидуальным ценностям* в этом случае будет относиться

все, что предпочитается отдельными людьми, является объектом любого их желания или интереса.

Социальные теории можно разделить на два класса в зависимости от того, предполагаются ими радикальные или, напротив, постепенные способы социальных преобразований. С другой стороны, такие теории можно разделить на те, которые отдают приоритет коллективным ценностям над индивидуальными, и те, которые индивидуальные ценности **считают выше коллективных**.

Объединяя эти два деления, получаем четыре основных типа современных социальных теорий: социализм, анархизм, консерватизм и либерализм.

Социализм требует радикального преобразования общества с целью утверждения коллективных ценностей. *Анархизм* предполагает столь же решительную трансформацию общества, но уже с намерением утвердить индивидуальные ценности. *Консерватизм* основывается на постепенном реформировании общества и отдает предпочтение прежде всего коллективным ценностям. И наконец, *либерализм* предполагает постепенное преобразование общества с целью максимально широкого внедрения индивидуальных ценностей.

Нужно отметить, что, когда говорится о типах социального теоретизирования, имеются в виду не теории в более или менее строгом смысле этого слова, а разные *стили размышления* о социальных проблемах, разные способы подхода к решению таких проблем. В рамках каждого из типов социальной мысли существует множество конкретных, с той или иной степенью отчетливости сформулированных теорий, отчасти конкурирующих, отчасти солидаризирующихся друг с другом.

В частности, нет какой-то единой концепции социализма, приемлемой для всех социалистов. Напротив, разные версии социализма иногда настолько далеко отстоят друг от друга, что выявление их глубинной общности превращается в самостоятельную проблему (например, социализм, предполагающий интернационализм и обобществление собственности, и социализм, основанный на идее превосходства одних наций над другими, сохраняющий собственников, но делающий их уполномоченными государства по управлению собственностью). Даже в марксистском социализме имеются многочисленные течения, ведущие полемику друг с другом.

Социализм, анархизм, консерватизм и либерализм — это, так сказать, чистые типы, или стили, социальной мысли. На их основе возникают разнообразные промежуточные разновидности теорий, получившие особое распространение в XX в. Так, либеральный, или демократический, социализм, называемый иногда «социализмом с человеческим лицом», дополняет концепцию социализма определенными идеями либерализма; неолиберализм — результат усвоения классическим либерализмом определенных элементов консерватизма, и т. д.

Приведенная схема охватывает социальные концепции, выдвинутые примерно в последние три столетия. У каждой из указанных концепций можно найти отдаленных идейных предшественников. Но наличие такого, иногда очень отдаленного родства недавних и существовавших в далеком прошлом социальных концепций не может быть основанием для утверждений, будто социализм столь же стар, как и сама человеческая история, а основные элементы теории социализма были еще у Платона, или что отдельные фрагменты анархизма содержатся в философии Зенона и стоиков, и т. д. Подобные утверждения явно не историчны.

Далее будут рассмотрены основные идеи либерализма, консерватизма и социализма. Анархизм провозглашает своей целью немедленное и радикальное освобождение личности от всех разновидностей политической, экономической и духовной власти. По характеристике В. И. Ленина, «анархизм — вывороченный наизнанку буржуазный индивидуализм. Индивидуализм как основа всего мировоззрения анархизма». Анархизм как особое течение социальной мысли мощно проявил себя в конце XIX — начале XX в. Хорошо известны имена русских теоретиков анархизма М. А. Бакунина и П. А. Кропоткина. Однако к середине XX в. теоретический анархизм почти обессилел, и далее он рассматриваться не будет. Можно отметить лишь, что современный так называемый антиглобализм является тяготеющей к анархизму концепцией и может быть назван неонархизмом.

Либерализм

Основная ценность и цель либерализма — это реализация *свободы личности*. Другие ценности — демократия, правозаконность, нравственность и т. д. — представляют собой только средства для достижений этой свободы. Основным методом либерализма — это не столько творчество и создание нового, сколько устранение всего, что грозит индивидуальной свободе или мешает ее развитию. Основной постулат либерализма о непреходящей ценности и равных правах каждой личности вместе с его методом, диктующим особую осторожность при решении социальных проблем, во многом объясняют ту трудность, с которой либерализм завоевывает себе сторонников.

Либерализм не предлагает никакой связной доктрины развития общества, реализация которой могла бы, скажем, привести к завершению «предыстории», недостойной человека, и началу «истории», отвечающей его высокому предназначению.

Современный либерализм, иногда ошибочно оцениваемый как неотъемлемая составляющая идеологии современного капиталистического общества или даже как ее теоретическое ядро, на самом деле является лишь одним из способов интерпретации его развития, об общепринятости которого не может быть и речи. Этот либерализм весьма аморфен, его толкование меняется от десятилетия к десятилетию, у него

нет непререкаемых авторитетов. Не случайно либерализм приобрел репутацию «негативного учения», не способного предложить человеку постиндустриального общества никакой конкретной, рассчитанной на долгую перспективу программы.

Либерализм — индивидуалистическая система, так как на первый план выдвигается отдельный человек, а ценность общественных групп или учреждений измеряется исключительно тем, в какой мере ими защищаются права и интересы индивида и способствуют ли они осуществлению целей отдельных субъектов. Либерализм считает своей целью благополучие и даже счастье человека, но достигаемые усилиями самого человека, ставящего перед собой собственные цели и пользующегося максимально возможной свободой.

Две основные гарантии индивидуальной свободы — как гражданской, так и политической — либерализм видит в частной собственности и правовом государстве. Либерализм убежден, что устранение помех личной свободе не должно принимать форму насильственного переворота или разрушения. Это убеждение опирается на консервативную теорию прогресса, глубоко укорененную в самом либерализме. Согласно этой теории, прогрессивной силой являются в первую очередь укрепление и утверждение, а не разрушение. Устранять необходимо прежде всего неограниченное расширение полномочий государственной власти, благодаря которым она со временем может встать над правом и произвольно менять законы; далее нужно препятствовать обязательному планированию и разрастанию административных учреждений. Но и в этих случаях действовать следует с особой осторожностью, а ни в коем случае не неожиданно и безжалостно.

Постепенно классический либерализм, сложившийся в XIX в., подвергся существенной перестройке, прежде всего в вопросе о социально-экономической роли государства. Возникли концепции «нового либерализма», или неолиберализма. По мере стабилизации капитализма либерализм постепенно утрачивал легкость и юношеский оптимизм и все более ориентировался не только на индивидуальную предприимчивость и «невидимую руку» рынка, но и на устоявшиеся традиции и элементы государственного регулирования экономики с целью поддержания благоприятных условий для конкуренции. Существенное влияние на эволюцию либерализма оказала консервативная его критика, сложились даже определенные либерально-консервативные концепции, в которых своеобразно переплетаются идеи либерализма и консерватизма.

Консерватизм

Подобно либерализму, консерватизм является не единой, связной теорией, а стилем, или способом, мышления при анализе отдельных социальных явлениях и общества в целом. К. Манхейм сравнивает либерализм и консерватизм как особые стили мышления со стилями в искусстве

(барокко, романтизм, классицизм и др.). В истории искусства понятие стиля играет особую роль, позволяя классифицировать сходства и различия, встречающиеся в разных формах искусства. Искусство развивается благодаря стилям, и эти стили появляются в определенное время и в определенном месте, выявляя свои формальные тенденции по мере развития. Человеческая мысль, говорит Манхейм, также развивается «стилями», и разные школы мышления можно различать благодаря разным способам использования отдельных образцов и категорий мышления. Стиль мышления касается более чем одной области человеческого самовыражения: он охватывает не одну политику, но и искусство, литературу, философию, историю и т. д. Различные стили мышления развивались в соответствии с партийными направлениями, так что можно говорить о мысли «либеральной» или «консервативной», а позднее также о «социалистической»¹.

Консерватизм, зародившийся в конце XVIII в. и сформировавшийся почти одновременно с либерализмом, можно охарактеризовать как теоретическое осмысление *традиционализма* — более или менее универсальной тенденции к сохранению старых образцов, устоявшихся и оправдавших себя способов жизни. Консерватизм предполагает уважение к мудрости предков, сохранение старых моральных традиций, подозрительное отношение к радикальному преобразованию социальных институтов и ценностей. Консерватор понимает общество как особую реальность, имеющую свою внутреннюю жизнь и очень хрупкую структуру. Он убежден, что общество — это живой и сложный организм, и его нельзя перестраивать как машину. Философскими предшественниками консерватизма были английские «моральные философы» Д. Юм, А. Смит и др., считавшие, что социальные институты представляют собой не реализацию каких-то планов или проектов, а скорее продукты стихийной, идущей без предварительного плана деятельности людей и результаты постепенного отбора наиболее эффективных форм.

Консерватизм отвергает «инженерный» взгляд на общество, согласно которому оно способно сознательно, по заранее составленному рациональному плану контролировать и направлять свою будущую эволюцию. Консерваторы подчеркивают, что основные социальные институты, моральные традиции и практика капиталистического общества — суверенитет и автономия индивида, частная собственность и частное предпринимательство, политическая и интеллектуальная свобода, демократия и правление права — спонтанно выработаны в ходе культурной эволюции, без какого-либо предварительного плана. Социальный процесс представляет собой путь проб и ошибок. Опыт, накапливаемый и передаваемый из поколения в поколение, воплощается в социальных институтах и ценностях, которые не конструируются человеком сознательно и не управляются им по рационально обоснованному плану. Как

• См.: Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994. С. 600

писал стоявший у истоков консерватизма Э. Бёрк, разум у отдельного человека ограничен, и индивиду лучше воспользоваться накопленными в течение веков общим банком и капиталом народов.

Важным моментом, разделяющим сторонников ускоренного прогресса и консерваторов, является то, что прогрессистская мысль характеризует действительность не только в категориях возможности, но также в категориях нормы. Консервативная мысль, напротив, пытается понять действительность как результат влияния реальных факторов и осмыслить норму в категориях действительности. Как отмечает Манхейм, это два разных способа переживания мира, из которых вырастают два разных стиля мышления. Один смотрит на людей и на социальные институты с требованием «так должно быть», вместо того чтобы подходить к миру как к комплексу законченных продуктов длительного процесса действия. Другой подход склоняет к некритическому принятию действительности со всеми ее недостатками. Консерватор со своей сильной привязанностью к принципу «не менять сложившееся положение» трактует действительность как нечто, что попросту существует, и это порой приводит к возникновению нотки фатализма.

Консерватизм не отрицает возможности и даже необходимости планомерного преобразования общества, он лишь подчеркивает, что такое преобразование должно опираться на прошлый опыт и сложившиеся традиции и быть чрезвычайно осторожным.

Методологическая консервативная критика мышления, основанного на идее естественного права, включает несколько основных моментов. Консерваторы заменяют понятие разума такими понятиями, как история, жизнь, нация. Дедуктивным наклонностям, выведению деталей общественного устройства из некоторых общих и кажущихся очевидными принципов консерваторы противопоставляют идею иррационального характера действительности.

Конструированию коллективного целого из изолированных индивидов и факторов противопоставляется тип мышления, исходящий из понятия целого, не являющегося простой суммой его частей. Государство и нация понимаются не как сумма их индивидуальных членов, а напротив, индивид понимается только как часть более широкого целого. Если либерал мыслит категорией «Я», то консерватор использует категорию «Мы».

Интересное противопоставление консерватизма и либерализма принадлежит Ф. А. Хайеку, явно симпатизирующему последнему и утверждающему, что истинный либерал не может быть консерватором. Поведение консерватора, полагает Хайек, в основном характеризуется боязнью перемен, всего нового как такового. Либералу же свойственны доверие ко всему новому, готовность принять иное направление событий, даже если неизвестно, куда они могут завести. Либерал доверяет силам рыночной конкуренции, хотя и не знает, каким способом новые

условия установят равновесие. Консерватор, напротив, не доверяет стихийным силам, подобным рынку, и уверен, что переменаи должна руководить высшая власть и что дисциплина превыше всего. Поэтому для консерватора характерно страстное желание власти и в то же время хроническое непонимание природы экономических син. Он не признает спонтанного развития, понимает порядок как результат властного надзора и соблюдения дисциплины. Консерватора не заботят границы органов власти, он опасается только одного — угрозы ослабления власти. Консерваторы подобны социалистам в том, что всегда озабочены проблемой контроля. Как и социалисты, они уверены в своем праве диктовать другим собственные ценности. Либералы считают возможным мирное сосуществование различных ценностных систем и остаются терпимыми ко многому из того, что им не нравится. Консерваторы тяготеют к тому, чтобы навязывать предпочитаемую ими систему ценностей силой принуждения. Не только новое и незнакомое чуждо консерваторам. Они искренне привязаны к национальным традициям, но иногда эта привязанность становится слепой и доходит до крайних форм национализма. Неприязнь к новому и чуждому тянет обучать «должному поведению» других, причем обучать прежде всего с помощью силовых приемов, имеющихся в распоряжении государства¹.

Современный консерватизм пытается соединить две тенденции: характерное для классического либерализма уважение к свободе отдельного индивида и традиционную для консерватизма защиту таких ценностей, как мораль, семья, религия, закон и порядок и т. д.

Противостояние социализму, выдвигающему план радикального коллективистического (и в частности, коммунистического) переустройства общества, привело в конечном счете к сближению и даже слиянию либерализма и консерватизма на базе защиты основных ценностей современного индивидуалистического (посткапиталистического) общества.

Социализм

Теоретический социализм пока остается единственной полномасштабной альтернативой теорией посткапиталистического устройства общества. Неудивительно поэтому, что социальная философия в XX в. разворачивалась в основном как резкая, а иногда и ожесточенная полемика между сторонниками разных конкретных вариантов социализма, с одной стороны, и сторонниками разных версий посткапитализма — с другой.

В качестве характерной конкретизации общего типа социалистического теоретизирования целесообразно рассмотреть марксизм и его более современную версию — марксизм-ленинизм, являвшуюся в недавнем прошлом ядром официальной коммунистической идеологии.

¹ См.: Хайек Ф. А. Познание, конкуренция, свобода. М., 1999. С. 62–67.

Философия марксизма утверждает первичность материи и вторичность сознания. В аксиологии отстаиваются в целом гуманистические ценности, хотя средства, предлагаемые для их достижения, включают насильственное устранение целых социальных классов. В социальной теории марксизм концентрирует свое внимание (хотя и не без известных оговорок) на экономическом детерминизме и классовой структуре общества. Вся история, исключая первобытное общество и высшую ее ступень — коммунизм, объявляется историей борьбы классов. В экономике утверждается трудовая теория стоимости, включающая понятие прибавочной стоимости в условиях капиталистического способа производства. Опираясь на анализ капитализма, марксизм делает, вопреки известному принципу Юма, запрещающему логический переход от «есть» к «должен», этическое заключение, что капитализм несправедлив и должен быть замещен новой общественно-экономической формацией — коммунизмом. Это произойдет уже в обозримом будущем в результате неотвратимой и победоносной пролетарской революции, которая установит диктатуру пролетариата и социализм во всех развитых капиталистических странах. После непродолжительного переходного периода сначала в развитых, а затем и во всех остальных странах установится коммунизм, означающий конец предыстории человечества и начало его подлинной истории.

Суть социальной доктрины марксизма можно свести к следующим четырем моментам: во-первых, деятельность капиталистических предприятий направлена исключительно на получение прибыли, возникающей в результате эксплуатации рабочих, которые получают в виде заработной платы меньше, чем они производят; во-вторых, капитализм все более запутывается в неразрешимых противоречиях; в-третьих, по мере развития капитализма рабочие все более ясно осознают свое положение и все больше приобретают решимости свергнуть капитализм силой; в-четвертых, общество, которое придет на смену капитализму, будет социалистическим и демократическим по своей экономической и политической организации и явится переходной ступенью к бесклассовому, процветающему обществу.

Хотя Маркс считал свою теорию научной, его последователи часто рассматривали ее как форму светской религии. С возникновением марксизма-ленинизма марксизм, вопреки своим первоначальным интенциям, сделался составной частью идеологии тоталитарного коммунистического общества и действительно приобрел черты догматического религиозного учения.

Марксизм-ленинизм, сложившийся уже в XX в., не только существенно упростил и огрубил марксизм, но и ввел в него целый ряд принципиально новых идей. Упрощенное и идейное обеднение марксизма было вызвано объективными причинами: марксизм все более превращался из философской концепции в основу идеологии массо-

вого, энтузиастического коммунистического движения. По Марксу, диктатура пролетариата является необходимым средством для перехода от капитализма к коммунизму. Учением о «партии нового типа» марксизм-ленинизм, в сущности, свел диктатуру пролетариата к диктатуре революционной партии, полновластно контролирующей все стороны жизни коммунистического общества, начиная с политики и экономики и заканчивая частной жизнью его членов. Находясь у власти, монополю правящая партия сочетает идеологию, призванную вызывать энтузиазм, с террором, постоянно внушающим страх.

Процесс разложения марксизма-ленинизма как ядра коммунистической идеологии начался в 1960-е гг., когда заметно разрядилась атмосфера страха, составлявшая главную особенность сталинизма. История стран, пытавшихся построить совершенное коммунистическое общество, хорошо показала внутреннюю парадоксальность марксизма-ленинизма. Созданный в качестве теоретического обоснования такого общества, он оказался в конечном счете идеологическим обоснованием тоталитарных коммунистических режимов.

Марксизм-ленинизм иррационален в том смысле, что он ставит перед собой одну цель, а достигает прямо противоположного, не совместимого с нею результата.

Сопоставление марксизма и марксизма-ленинизма хорошо показывает, что в рамках одного и того же типа социального теоретизирования возможны очень существенные вариации. Одни из них стоят как будто на гранн научности, в то время как другие, формально являющиеся их продолжателями, хотя и в новых исторических условиях, явно выходят за границы науки и представляют собой скорее «социальный миф», чем научную теорию развития общества.

Социальные доктрины как «социальные мифы»

О доктринах, являющихся инструментом воздействия на жизнь целого общества, Платон говорит как о «благородной лжи», Ж. Сорель — как о «мифах», но это не объяснение.

Общие социальные доктрины действительно напоминают архаические мифы — повествования о деяниях богов и героев, опирающиеся на фантастические представления о мире, об управляющих им богах и духах. Миф противоречит непосредственным данным эмпирической действительности; носит идеализированный характер; опирается не на критический анализ, а скорее на внутреннюю потребность, убеждение и веру; представляет собой пластический и во многом художественный образ; живет в неподвижном, так называемом мифологическом времени.

Эта характеристика мифа во многом приложима и к социальным концепциям, или «мифам», характерным для современных закрытых обществ. Хотя эти «мифы» и пытаются оставаться в известном согласии

с эмпирическими данными и претендуют на то, чтобы казаться не художественным вымыслом, а результатом критического, даже научного анализа, в них присутствуют многие конкретные структуры и темы, составляющие поэтику архаического мифа. Это мотивы «битвы», «само-разрушения», «трудной задачи и преодоления недостатка», «отравленной удачи», «скрытого блаженства» и т. д. Неоправданно было бы, однако, усматривать тесное родство между архаическим мифом и современным «социальным мифом», разделенными тысячелетиями, или усматривать архаические элементы в современном мышлении.

Ошибаются те, кто говорит о довольно случайном характере создания «социального мифа». Случайность возникновения «мифа» и известная необязательность его содержания и обоснования не должны переоцениваться. «Миф» вызревает в толще самой народной жизни, и дело случая, кто именно придаст ему форму «общего принципа». Главное, чтобы «миф» явился такой формой теоретической интерпретации фактов, которая оправдывала бы априорные мнения или предрассудки, воплощала и обосновывала бы стихийно сложившееся и уже вызревшее представление о новой справедливости, требующей своего воплощения в жизнь. В средневековом обществе «миф» мог говорить только о совершенном небесном, но никак не о земном мире. В Новое время в индустриальном обществе сложилась идея о перенесении будущего с небес на землю. В XX в. «миф» мог основываться только на идее социализма, как в «учении о коммунизме», или на идее национализма, или на соединении этих двух идей, как в доктрине национал-социализма. В некотором глубинном смысле «миф» вовсе не случаен, и его содержание во многом предопределено.

Можно отметить, что время реальной истории и время в «совершенном мире» являются во многом разными. Жизнь в небесном раю протекает вообще вне времени, мера ей — вечность. В тоталитарных «мифах» поступь истории, приносящей серьезные перемены, измеряется десятилетиями, в крайнем случае — столетиями. Коммунистическое же общество будущего занимает «всю историю», которая не имеет никаких внутренних градаций и с точки зрения которой предшествующая история человечества является всего лишь «предысторией». Нацистский рейх после его установления также должен перейти на новое измерение исторического времени — речь идет, по меньшей мере, о «тысячелетнем рейхе».

И второй момент, проистекающий из цели, которую ставит перед собой социалистическое общество. Хотя движение к ней предполагает значительные усилия со стороны индивидов, входящих в такое общество, и, значит, неременное осознание ими стоящей перед ними задачи, тем не менее силы, действующие в направлении цели и даже толкающие общество к ней, ощущаются ими как сверхчеловеческие и даже мистические. В коммунизме история направляется особыми

законами, столь же непреложными, как и законы природы. С идеей неотвратимости хода истории, неуклонно влекущей общество от одной общественно-экономической формации к другой и в конечном счете к коммунизму как вершине всего исторического движения, таинственным, можно сказать, мистическим образом соединяется идея активности индивидов и их массовых движений. В национал-социализме ход истории диктуется провидением, избирающим вождя и обеспечивающим его победы. Во всех случаях общество ощущает действующие в нем социальные силы как сверхчеловеческие. Закрытое общество — это всегда общество, реализующее предназначение.

Древнее коллективистическое общество считает целью своего развития собственную стабильность и утверждает неравенство между своими слоями, или кастами, в качестве вечного и неизменного принципа общественного устройства. Об этом говорит, в частности, в своей утопии Платон, склонный даже отождествлять стабильность со справедливостью. Однако и в этом случае можно сказать, что цель общества располагается в будущем и нужны огромный труд и концентрация всех сил, чтобы воплотить ее в жизнь. Общество станет стабильным, только если удастся реализовать определенный и по древним временам грандиозный план по стабилизации. В Древнем Китае составной частью этого плана было сооружение Великой стены, оттораживающей империю от набегов кочевых племен. В Древнем Египте план включал сооружение огромных гробниц для захоронения фараонов-богов. Ацтеками и майя воздвигались большие сооружения, не имевшие никакого непосредственного утилитарного значения и ориентированные прежде всего на стабилизацию общества. Во всех случаях была цель, консолидирующая общество и требующая сосредоточения всех его усилий на ее осуществлении. Без такой цели, протяженной во времени, заведомо превышающей возможности индивидов или каких-то ограниченных их групп и требующей реализации любой ценой, древнее коллективистическое общество не могло бы существовать.

3. Ценности культуры как контекст развития социальных теорий

Подводя итог обсуждению современных стилей социального теоретизирования, следует подчеркнуть, что эти стили являются всего лишь теми общими рамками, в которых разворачивается конкретная исследовательская деятельность по изучению общества и человека.

Многие представители социальных и гуманитарных наук убеждены в свободе своего творчества, в независимости развиваемых ими концепций общества и человека от «настоящего» и от той социальной среды, в которой протекает исследование. Не замечать ограничений, диктуемых культурой своего времени, — не означает, однако, быть совершенно свободным от этих ограничений.

Нужно также отметить, что ценности, опираясь на которые, осуществляется социальное и гуманитарное исследование, задаются главным образом как раз стилями социального теоретизирования. Если общий стиль теоретизирования воспринимается социальным исследователем как нечто само собою разумеющееся, навязываемые этим стилем ценности могут совершенно не ощущаться исследователем.

Социальная теория невозможна без определенных представлений о сущности человека, о равенстве, справедливости, свободе, целях общественного развития и т. п. Общий характер этих представлений определяется не столько наукой, сколько культурой своего времени и той социальной средой, в которой они складываются.

Стиль социального теоретизирования — это в первую очередь связанная система таких представлений. Именно она определяет то общее освещение конкретных социальных исследований, которое имеет все попавшие в сферу его действия цвета.

Всякая, даже частная социальная теория существует в рамках определенного стиля социального теоретизирования. Именно он задает значения основополагающих категорий социального мышления. Находясь в поле его действия, конкретная теория может не задаваться вопросом об этих значениях и даже не употреблять самих этих категорий. Они окажутся только той системой координат, в рамках которых располагается теория и от которых она имеет полное право отвлечься.

Отнесение к ценностям

М. Вебером и др. разрабатывалась программа радикальной перестройки социальных и гуманитарных наук (наук о культуре), призванная исключить из этих наук явные оценки и в максимальной степени заместить понимание как подведение под ценность каузальным пониманием. Эта программа получила название *отнесения к ценностям*.

Само понятие «отнесения к ценностям» было введено Риккертом, считавшим его ключевым в процессе формирования понятий и суждений в индивидуализирующих науках о культуре. Если мы понимаем какой-нибудь объект индивидуализирующим способом, говорит Риккерт, то особенность его должна быть связана каким-нибудь образом с ценностями, которые ни с каким другим объектом не могут находиться в такой же связи.

В дальнейшем Вебер попытался разработать целостную программу исключения прямых оценочных утверждений из наук о культуре, и прежде всего из истории и социологии. «Пророку и демагогу, — говорил Вебер, — не место на кафедре в учебной аудитории»¹. Центральным в этой программе также являлось понятие отнесения к ценностям. Такое отнесение предполагает, по Веберу:

— учет перспектив развития исследуемых социальных явлений (их «шансов» в будущем) и введение на этой основе кажущихся чисто описательными *идеальных типов*;

— вынесение всех оценок за пределы теоретической системы;

— возможно более полное исключение из такой системы понимания как подведения под общую оценку путем замещения его операцией каузального понимания.

Согласно Веберу, «идеальный тип» — это понятие, отсылающее к культурно-историческим объектам, интерпретированным в свете определенных ценностей. «Ведь наш интерес к тем феноменам, которые выступают в качестве явлений культуры, всегда связан с их *«культурным значением»*, возникающим вследствие отнесения их к самым различным ценностным идеям»¹.

Определения таких понятий находятся между реальными определениями (определениями-описаниями) и номинальными определениями (определениями-предписаниями).

По Веберу, ключевые понятия социальных и гуманитарных наук (наук о культуре) представляют собой *идеальные типы*. Например, основные понятия теории капитализма Маркса («частная собственность», «прибавочная стоимость», «эксплуатация» и др.) являются идеальными типами, т. е. существуют в контексте, или в координатах, определенных ценностей.

Вебер упрекает Маркса не за использование подобного рода понятий (без них невозможно вычленение самого исторического «объекта», являющегося предметом исследования), а за то, что их определения представляются Марксу чистыми описаниями, никак не связанными с ценностями и являющимися истинными или ложными, как и все реальные определения. Понятие идеального типа вводилось Вебером в рамках общей концепции отнесения к ценностям.

Как ценности, так и ориентированные на них «точки зрения», с которых рассматриваются объекты культуры, схватываемые идеальными типами, подвержены изменению. Поэтому идеальным типам свойственна, как подчеркивает Вебер, такая зависимость от «субъективных ценностей», которая совершенно чужда тем естественным наукам, которые по своему типу близки, например, механике. Идеальные типы являются индивидуальными «ценностными понятиями», поскольку они образованы путем соотношения с «ценностными идеями».

Представление об идеальных типах было одним из важных элементов разрабатывавшейся Вебером общей программы исключения прямых оценочных утверждений из наук о культуре.

Невозможно, считает Вебер, раз и навсегда исключить ценности (а значит, и оценки) из атмосферы, в которой развиваются науки о куль-

туре, ибо «человеческое поведение» становится «действием» лишь в том случае и постольку, поскольку действующий индивид или действующие индивиды связывают с ним субъективный смысл.

Но ценности не должны входить непосредственно в ткань социальной или гуманитарной теории. Они должны составлять тот контекст, в котором она существует, быть общими координатами теоретизирования, но не его составной частью.

Отнесение к ценностям как вынесение ценностей за скобки теории не является оценкой, поскольку оно представляет собой лишь общее освещение той сцены, на которой разворачивается теоретическая деятельность. Отнесение той или иной группы исследуемых явлений к определенным общечеловеческим ценностям, актуализируемым в данную эпоху и выражающим ее преобладающий интерес, — это, по Веберу, «чисто логический метод», который вовсе не открывает двери в эмпирическое исследование «практическим оценкам». Поскольку понятия теории несут на себе отблеск ценностей, в контексте которых она существует, эти понятия являются только способами идеальной типизации, некоторыми образами-схемами, позволяющими наиболее удобным способом упорядочивать эмпирический материал, поставляемый конкретными исследованиями.

Таково, например, понятие «капитализм» у Маркса и В. Зомбарта. В свете ценностей, принимавшихся Марксом, капитализм есть клонящийся к гибели общественный строй, непосредственно предшествующий коммунизму; согласно Зомбарту, руководствовавшемуся совсем иными жизненными впечатлениями и ценностями, не заявляя, впрочем, о них открыто, капитализм представляет собой достаточно совершенный, установившийся на неограниченно долгое время строй.

Проблема отнесения к ценностям вызвала и продолжает вызывать большие споры. В 60-е гг. прошлого века в дискуссиях по поводу «логики социальных наук» активно участвовали социологи и философы Т. Парсонс, Г. Маркузе, Ю. Хабермас и др.¹ Концепция отнесения к ценностям была первой серьезной попыткой разрешить важную методологическую проблему, связанную с социальными и гуманитарными науками, — дилемму объективного и субъективного.

Человеческая деятельность невозможна без оценок (и их частного случая — норм). Науки, изучающие человека и общество, имеют своей целью рационализацию человеческой деятельности (указание лучшего из возможных способов действия) и потому формулируют неявные или даже явные оценки. С другой стороны, оценка всегда субъективна, она выражает какие-то индивидуальные или групповые предпочтения; по поводу одних и тех же социальных перспектив (например, будущего капитализма) могут высказываться самые разные оценочные суждения.

¹ См. в этой связи: *Давыдов Ю. Н.* Макс Вебер и современная теоретическая социология. М., 1999 (гл. 5)

Концепция отнесения к ценностям не отличалась ясностью и не решила вопроса о месте ценностей в социальном и гуманитарном познании. Но она впервые прямо поставила данный вопрос.

Требуюя устранения ценностей из социальных наук, Вебер говорил одновременно о всегда существующем в социальном исследовании «отнесении к ценностям». Частные социальные теории могут не содержать каких-либо ценностей. Но эти теории развиваются в свете определенных общих ценностей и не могут существовать без них.

Понятие стиля социального теоретизирования позволяет прояснить кажущуюся парадоксальной идею исключения ценностей из социальных теорий путем «отнесения к ценностям». Если ценности задаются стилем социального теоретизирования, то достаточно принять тот или иной конкретный стиль, быть может, не заявляя об этом явно, чтобы в дальнейшем избегать каких-либо явных или даже неявных оценок.

Исследователь, рассуждающий в духе либерализма, может не использовать центральную для либерального мышления категорию индивидуальной свободы, несомненно, являющуюся ценностью. Придерживаясь консервативного стиля мышления, можно не затрагивать тему «органических целостностей», подобных обществу и государству, поскольку их приоритет над всеми иными социальными ценностями неотделим от самой сути консерватизма. Социалистический стиль мышления предполагает, что реализация той глобальной цели, которая стоит перед обществом, значимее индивидуальной свободы, сохранения «органических целостностей» и т. п.; принятие этого стиля позволяет вообще не ссылаться на какие-либо ценности и не пытаться установить некоторую их иерархию.

О возможности «совершенного общества»

Из того, что социальные науки предполагают или прямо включают определенные ценности, иногда выводится требование, чтобы эти науки давали прямую оценку конкретным социальным системам и даже рекомендовали некоторый совершенный тип общества.

Очевидно, однако, что поиски наилучшего социального устройства неминуемо приводят к финалистскому истолкованию человеческой истории. Если история движется к заранее предначертанному концу, то можно выделить общества, которые успешнее движутся к этому финишу, чем другие. Но если у историй нет никакой предопределенной цели, то вопрос, какое из них является наилучшим, повисает в воздухе.

XX век с неумолимой очевидностью показал, что идеального общества нет и никогда не будет. После краха идеи коммунизма, приведшей не к раю на земле, а к тоталитарному аду, трудно стало даже вообразить, каким могло бы быть совершенное общество. Человеческое воображение слабело при попытке представить себе райскую жизнь на небесах

и оказывалось гораздо более эффективным при изображении картин страданий в аду. Тем более трудно вообразить совершенное во всех смыслах земное общественное устройство, хотя можно представить себе ад на земле, возникший в результате какой-то природной или социальной катастрофы, подобной атомной войне. Всякое общество несовершенно, оно представляет собой постоянную борьбу с проблемами, продолжающуюся до тех пор, пока они не будут решены или пока эти проблемы не начнут нарастать в геометрической прогрессии и не разрушат данное общество.

С точки зрения общей концепции истории как движения между двумя полюсами — закрытым и открытым обществом, — вопрос о совершенном устройстве общества во многом утрачивает свой смысл. Открытое общество, в частности посткапитализм, совершенно, если оно требуется обстоятельствами места и времени. В другое время и в других обстоятельствах более совершенным оказывается уже закрытое общество или какая-то форма общественного устройства, промежуточная между ясно выраженными закрытым и открытым обществами. Спрашивать в общей форме, что предпочтительнее: закрытое общество или открытое, — все равно, что ставить вопрос, что лучше: пила или молоток, не определяя, для какого дела требуется выбираемый инструмент.

Закрытое индустриальное общество (тоталитаризм) не может с этой точки зрения рассматриваться как временный отход некоторых обществ от некоей магистральной линии человеческой истории или как исторический тупик, в который некоторые общества попадают по недоразумению или по злему умыслу своих вождей и политических партий. Закрытая форма ряда индустриальных обществ являлась для них естественным продолжением их предшествующего развития.

4. Глобальные проблемы

Одним из аспектов взаимодействия науки и культуры являются *глобальные проблемы* — совокупность жизненно важных проблем, затрагивающих человечество в целом и неразрешимых в рамках отдельных государств и даже географических регионов. Глобальные проблемы вышли на первый план в XX в. в результате существенного роста численности населения и резкой интенсификации процесса производства в постиндустриальном обществе. Существенную роль в постепенном нарастании глобальных проблем сыграла наука, обеспечившая невиданный ранее рост промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличение средней продолжительности человеческой жизни и т. д.

Научное исследование глобальных проблем должно носить комплексный характер, поскольку они затрагивают не только многие со-

циальные дисциплины, начиная с экономической науки и заканчивая социальной философией, но и естественные науки, включая биологию, физику, химию и т. д.

Наука является, однако, не единственным и даже не главным средством поиска решения даже наиболее острых глобальных проблем. Эти проблемы являются социальными по своей сути, они требуют согласованных действий большинства существующих государств.

Основные глобальные проблемы

К числу глобальных проблем относятся:

- сокращение стремительного роста населения («демографического взрыва»);
- предотвращение термоядерной войны;
- устранение катастрофического загрязнения окружающей среды, в первую очередь атмосферы и Мирового океана;
- формирование единого человечества;
- сохранение природы человека;
- обеспечение дальнейшего экономического развития необходимыми природными ресурсами, особенно невозобновляемыми (нефть, газ, уголь и т. п.);
- преодоление разрыва в уровне жизни между развитыми и развивающимися странами;
- устранение голода, нищеты, неграмотности;
- борьба с международным терроризмом и др.

Круг глобальных проблем не очерчен резко, их особенность в том, что они не могут решаться изолированно одна от другой, и от их решения во многом зависит само существование человечества.

Среди многочисленных глобальных проблем, порожденных техногенной цивилизацией, в качестве наиболее важных иногда выделяются следующие четыре: проблема выживания в условиях непрерывного совершенствования оружия массового уничтожения; нарастание экологического кризиса в глобальных масштабах; формирование единого человечества; проблема сохранения человеческой личности, человека как биосоциальной структуры. То, что сама природа человека поставлена в современную эпоху под угрозу, несомненно. И опасность утраты человеком своей сущности настолько велика, что вполне может быть причислена к глобальным проблемам.

Глобальные проблемы порождены колоссально возросшим воздействием человека на окружающий мир его (преобразующей природу) хозяйственной деятельностью, сделавшейся сопоставимой по своим масштабам с геологическими и иными планетарными естественными процессами.

По пессимистическим прогнозам, глобальные проблемы вообще не могут быть разрешены и в недалеком будущем приведут человечество

к экологической катастрофе (Р. Хейлбронер). Оптимистический прогноз предполагает, что решение глобальных проблем окажется естественным следствием научно-технического прогресса (Г. Кан) или результатом ликвидации социальных антагонизмов и построения совершенного общества (марксизм-ленинизм). Промежуточная позиция состоит в требовании замедления или даже нулевого роста экономики и населения земного шара (Д. Медоуз и др.).

Проблема формирования единого человечества

Рассмотрим более подробно две из перечисленных глобальных проблем — проблему формирования единого человечества и проблему сохранения природы человека.

Выражение «мировая история», часто используемое историками, имеет два очень разных смысла: (1) человеческая история является частью предельно общей космической истории, включающей как историю природы (в частности, живой природы), так и историю человечества, причем последняя является с самого начала единой и целостной и представляет собой органичную, быть может, даже необходимую часть космической истории; (2) мировая история — это история становящегося человечества, с течением времени живущего и действующего все более как единое целое, история всех входящих в него и все теснее взаимодействующих друг с другом народов и обществ.

К первому истолкованию мировой истории определенно тяготеет так называемое закрытое (или коллективистическое) общество. Сама идея единого человечества и единой его истории, органично включенной в мировой ход событий, — это средневековая по своему происхождению идея. Представление о единой целостной истории, в которой все имеет свое место, развивалось Гегелем и затем Марксом. Каждый человек, каждая эпоха, каждый народ рассматривались ими как звенья единой цепи. Они существовали не для себя, их предназначением было прокладывать путь. Вместе с тем и Гегель, и Маркс, конструируя единую историю, отбрасывали целые народы, эпохи и культуры как не имеющие значения для истории, являющиеся не более чем случайностью или попутными ей явлениями. Как и христианская история, единые истории Гегеля и Маркса должны были в определенный момент, достигнув своего пика, завершиться, перейдя в другое временное измерение и перестав быть историями в собственном смысле слова.

Представление о мировой истории как о постепенном, шаг за шагом прокладывающем себе дорогу единении человечества начало складываться только в Новое время и было вызвано в первую очередь развитием капитализма. Становлению этого представления способствовали резкое увеличение численности людей, резкий рост взаимосвязей между ними, растущие торговля и экономическая зависимость регионов друг от друга.

Идея включенности человеческой истории в качестве органичной части в мировой космический порядок является для этого представления чужеродной.

В настоящее время в мире существуют более двухсот государств, находящихся на очень разных уровнях социально-экономического развития. Активно идут интеграционные процессы, достаточно обширные группы государств объединяются в экономические и политические союзы. Можно предположить, что в отдаленном будущем интеграция государств и все большее совпадение их интересов приведут к тому, что они объединятся в некое «сверхобщество», охватывающее все человечество и руководимое из единого центра. Исчезнут границы между государствами, станут ненужными внешняя политика, армии, войны и т. д. Можно будет сказать, что возникло единое человечество в прямом смысле этого слова.

Все это — весьма отдаленная перспектива, к тому же нужно учитывать, что не существует исторических законов, которые заставляли бы отдельные общества объединяться в группы и со временем вынудили бы их создать «сверхобщество». Все зависит от самих людей, от понимания ими своих интересов и выгод интеграции, от давления одних стран на другие, от продолжающегося роста численности населения, от экономических, культурных и иных связей между разными обществами и т. д.

Но если допустить, что одной из основных и долговременных тенденций современного исторического развития является формирование единого человечества, то уже сейчас можно попытаться представить, какие формы мог бы принять данный процесс.

Возможны, как кажется, две основные модели создания единого человечества: закрытая (коллективистическая) и открытая (индивидуалистическая). Первая предполагает постановку перед всем человечеством или перед достаточно могущественной его частью некой глобальной цели, использование силы для упорядочения всех многообразных обществ и приведение их к единому знаменателю на основе такой цели, внедрение единой идеологии, создание всемирной, руководящей всем человечеством структуры, возглавляемой вождем, и т. п. Вторая модель предусматривает добровольное, взаимовыгодное объединение разнородных обществ в некое подобие федерации, опирающейся на принципы демократии и предоставляющей своим членам широкую автономию.

Первую модель пытались реализовать в XX в. коммунизм и национал-социализм, но им удалось сделать относительно немного на пути насильственного объединения человечества. Коммунизм предполагал, что этот процесс начнется с пролетарских революций в наиболее развитых странах Запада. Затем пролетарии разных стран, объединившись, свергнут капитализм и в других странах и установят во всем мире социализм, являющийся преддверием коммунизма. Уровень эконо-

мического развития разных стран постепенно выравнивается, и все они примерно в одно и то же время вступят в коммунизм. Детали того, каким будет мировое коммунистическое общество, что будет, в частности, представлять собой мировое коммунистическое правительство, не обсуждались, точно так же как не дискутировались источники тех богатств, которые якобы польются на единое человечество непрерывным потоком. Национал-социалистический план объединения человечества предполагал, что сначала национал-социалистическая Германия подчинит себе Европу, а затем объединенными силами Европы завоюет весь мир и таким образом европеизирует его. Отрицательно ценные народы, способные только разлагать и разрушать культуру, будут уничтожены; народы, имеющие нулевую расовую ценность, будут превращены в рабов; расово полноценные народы составят элиту, управляющую человечеством.

Вопрос об открытой модели единого человечества является более сложным. Одним из первых о ней достаточно подробно высказался К. Ясперс. Политическое единство планеты, говорил он, является только вопросом времени. Путь развития идет, по-видимому, от национальных государств через крупные континентальные сферы влияния к мировой империи или к мировому порядку. Этот путь прокладывает, с одной стороны, всегда действующая в истории воля к власти и господству, более или менее осознанной целью, которой является создать наибольшую, насколько это возможно в данных условиях, мировую империю; с другой — стремление к миру, к такому мироустройству, где жизнь людей свободна от страха¹.

Создание «мировой империи» — это, в сущности, объединение человечества в единое закрытое общество; «мировой порядок» — путь к единому открытому обществу. Мировая империя объединяет человечество посредством власти, подчиняющей себе всех из одного центра. Власть держится на насилии, формирующем нивелированные массы. Тотальное планирование поддерживается жестоким террором. Посредством пропаганды внедряется единое мировоззрение. Цензура и руководство духовной деятельностью подчиняют последнюю единому, но постоянно модифицируемому плану. Мировой порядок представляет собой единство без единой власти, за исключением тех случаев, когда она утверждается по договоренности и на основе общего решения. Установленные нормы взаимоотношений между обществами и индивидами могут быть изменены только законодательным путем на основе новых постановлений. Стороны сообща подчиняются этой процедуре и постановлениям большинства, гарантируют всем общие права, защищающие, в частности, и существующее в каждый момент

¹ Ясперс К. Истоки истории и ее цель. М., 1991. С. 84.

меньшинство. Порабощению всех из единого центра противостоит принятое всеми устройство, за которым стоит отказ каждого члена мирового сообщества от абсолютного суверенитета. Путь к мировому порядку ведет через самоограничение тех, кто обладает могуществом, и это самоограничение является условием свободы всех. Установление мирового порядка означало бы устранение прежнего понятия государства во имя счастья людей. Результатом этого было бы не мировое государство (которое неизбежно сделалось бы мировой империей), а постоянно восстанавливающая себя посредством обсуждения и принятия решений организация государств, в ограниченных сферах пользующихся самоуправлением, другими словами, результатом был бы глобальный федерализм.

Подводя итог этого краткого обсуждения тенденций формирования единого человечества, нужно еще раз подчеркнуть, что речь идет об отдаленном будущем, так что конкретные формы реализации данной тенденции остаются пока очень туманными.

Угроза разрушения природы человека

Вся предшествующая история со всеми ее событиями лишь в незначительной степени затрагивала человеческую природу. Теперь эта природа пришла в движение, и опасность грозит ей самой в ее сокровенных глубинах. Возникла новая, совершенно неведомая ранее забота о будущем человеке — забота о сохранении самой его природы. Человек может потерять себя, человечество незаметно для самого себя или в результате страшных катастроф может вступить в стадию нивелирования и механизации, в жизнь, лишенную свободы и свершений, в царство черной злобы, стыдящееся любого намека на гуманность.

Будущее человечества зависит от людей, оно не придет само, как явление природы. Помочь современному человеку может только предельно ясное сознание.

До сих пор речь шла о социальных факторах, несущих с собой угрозу разрушения природы человека. Имеются, помимо того, факторы, непосредственно связанные с развитием науки, прежде всего биологии. Современная генетика приближается к моменту, когда она окажется способной изменять генетический код человека, клонировать его и т. п. Уже сейчас человек потребляет многие генетически модифицированные продукты, отдаленные последствия воздействия которых на организм человека пока что непредсказуемы.

Побуждения ученых, намеревающихся изменить биологическую природу человека, могут быть самыми благими. Однако наука существует в определенной социальной среде, к тому же она не отделена от государства. Можно вообразить себе социальный строй, который поставит перед учеными задачу создания не просто здорового и обеспеченного всем необходимым человека, а некоего «совершенного человека», при-

способленного к жизни в проектируемом «совершенном обществе». Именно такую цель ставили не так давно национал-социализм и коммунизм. Нацисты уничтожили шесть миллионов евреев, отнесенных ими к «отрицательно ценной» расе, а также уничтожили всех, кто страдал психическими заболеваниями. Используя результаты современной науки, они могли поставить задачу трансформации самой генетической природы человека, устранения «неполноценных рас» и т. п.

Человек является одновременно и биологическим, и социальным существом. Угроза, касающаяся его природы, всегда исходит от общества. И это может быть как угроза изменения социальной природы человека, так и угроза изменения биологической его природы.

Очевидно, что обсуждение глобальных проблем и путей их решения всегда опирается на определенные ценности и без них немыслимо.

ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. *Ивин А. А.* Философия науки: учеб. пособие для аспирантов. М., 2007.
2. *Ивин А. А., Никитина И. П.* Философия. М., 2015. Часть 2: Структура философского знания.
3. *Ивин А. А.* Современная философия науки. М., 2005.
4. *Степин В. С.* История и философия науки: учебник для аспирантов и соискателей. М., 2014.
5. *Философия науки: хрестоматия.* М., 2005.

Дополнительная литература

6. *Алле М.* Экономика как наука. М., 1995.
7. *Бахтин М. М.* К философским основам гуманитарных наук // Собр. соч.: в 7 т. Т. 5. М., 1996.
8. *Бергер П., Лукман Н.* Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М., 1995.
9. *Данте А.* Аналитическая философия науки. М., 2002.
10. *Кун Т.* Структура научных революций. М., 2001.
11. *Леонтьев В.* Экономические эссе. Теория, исследования, факты и политика. М., 1990.
12. *Поппер К.* Предположения и опровержения. М., 2004.
13. *Фейерабенд П.* Избранные труды по методологии науки. М., 1986.